

R0049 226  
w 3

საქართველოს  
ბიბლიოთეკა









805-3



84Гр7-4  
Л474

Георгий Леонидзе — лауреат Государственных премий, народный поэт Грузии, хорошо известный советскому читателю своими лирическими стихами и эпическими поэмами.

«Древо желаний» — книга рассказов-воспоминаний, в которой Г. Леонидзе предстает перед читателем как прозаик. Это глубоко поэтические зарисовки сельской Грузии начала столетия, разнообразная галерея живых и ярких портретов ее тружеников, мечтателей, правдолюбцев, борцов за справедливость.

Редактор М. Златкин

К2049.226  
3

Л  $\frac{4702017200-99}{M604(08)-87}$  134-87

სპეც-2000  
შემოწმებულია

საქ. სსრ კ. მწიგნობ.  
ს.ს. ს.ს. რეპრ. ბ.  
ბ. გლოთობა

© Издательство «Мерани», 1987



## МОЕЙ МАТЕРИ

*Там, где упадет материнская слеза, вырастет фиалка, — не раз приходилось мне слышать в детстве.*

*На лесных опушках близ моего родного села фиалки весной росли сплошными купами — земля казалась устланной лиловым ковром.*

*И думалось мне, что матери со всего света, собравшись вместе, плакали здесь, — так густо были усеяны фиалками весенние лужайки и поляны в окрестностях нашего села.*

*Я изумлялся и бережно собирал фиалки — ведь каждую из них я считал материнской слезой!*

*— Сколько слез моя мама пролила!*

*Мать у меня была вдова — в вечном черном платье.*

*Это она внушила мне любовь к фиалкам; у нее была чистая и нежная, как фиалка, душа.*

*И ушла она от нас в дни, когда зацветали первые фиалки.*

*Эта небольшая книга проникнута ароматом тех первых фиалок и согрета теплом слышанных в детстве слов — о том, что на месте оброненной материнской слезы расцветает фиалка.*

*Я посвящаю эту книгу моей дорогой матери, которая научила меня любви к чистоте фиалок и к родной земле.*



## В ТЕНИ РОДНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

В этой небольшой книге — воспоминания давних лет, виденное и пережитое мною в грузинской деревне времен моего детства.

Я протягиваю читателю эти страницы, как гору фруктов на узорном деревянном блюде, чтобы поделиться с ним золотистыми плодами моих детских воспоминаний.

Не пером исписать, а проплести фиалками и лилиями, разукрасить цветами моих родных полей и лесов хотел бы я листы этой книги. В ней — отблеск улыбки моего неба и моей земли, свежее дыхание моего детства!

Как щедры, как ласковы были сверкающие утра в Патардзеули! Как золотисто-звонки весенние дни, когда мы сами раскрывались как вешний миндальный цвет, и земля цела у нас под ногами, а сердце прыгало в груди золотым мячом, и с неба низвергались нам на голову золотые дожди...

Исток моей песни, моего слова — в тех весенних утрах; струя ее бьет из прозрачных ключей, над которыми в густой, нависшей ореховой листве возилась, тре-

пыхалась иволга-желтогрудка, окликающая меня: «Бичо Гогия!», как тезку и товарища.

Слова этой книги нашел я среди синеглазых фиалок, которые так любил собирать на лесных опушках возле нашей деревни; подобрал в пестреющих маками нивах, среди налитых солнечными соками колосьев, что стоят стеной в таинственном молчании, озаренные золотым сиянием.

Сереб्रोструйная Иори нашептывала мне эти слова — Иори, утопающая в садах и виноградниках, пробирающаяся через заросли, журчащая в камышах.

Берега Иори, радость моего взора, с их песчаными отмелями, мочагами, кустарниками, зелеными рощами и шелковой муравой лужаек, были колыбелью и купелью моего детства, начальной моей поэтической ареной.

Прибрежным иорским нивам читал я свои первые стихотворные опыты.

У голосистой, певучей Иори учился я музыке грузинского стиха!

Туда, к этим лучистым берегам моего детства, и сейчас непрестанно убегает мой взгляд, оттуда ожидаю я все новых напевов для моей песни.

Там, в лазурном сиянии, по-прежнему стоит среди виноградных лоз моя труженица мать в длинном грузинском платье, стоит и улыбается мне.

...По утрам в песню лучей вплеталось немолчное пчелиное жужжание.

Как хорошо, покойно было у нас на пчельнике!

Я любил прибегать туда апрельским утром. Земля под персиковыми деревьями была вся усыпана лепестками, точно покрыта розовым снегом. «Видно, ветерок провеял ночью над нашей пасекой!» — думал я. Ах, если бы мне пробежаться, как прежде, босиком по росистой, свежей траве! Или еще раз заснуть безмятежным детским сном под нашей сиренью.

...Наши медовые, сладко пахнущие липы, облепленные пчелами... Первым примером трудолюбия были мне в детстве пчела, потом — моя мать и весь деревенский народ!

Явственно слышится мне как бы доносящийся с гумна протяжный, грустный напев погонщика — «Оровела», журчанье и бульканье струи сладкого виноградного сусла, сбегавшей по желобу давилного ларя в кувшин, пахучее дыхание зелени у нас на огороде.

Как живые стоят перед моим взором пылающие, алые розы моего детства, трехсотлетний шшат, осыпанный желтыми цветами, словно весь в золотом инее... Дурмящий, сладкий его аромат и сейчас окутывает мою душу. А наши виноградные лозы, что закидывали ввысь свои вьющиеся побеги, а наши высокие нивы, переливающиеся, как море под ветерком!

Там, среди них, искал я, собирал, как цветы, слова моей книги. Нежный цветочный запах тех золотистых дней доныне ласкает меня.

Поля, нивы, рощи, дуга, пестреющие цветами... Зеленые купола лесистых гор... Душистая метель миндальных, персиковых, яблоневых, сливовых лепестков... Щедрая, благодатная, неизмеримая красота матери-природы!

...Ясная, улыбчивая иорская лазурь, перламутровое сверканье потока, прозрачные перекаты с ясно видимыми, как под стеклом, камешками дна, болтливые хрустальные струи притекающих ручьев...

Вторая моя мать — Иори!

Как любил я ее брызжущие алмазными искрами, отливающие радугой волны — вечно трепещущие, как крылья жаворонка, полные ласки и веселья!

И сейчас стоит мне увидеть Иори — и сразу учащенно забьется сердце.

По-прежнему у Иори ищу я утоления моей жажды!

Мое детство нежилось на гребне сверкающей иорской волны — и эта волна давно уже прошумела, промчалась, уплыла!

Хороши были рыбалки на Иори! А какая ловилась рыба — усач, жерех, сазан... Любил я рыбную ловлю и ловил вместе с товарищами по-всякому: на удочку, сеть, багром или, перекрыв боковой проток и дав стечь воде, руками среди камней русла.

То, бывало, мы, ребята, взгромоздимся на шершавую спину ленивого буйвола, залегшего в заводи, по самые рога в воде; то плескаемся в быстрине, ныряем бесстрашно в омуты; то бегаем, скачем, резвимся на мокрой траве мочажин и заболоченных лужаек, не обращая внимания на острые колючки, что безжалостно язвят босые ступни. Сколько раз приходилось мне рассечь себе подошву о торчащий из земли отросток корня — боль нам была ничем, боли мы сгоряча вовсе не чувствовали!

Мерцала синева иорских струй. Взлетали брызги, окатывали дождем. Под ветром перешептывались камыши. То и дело сверкала серёбристой чешуей рыба спина в волнах.

Здесь, в иорских рощах и тростниковых зарослях, стоял я в детстве подолгу, затаив дыхание и напрягая слух, чтобы услышать пенье золотой птички, с малых лет манившей меня — и ускользавшей.

А зимой целые горы душистых яблок громоздились прямо на полу в нижних комнатах нашего дома. И ничего не могло быть для меня слаще их запаха! Крепким этим духом был напоен, пропитан весь наш дом.

Кожуру яблока я никогда не выбрасывал. Мать учила меня, что ее надо непременно кинуть в огонь — есть такая птичка, которая только запахом яблочной кожуры и живет! Верно, это та самая птичка, что по сей день не дает мне покоя — как ни стараюсь, никакими силами не могу ее поймать.

Как я любил праздник цветов — в мае месяце, в разгаре весны! С утра принимались мы украшать дом розами, лилиями, душистыми, цветущими ветками шпата, пестрыми полевыми цветами. Целую арбу цветов привозили с поля! Особенно щедро украшали фасад дома — столбы и перила балкона, окна; каждый столб обвивали гирляндами из роз, колокольчиков, ромашек, лилий...

Радость этого дня была выражением моей глубокой любви к природе. Праздник цветов никогда не пропускали в нашем доме — благодаря поэтической натуре моей матери.

Те пестрые, красочные цветы остались жить в моей душе, в моем слове! До сих пор я люблю полевые цветы больше всех других.

Весной моя мать неизменно отправлялась вместе с нами, детьми, поглядеть на молодые нивы.

Мы стояли, глядя на это волнующееся зеленое море, не в силах отвести от него взор.

Это было чарующее зрелище — высокие, уже начинающие колоситься, напоенные солнечными соками хлеба, отливающие шелковистым блеском под веянием ветерка. «Солнечным платьем» называют у нас этот скользящий перелив нивы, колеблемой пролетающим ветерком. Сияло, развевалось, пестрело, тысячецветное солнечное платье!

Мы стояли в благоговейном молчании перед этим зеленым чудо-океаном, творением сил природы и человеческого труда, и светлая радость наполняла нас, в наших сердцах утверждалось чувство гордости за человека, сознание его достоинства.

Помнится, под Новый год в раскаленной тонэ<sup>1</sup> пеклись для меня и моих братьев, вместе со съедобными назуки, фигурные хлебцы — плуги, лопаты, топоры, кувшины, но всего больше — сабли и мечи. Девочки тоже не бывали забыты, для них пекли из теста прялки, веретена, коровье вымя, куриные лапки.

Все это сызмала внушало нам любовь, почтение к труду. И хотя моя мать ни разу не испекла для меня хлебца в форме пера, мне все кажется, что у меня в руках то самое печеное хлебное перо и что в щедроте и правде грузинского трудового хлеба почерпнул я силу перенести на бумагу все то, что поручили мне моя мать и мой родной народ.

...Вновь стою я у нас на балконе, в Патардзеули...

Мимо, по дороге, проходят, движутся тени давнего прошлого, в ситцевых платях, в темных платках, в шинелях с солдатского плеча, в овчинных тулупах, в сыромятных каламанах.

Я зову их:

— Привет вам, друзья и соседи! Не узнаете меня? Я тот самый маленький мальчик с темными фиалками-глазами, с желтым вихром и румяными щеками, что бегал среди вас! Тот, что кружился на молотильной доске у вас на току, что сиживал погонщиком на ярме ваших быков во время пахоты или на перекладине вашей арбы, что увязывался за вами, когда вы отправлялись в поле или на виноградник!

Я тот, кто читал вам книги вслух, кто записывал с ваших слов песни, пословицы, стихи и загадки!

— Вспомнили меня?

— Поднимайтесь ко мне на балкон, поднимайтесь смело, без стеснения!

Поднимайтесь ко мне, тени, и рассказывайте мне обо всем, что было, яркими, могучими вашими словами!

Я ведь записываю в этой книге простые были вашей

<sup>1</sup> Тонэ — печь для хлеба.

жизни — записываю рукой неопытного прозаика. Это ведь только воспоминания о вас...

Сюда, ко мне, соседи, друзья! Знаю: вас уже нет на свете, — но образ ваш не стерся в моей душе! Я узнаю вас — как прежде...

Вы все мне памятли! Ведь это от вас узнал я впервые, что такое сладость и горечь жизни! Вы были первыми моими учителями!

— А, и вы здесь, Ницуца, Гаянэ, Магда, Марта — сказочницы мои! Как незаметно, как тихо ускользнули, ушли вы от нас — покинув без сожаления прялку и колыбель, огород и пекарню, поле и виноградник! Ушли в землю, изнуренные нечеловеческим трудом... Прильнули к ее материнской груди, как когда-то прижимали к своей ваших младенцев... Вы ведь и сами — частицы этой матери-земли!

Вас уже нет, но по-прежнему улыбаются утра в Патардзеули; по-прежнему осыпается белым, желтым, розовым снегом миндальный, персиковый, яблоневый, грушевый, алычовый цвет!

В ваших дворах хлопочут теперь другие хозяйки — быть может, даже не зная того, что когда-то на их месте трудились вы, любимые мои!

— Сюда, сюда, ко мне, поднимайтесь на балкон, друзья, напомниме, расскажите, вдохновите меня!

В спешке пришлось мне писать эту книжку — всего за месяц-другой.

«Сказал конский щавель: хоть бы к хозяйке моей приехал браг после долгой разлуки, чтобы дали мне за беседой вволю повариться!»

А я бы пожелал вот чего: хоть бы моему издателю не доставили вовремя бумагу из-за гор или из-за морей, чтобы мог я писать потихоньку, не тороясь, любовно очищая, оттачивая и расцветывая свое слово, и предстать перед читателем «с сердцем чистым и словом чистым»!

О, как люблю я кряжистое, меткое, сочное, яркое слово!

Говорят, хвост — фазанья краса, а конец — делу венец.

Посмотрим, каким концом увенчается эта моя книжка, венок из виноградных листьев.

19 июля 1961 г.,  
село Патардзеули



## ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ

Чудо-дерево стоит,  
Серебристый свет струит.

Дьякон Элевтер вышел вечерней порой на деревенскую площадь — поболтать с крестьянами, развлечься беседой...

Это тот самый Элевтер, которого месяц тому назад поколотили дубинками хмельные богомольцы на храмовом празднике: что это, дескать, за имя такое замысловатое — Элевтер! А сельский священник говаривал о нем: «Будь у меня еще один такой Элевтер, этого бы уж я непременно повесил!»

Скорее винным духом, нежели духом святым, жив был дьякон Элевтер — пропойца, бражник, бездонная бочка! Бывало, бормочет гундосо во время обедни священное писание, торопится, бубнит, а то место псалма, где сказано, что «вино веселит сердце человека», возглашает с выражением, любовно чеканя слова...

Надвигались сумерки, пастухи пригнали стадо, крестьяне разошлись по домам, чтобы приглядеть за скотиной. Опустела деревенская площадь. Только у Элевтера нет никаких дел — и остался ему единственный собеседник, горький бедняк Элиоз.

— Так ты не знаешь, братец мой горемычный, что Ключ Веша — источник живой воды?

Дьякон вырвал у проходившей мимо девчонки Абдии из рук влажный кувшин и прильнул к его горлышку. Сначала подержал воду во рту, попробовал на вкус, потом с клеточком прополоскал горло и, наконец, напился жадными глотками, запрокинув голову. И, довольный, разомлевший от блаженства, продолжал:

— Ай, ай, ай, умереть мне и сгинуть без следа! Неужели ты про Ключ Веша не знаешь?

— Где он, этот источник?

— В горах Тетробиани.

— От чего он лечит? — робко спросил Элиоз.

— Да не лечит, а бессмертие дает.

— А что такое бессмертие?

— То, что напейся этой воды — и будешь жить вечно.

Элиоз вздрогнул, отшатнулся.

— Не хочу! Зачем мне вечная жизнь? В нищете да в маете?

— Да кто тебе ее предлагает, несчастный? Таким, как ты, к источнику живой воды путь заказан! — выкатил на него глаза Элевтер.

С изумлением и даже с обидой глядел дьякон на Элиоза: не думал он, что найдется такой тупой и темный человек, который откажется от обнаруженного им эликсира бессмертия!

Но напрасно сердился дьякон. Элиоз был человек многосемейный и жил в неопикуемой бедности.

— Уж так нищ, так жалок, что голодный пес у него из рук хлеба не возьмет! — говаривали соседи.

И в самом деле: не было у Элиоза ни земли, ни имущества — одна полуразваленная землянка, и перед ней непросыхающая лужа, кишачая зелеными мухами... Лохмотья... Грязь, голод... Зачем было Элиозу бессмертие этой отвратительной нищеты?

Но Элиоз был человеком нежного сердца и неумным мечтателем. И как ни жестока была к нему жизнь, она не смогла угасить в его душе искру мечты.

Причудливыми грезами, рожденными его воображением, защищался он от жестокой, диким зверем когтившей его действительности.

Сначала он искал в кустарниках курицу-золотонесушку. Потом задумал он поймать Ясную рыбку и це-

лыми днями, закатав штаны, стоял по колено в потоке: вычерпал целое море воды из Иори, обшарил ее дно, изорвал сеть и затушил острогу.

И так и этак брался он за дело — перекрывал речные рукава и руками ловил, возился до изнеможения, а Ясная рыбка так и не далась ему в руки...

Напоследок запало ему в сердце разыскать в лесу волшебное дерево хереванд, древо желаний, и отведать его плода. Если исполнится эта его мечта — тотчас же придет и богатство.

Элиоз верил: в одну из морозных январских почей, ровно в полночь, растворяются врата неба — и если в этот час оказаться в лесу, то увидишь волшебное дерево, усеянное дивными, невиданными цветами. И нет прекраснее зрелища на свете: за какой-нибудь час сказочное дерево расцветает и покрывается плодами, и, если кому удастся сорвать плод с этого дерева, достаточно только раскусить его — и бедность тотчас же отстанет от того счастливица. Кто рассказал ему сказку, кто внушил Элиозу зеру в нее? Не знаю... Но только январскими ночами, когда небо, кажется, вот-вот расколется от жестокой стужи, Элиоз частенько бродил, кутаясь в свои лохмотья, в одиночестве по лесам — бродил, надеясь увидеть отверстые небесные врата и цветущее волшебное дерево.

— Как это ты не боишься оставаться ночью безоружным в дремучем лесу? А если вдруг повстречаешь медведя, или волка, или гиену? Голыми руками возьмешь?

Но перед глазами Элиоза сияло и переливалось радугой цветущее сказочное дерево; он ни о чем другом не мог помышлять, опасности для него не существовало, и даже едва прикрытое жалкой рванью его тело, разгоряченное необычной мечтой, казалось, не ощущало пронизывающего холода.

Жена, дети уговаривали его, умоляли не ходить по ночам в лес, но он продолжал свое. Наконец дома привыкли к этим ночным отлучкам и оставили его в покое. Возвращаясь из лесу, он прихватывал с собой вязанку хворосту, и жена даже радовалась: все же помощь в хозяйстве!

— Ну как, Элиоз, нашел свое волшебное дерево? — спрашивали его с улыбкой.

— Нет еще... Но найду непременно!

— Да ведь морозно в лесу! Небось обжигает — дрожишь весь, слышь, как стучишь зубами!

— А как же ты думал, добрый человек? Дело-то не простое!

И вот однажды зимним утром, в трескучий мороз, из лесу привезли на санях обледенелый труп Элиоза.

В поисках волшебного хереванда, подстерегая минуту чудесного превращения, он замерз у подножия какого-то дерева, зацветшего морозными цветами...

— И впрямь — красивое дерево выбрал, бедняга, любо посмотреть! Разукрашенное морозом, все в ледяных цветочках, кружевах, рюшах, подвесках — ну просто картинка! — рассказывал лесной объездчик Бодавели, который и нашел окоченевшего Элиоза — случайно наткнулся на него ночью в лесу...

Так-то окончил свои дни Элиоз...

Чтобы сколотить несчастному гроб, отодрали доски от стен его покосившегося, ветхого саманника.

Дьякон Элевтер лишний раз напился на поминках и тем осуществил очередную свою мечту. На другой день он ходил хмурый и жаловался на тоску и головную боль — с похмелья.

Бедняга Элиоз так и не сумел убежать от страшной, леденившей ему душу действительности. Мечта о чуде стояла ему жизни.

Поэты — не только те, что пишут рифмованные строки на листе бумаги. Немало и других ходит по земле — наделенных поэтическим сердцем и глазом, озаренных лучами высокой мечты.



## НАШ АБРИКОС

Было у нас в винограднике на Иори абрикосовое дерево — большое, раскидистое, густо увешанное плодами.

Сначала я очень любил его. Но потом оно стало вызывать во мне какое-то тоскливое чувство — даже, пожалуй, отвращение. С тех пор ни разу за все время моего детства я не забирался на него, не отряхивал его густо унизанных румяными абрикосами ветвей. Я как бы поссорился с ним и, если случалось пройти мимо, даже не оглядывался. А потом оно состарилось, высохло и повалилось — но я не только не огорчился, а скорее обрадовался.

Сердце мне щемило одно воспоминание — иначе зачем бы я стал ненавидеть дерево, неизменно радовавшее меня своими ранними плодами?

То была пора, когда прокладывали Кахетинскую железную дорогу. Полотно ее пролегало как раз через наши иорские виноградники. Вскоре развернулась адская работа. Механизмов тогда не было, и землекопы врезались в грунт лопатой и заступом. Рабочих коношилось на строительстве великое множество — грузины, армяне, немало и русских. Места были болотистые, воздух —

гнилой. Зеленые иорские болота, топкие заросли и трясины щедро награждали бедняг лихорадкой. От зноя спирало дух, горячий воздух обжигал лица, точно жар раскаленной печи. Даже свежей питьевой воды не было у рабочих — только мутная, тепловатая, из Иори. Люди хворали, больные валялись прямо на земле. Кому было о них позаботиться? Смотрители, десятники орали, осыпали их руганью, а покорные, бессловесные рабочие молча исполняли их приказания.

Вечерами, после работы, рабочие помоложе пытались иной раз завести пляски, повеселиться... Но разве слышано, чтобы обессиленный, изможденный человек, не чуя под собой ног, пустился в пляс? Бывало, раз другой растянут гармонию, но в душе нет охоты, в руках — силы, и музыка тут же смолкнет — точно чей-то протяжный стон донесся издали! Разморенным зноем людям и беседовать-то было не под силу — едва ворочали языками!

Единственной их радостью, единственной утехой и наслаждением были фрукты из иорских виноградников. А наш виноградник ведь растянулся вдоль самого берега Иори!

Фруктов же было в виноградниках несчетное множество: черешни, тута, абрикосы, груши — «медовые», дикая «панта», маслянистые «гулаби», — персики, сливы, яблоки, айва, пшат, не говоря уж о самом винограде. Здесь и там вздымались свои шатровые главы орешники, по ветвям которых носились, точно балерины, желтые иволги и кричали нам сверху: «Бичо, Гогня!»

Множество фруктовых деревьев выстроились яхонтовой стеной вдоль самой дороги, но никто из рабочих ни разу не позволил себе сорвать тайком хотя бы одну сливу! Зато они то и дело обращались к крестьянам, чтобы купить немного фруктов. Но крестьянам было неловко брать деньги, и они предлагали рабочим угощаться просто так, на здоровье. Но нельзя же вечно угощать и потчевать? И вот словно из-под земли высыпали толпы торговшей, набросились на наши сады и закупили на корню — где волей, а где и силком — чуть ли не каждое фруктовое дерево, чтобы потом нажиться вдесятеро, торгуя с землекопами. Во всей округе не осталось ни одной незапроданной яблони и груши, чтобы хоть было чем полакомиться ребенку. Помнится, пере-

R9 049.226  
3

ՀԵՐԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ  
ԵՐԵՎԱՆ  
ՏՊՈՒՆՈՒՄ 17  
Ճ ԵՐԵՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆ

купщики платили за каждое дерево по тридцать копеек, по полтиннику, по шесть гривен — и так до рубля, а сами клали в карман по десятке и больше.

Деревья гнулись под тяжестью плодов, манили к себе, и ребятишки, радуясь этому изобилию, тянулись к щедрым ветвям, но вдруг вспоминали жесткое слово «продано» и, словно ужаленные, круто поворачивали назад. Так случилось с моими босоногими товарищами Пиноной, Батулой, Аглией и Арсеном.

И зачем же у них были отняты эти сладкие как мед абрикосы? Что было причиной? Серебряный полтинник, бережно упрятанный их отцами в карман рваного ахалуха...

Вот стоит паренек под деревом, воровато оглядывается — что за груши! Да будь у груш рты, они, наверное, съели бы друг друга! Но, воспитанные в строгости, у бабушкиной юбки, ребятишки боялись воровства как огня, да и в ушах у них все еще отдавались слова, сказанные перекупщиком в ту самую минуту, когда он вручал их отцам серебряный полтинник:

— Ну смотри, Габро, поручаю тебе это дерево! Ты должен сдать мне его как есть, со всеми плодами. Приглядывай, чтобы дети их не обобрали.

И Габро клялся памятью покойного отца, ручался честью и совестью, но почему же ему не жаль было своего светловолосого сынишки Пиноны? Лучше бы уж... Но этот полтинник ведь нужен был, чтобы заткнуть какую-нибудь из бесчисленных дыр в хозяйстве бедняги Габро.

Замкнулись, стали запретными для детей иорские сады... Где, когда это было слыхано, чтобы фрукты были под запретом? Все, что зрело в садах на Иори, принадлежало ведь нам, детям! Словно птицы, резвились мы, ребятишки, на ветвях яблонь, груш, слив. А теперь иорские сады стали для них недоступны... От этой нежданной грозы мы точно онемели. Очень уж внезапно она разразилась — и пасмурно стало у нас на сердце...

А сады на Иори шелестели по-прежнему, разноцветные плоды все так же приковывали к себе наши взоры... Но мы точно состарились за один день; точно само детство наше, а не только фрукты иорских садов, было под запретом. А вместе с фруктами у нас отняли и саму Иори — нас теперь, уже не тянуло к ней, да и что нам там

было делать? И мы уже не сбегали веселой гурьбой с пригорка в иорские рощи и заросли.

А Иори ведь была нашей купелью и нашим ристалищем — тут были и купанье, и рыбалка. Взгромоздиться верхом на шершавую шею залегшего в заводи буйвола казалось нам необычайным блаженством. Словом, мы день-деньской торчали на реке... И вот — на Иори не стало слышно детских голосов, Иори онемела — как будто Шах-Аббас снова, как некогда, вторгся в нашу землю и поголовно истребил детей — бросил их под молотильные доски... Казалось, даже птицы из жалости к ребятишкам перестали щебетать.

Только я один не унывал — ведь у меня на Иори было собственное, нетронутое абрикосовое дерево! И, значит, я кликну моих босоногих друзей, мы побежим все вместе в наш виноградник, и я скажу:

— Влезайте на дерево, трясите, собирайте, ребята! На здоровье.

И вот в одно воскресное утро мы с шумом ворвались в наш иорский сад — вся соседская детвора была со мной, у меня в гостях. Что нам теперь до торгашей и до их запретов? Дерево — мое, я его оставил за собой, не променял на деньги. Но знаете, что нас там ждало? Уже издали я увидел перекупщика Мелко и его лошадь, навьюченную большими корзинами. Мелко усердно срывал абрикосы с моего дерева и насыпал их в корзины...

Оказывается, моя мать продала перекупщику и это абрикосовое дерево: что ж, дескать, тебе одному лакомиться — жаль ведь соседских детей, будь и ты как все, попостись вместе с ними, ничего с тобой не случится! И вручила мне три серебряных двугривенных:

— Купи себе свои любимые книжки!

Я и в самом деле купил несколько книг — но они скоро стали ненавистны мне.

Вот почему наше абрикосовое дерево вызывало во мне долгие годы лишь ненависть и тоску.

Оно причинило жестокую обиду моему безоблачному детству. Его униженные плодами ветви искололи, изранили наши чистые, беззаботные сердца.



## ТАГРИА

— Ребра у нас просвечивают, кишки ссохлись с голодухи, — жаловались мне крестьяне.

А иной, сломленный жизнью, покорный своей беспроектной доле горемыка, бывало, вздохнет уныло: «Разве слыхано, чтобы солнце вместо месяца взошло?»

Вот так и сосед мой Тагрия — давно уж смирился, потерял надежду, махнул рукой на свою жизнь.

Это был статный, могучего сложения крестьянин с лицом, опущенным поседелой бородой, с янтарными от табачного дыма усами, многосемейный — отец семерых девочек-замарашек, — придавленный нуждой... Богатырь, любого силача поборет, а бедности не мог одолеть!

Как живой стоит у меня перед глазами Тагрия... Опустившийся, вялый, сонный, почти отупевший от нищеты, он ничего не желал, ни к чему не стремился.

Однако у него была гордость.

— Жалованного да дареного мне ничего не надо, — говорил он и стойко терпел свою жестокою нужду.

— Жена!

— Чего тебе, вредун дурноглазый, чтоб тебя землей

засыпало! — так вот ласково отзывалась на зов Тагрия подруга его Тотола.

От зари до зари хлопотала она, сповала без передышки по дому — вечно на ногах, не присядет, не вздремнет, застать ее спящей — все равно что увидеть лежащий кувшин... Увядшая, вся скорченная и сморщенная, точно сухая винная ягода, тощая как жердь, — в чем только душа держится?

Известна была Тагрии тайная причина его безысходной нищеты — оттого он беззвонко ей и покорялся.

— Бог — великий шапочник! На каждого скроит он по мерке шапку — его счастье. И разве Тагрия не родился на свет со своей шапкой-таланом? Да только бабки-повитухи, суется около роженицы, затеряли ее. Затеряли да так и не смогли найти. И остался Тагрия без счастья. Вот почему от его труда нет ни проку, ни прибытку. И семь дочек — это тоже из-за потери шапки-талана. Знает все это Тагрия и потому работает через силу, без охоты: все равно ничего в жизни не добьется. Нет ему удачи — бесталаный человек!

Да и у Тотола не написано счастья на роду! Найдется и у нее в чем упрекнуть свою судьбу.

— Счастливой доли ищешь, душа моя? Так выйди на вознесенье ранним утром в поле, отыщи трилистник-клевер о четырех листках да сорви стебелек — вот он и принесет тебе счастье. Только не забудь надеть золотой перстень — иначе ничего не выйдет!

— Однажды утром на вознесенье я и в самом деле нашла на краю нашего виноградника такую былинку — крупная, крепкая, с четырьмя тугими лепестками... Долго я ходила вокруг да около — кроме меня, никого не было поблизости, да только как его сорвать? Где взять золотой перстень? Отец мне колец не дарил, брат да крестный — и недавно... Так я и потеряла свое счастье! И получила в мужья такого вот Тагрия, и должна день-деньской кружиться как веретено... Песушила меня, выжила мою силу проклятая бедность!

— Эх, знать бы мне тогда... Ведь если подкрасться к уснувшей реке, улучшить минуту, когда она задремлет, то кинь в нее что угодно — все в золото превратится. Вот бы и мне — чего уж проще! — забросить в реку медное колечко, вытащить золотое, надеть его и сорвать клевер-четырёхлистник... Но разве я знала?

— Эх, кому-то досталось мое счастье, кто его сорвал,

безбожный человек? — горько жаловалась Тотола, усердно ища в растрепанной голове у своей маленькой дочки.

Загнанный нищетой, Тагрия порой уходил на заработки, нанимался к крестьянам побогаче на поденную работу. У чужих людей он работал лучше, чем в своем хозяйстве. Там его кормили как следует, а дома он не чувствовал должного к себе уважения. И поэтому он ленился работать на себя, забросил свое хозяйство, звалили его на жену.

Истомила, обессилила бедность Тагрию. Никогда не видал я его в гульбе, не слышал, чтобы он веселился. Лишь однажды, помню, откуда-то вернувшись, вошел он с песней в свой двор, хватил шапку оземь, возгласил: «Честь и хвала праведной груди материнской!» — и прилег тут же, под пшатом, уснул. Через некоторое время вернулась из виноградника с охапкой вырванной сорной травы Тотола. Увидев пьяного мужа, спящего под деревом, она пришла в негодование, тут же намочила тряпку и приложила к его лбу, а когда это не помогло, принесла в кувшине холодной родниковой воды и плеснула ему в лицо — чтобы протрезвел, пришел в себя...

Тагрия вскочил и с перепугу чуть не растерзал жену. — Зачем ты меня разбудила, безбожная баба? Я же последний грош истратил, чтобы пьяным напиться! Креста на тебе нет! — сетовал бедняга, так безжалостно возвращенный от сладких снов к суровой действительности.

...Целыми днями сидел он недвижно в галерее перед домом, посасывал свою неразлучную трубку. Но трубка была все же не самой первой его страстью: больше всего любил он сладко поспать. За это жена прозвала его «спячкой» и «беспробудным», а Тагрия оправдывался: «Все равно весь свет не опережу, зря только от сна отстану!»

— Ну, этот уж «беспробудный» — он и от трубы архангела в день второго пришествия не проснется! — насмешливо говорил о нем сельский священник.

И Тагрия спал... сладко, невозмутимо... Разбудить его было целое дело, переполох в семье.

Помнится, когда на небе загоралась утренняя заря, во дворе у Тагрии поднимался шум. Наш дом был по соседству, и я спал на открытом балконе. В рассветной

тишине явственно доносилась до меня перепалка мужа и жены:

— Вставай, соня, пора! Хватит спать — не испекся еще под одеялом?

— Отлипни, смола! Что ты рычишь, как цепная собака! — И Тагрия натягивал на себя одеяло.

Лежит Тагрия и думает с закрытыми глазами:

«Вставай! Как же, ждут меня лозы кудрявые, поднялись стеной, протянулись рядами на версты! Всего-то у меня виноградник — клочок земли с бычий язык; там и тебе одной, бабе, не повернуться, чего мне-то пот проливать над испитой, истощенной землей!

Пристала — вставай! Можно подумать, дожидаются меня во дворе исправный плуг, запряженная арба... Надо скотину в поле выгнать, за табуном присмотреть, о стаде свином позаботиться...

Вставай да вставай!.. Ну да, как бы не опоздать к родительским поминкам: ждет меня накрытый стол, стоит на нем похлебка из лососевой икры... Что у меня еще есть, кроме этой протертой циновки? Ради этого вставать?»

— Вставай, деревянная голова! Уж совсем рассвело! Проснись, люди уж добром дома набили! — не унималась жена, хотя еще только первый отблеск зари играл на востоке.

— А, иссохни твоя грудь! Весь свет переполошила! От твоего визга, вишь, земля растрескалась!

— Поднимайся, лежебока, рохля! Перед ласточкой стыдно, что у нас под крышей гнездится: что скажет-то, глядя на нашу скудость? Вставай — вот-вот солнце взойдет!

Тут уж взрывался Тагрия — точно с грохотом обрушились скалы:

— Дуреха! Да кто я такой, чтобы вперед солнца соваться? Сперва красное солнышко пусть изволит на небеса подняться, а следом за ним и я встану да в поле поплетусь.

Видимо, сраженная этим неотразимым доводом, Тотола ненадолго оставляла мужа в покое, и тот снова погружался в уютную дремоту.

Но проходило немного времени, и снова начиналось:

— Вставай, чтоб тебе остыть навеки!

— Вставай, папочка, родненький, миленький, — окружали его гурьбой девочки, уговаривали умильно —

одна тянула за руку, другая подавала шерстяные носки, третья — каламаны, четвертая — пояс, пятая — лохмотья, именовавшиеся шароварами и ахалухом... Годовалая малышка Иамзе протягивала Тагрии своими пухлыми ручонками шапку.

Тогда Тагрия начинал торжественный обряд вставания; для зачина брал в руки поданные ему носки и застывал в неподвижности, как бы раздумывая — стоит одеваться или нет? А Тотола снова выходила из себя.

— Тьфу! Что за горе! Экое наказание!

— Послушай, какое сейчас время работать — вишь, как кусается июньское солнце, стрелы мечет! — робко вворачивал Тагрия, но снопы уже были раскиданы по гумну Тотолой и девочками, и лошаденка, запряженная в молотильную доску, дожидалась главы дома. Девочки уже сидели на доске и тихонько поддразнивали лентяя отца.

Скоро и Тагрия присоединился к ним — и медленно кружил по гумну, напевая вполголоса «Оровелу».

Тяжелая это была работа — молотьба! На заре, до восхода солнца — раскидывать снопы по гумну, а потом целый день, на солнцепеке, под палящим зноем, кружить на молотильной доске.

— Что делать — надо, чтоб летом мозги у нас в черепе закипели, иначе зимой котелок на огне не будет кипеть, — говорили крестьяне.

Для нас, ребятишек, гумно и молотьба были сплошной радостью: скользишь на доске по мягким снопам, лакомишься сладкими летними грушами — «гуменными»... Потом — сгребание обмолоченного хлеба деревянными совками — «арнади», тучи мякины, слетающей с лопат веяльчиков и уносимой ветром... А вечером — высокая, красноватая куча зерна на чисто подметенном и сбрызнутом току и пляски, хороводы вокруг нее, шутки, смех, веселье, а в небе — несчетные звезды, и струение серебряной реки Млечного Пути, и месяц, сияющий, улыбчивый месяц...

Откуда нам было знать, что печалило наших старших! Как могли мы угадать, что жизнь казалась им сплошной, темной, беззвездной и безлунной ночью?



## СТАРАЯ ДЕВА

Июль... Сплошной стеной протянулись вдоль дороги желтые, безмольные нивы. Спелые колосья клонятся к земле, дожидаясь проворного серпа. Ветерок улетел куда-то, сгинул. Земля пересохла, растрескалась, дорога пылит. Вокруг — дрема, тоска.

✓Одинокая путница показалась на дороге — старая женщина, одетая не по возрасту крикливо и ярко. Платье — из разноцветных веселеньких шелков; в одной руке ветхий зонтик, в другой — нестрый узел; старомодные черные перчатки и допотопные ботинки с высоким верхом на пуговках дополняли причудливый наряд. Сломанный у основания каблук то и дело подворачивался, причиняя ей немалые мучения. Усталая, вся в испарине, брела она, кряхтя и тяжело вздыхая, измученная жарой, неловкой обувью, своей тяжелой долей... ✓

— Долго ли, о господи? Доколе таскаться мне по белу свету? — стонала она, вытирая перчаткой потную шею. — Скоро ноги передвигать не станет сил — околею где-нибудь под забором!

Вчера она погляделась в зеркало и в сердцах швырнула его оземь. Зеркало сказала, что погасла краса

ее, не сияет лицо, как ясный месяц, увяли розы, потускнели кораллы и жемчуг, и вся она — как меркнущий вечер... Миновал солнечный полдень, пора ее расцвета, уплыли с водой красота и всеобщее поклонение...

А когда-то говорили, что она прекрасна, как ангел, сошедший с иконы, — недаром осталось за ней прозвище «Фуфала»<sup>1</sup>...

— Вон моя деревня... Желанная уже столько лет... Родное гнездо, где нет у меня ни крова, ни очага... Кто выбежит навстречу мне за калитку? Кто приветит ласковым словом, как некогда покойная матушка: «Вернулась домой, доченька? Цела, невредима? Оброни свои горести за порогом!» Некому больше приголубить сироту! И что мне осталось взамен? Жестокий мир, опустелая подлунная — без ласки-привета!

— Как хорош был наш балкон в лунном сиянье! А беседка из лоз, а аллея в саду?

— Бедный мой отец, храбрый воин, покоритель карсской крепости! Когда государь пожелал взглянуть на его портрет, отец согнул одной рукой подкову и велел отослать ее вместо карточки. И я, его дитя, дворянская дочь, должна теперь скитаться по пыльным дорогам!..

На краю пшеничного поля стоял огромный, тенистый орех. Дрожь волнения охватила при виде его старуху.

Под этим орехом встретила она в последний раз с телеграфистом Габо.

— Извелся я без тебя! Заслонила мне весь мир — свет божий померк, стал немил! Присушила меня, приворожила! Среди лета мерзну — хоть второе солнце на небе зажги, все равно без тебя мне не согреться!

«А я и слушать его не хотела! На другой день он выпил отраву из-за меня. Как знать — может, он смотрит теперь с неба на мои скитания и мучается. Знаю, знаю, болит у него душа, жестоко болит!»

Фуфала посмотрела на остатки разрушенных стен, что чернели на вершине горы, и перекрестилась.

Как бывало весело на гулянье в день храмового праздника этой старинной святыни! Здесь однажды Доленджи, отчаянный наездник, распалив коня, перескочил в честь Фуфалы через семь разостланных в

<sup>1</sup> Фуфала — букв. «боженька», также — икона.

ряд бурок. А Зазуна, беспечный гуляка Зазуна, спрашивал ее: «Да кто ты такая — уж не дочь ли самого ясного солнышка?»

— А Ардашели ходил за мной как тень: «Некуда мне от тебя деться — казни или помилуй!» Но я была тверда как камень — эх, и кого же я дожидалась? Отчего не верила никому, никого не слушала?..

— Что за яростный ветер пронесся надо мной — всю ограбил дочиста, ничего мне не оставил.

Показались дома — под бурыми соломенными или красными черепичными крышами. Из-за колючей изгороди проулка выглядывали задорные хохолки кукурузы. Из свежеполитых огородов тянуло чабером и укропом.

Вот и еще развалина; при виде своего разоренного пепелища Фуфала вспомнила вчерашний сон; она нежится в постели, а мать папеваает, склонившись над ней:

Бушевало море,  
Молнии сверкали,  
Над волной бурливой,  
На крутом утесе  
Был шатер раскинут,  
В нем краса-девица,  
Укрыта парчовым  
Пестрым одеялом,  
Спала-почивала.  
Я парчу откинул,  
Разбудил красотку  
И поцеловал.  
Девушка зарделась,  
В лице изменилась,  
Письмо написала,  
А кому послала?

— Кому пошлешь? — спрашивает с улыбкой матушка. — Сулхану, Арчилу или Рамазу?

Фуфала колебалась и сидела, задумавшись, на постели, а мать упрасивала ее:

— Что ты бровки, насунила? Прояснись, разглядь морщинки у себя на лбу, жизнь моя!

Но рассеялось сладкое сновидение... Нет уютной постели... Фуфала проснулась в хижине у кумы-крестьянки, на соломе, разостланной прямо на земляном полу. И сразу послышался ей за дверью сердитый голос хозяина, бранившего жену:

— Избавь меня от старой хрычовки! Смотри, посидит к нам да и поселится, как у себя дома!

— Как же я ее выставлю — она мне лекарства дает! Вот наемни от головной боли вылечила!

— Ну, так потчуй ее разносолами, чтоб ей пусто было!

Фуфала подчас лекарничала ради куска хлеба — слыла лечесей.

— Свари ворону так, чтобы в своем пару упрела, и вышей отвару.

— Высуши кровь скорпиона и глотай, зажмурясь.

— Дубовый сок и ястребиный жир смешай с оленьим салом, брось сердце голубя в розовую воду...

Аптеку лекарки Фуфалы составляли: трава ослиный бок, волчий корень, ивовый арак, верблюжья кость, адский камень, чертовы огурчики, осиная травка...

Снадобья и зелья Фуфалы были никому не нужны — да она и не навязывала их. И все-таки она была надеждой деревни... И жила славой целительницы — она, когда-то наносившая смертельные сердечные раны! Сердобольные знакомцы давали ей приют и пищу из сострадания.

Старая красотка вступала в деревенские проулки как корабль, побитый бурей, в тихую гавань.

«Может быть, я в последний раз вижу нынче родные места?» — подумала она с грустью.

На самой дороге, возле изгороди, под большим пшатом — тут было узаконенное место сельского ареопага — заседал женский синедрион. Глазастые, болтливые сплетницы стрекотали без умолку: шили и мыли, гладили и катали, пряли и ложили — и все языком!

Какне ни сыщутся языки на свете, все собрались здесь: язык-шептун и язык-болтун, язык-лизун и язык-лепетун, язык-тумак и язык-кистень, язык-клепало и язык-молотило, язык-молomon и язык-погремушка, язык без замка, и язык без костей, язык длинный и язык колкий, язык-бритва и язык-терка, мели-язык и прикуси-язык, язык суконный и язык гугнивый, язык-пила и язык-тренало, язык спотычливый, и язык заплетчивый, язык медоточивый, язык ядовитый, язык раздвоенный...

Прибавить еще? Язык-балаболка, язык-жужжало, язык — змеиное жало... И кто знает, сколько еще других! Чего не сболтнет неутомимый и острый человеческий язык!

Сплетницы изрыгнули, излили всю свою желчь, все ремыли косточки всем и каждому, правого и виноватого облили помоями, смешали с грязью, выставили на посмешище...

В стороне, окруженная пятью малышами-внучатами, сидела бабушка Гайанэ; неустанная труженица, она уже успела поработать в винограднике, да и сейчас кружила веретено в чашке, время от времени искоса поглядывая на судачащих женщин.

Говорильня действовала, хозяйки перетряхивали чужое грязное белье, а особенно ярилась, особенно упоенно предавалась этому занятию жена цирюльника, по прозвищу «Лютоярка», чей язык молот без передышки. Лютоярка была зла на весь мир, сотворенный явно не по ее вкусу. Взбунтовавшись против вселенной, она беспощадно когтила и клевала каждого, кто только попадался на зубок. Ей вторила ласково-елейная Бабалэ; у этой была иная повадка — с томным и сокрушенным видом, после множества предупреждений, сообщала она под страшной тайной какую-нибудь свежую сплетню, раздув ее до невозможности:

— Только никому ни гугу, похорони в своем сердце! — Но на самом деле вся деревня уже знала от нее самой этот секрет.

— Розы и фиалки ковром вам под ноги! — начинала она и вдруг огорошивала слушателей ошеломляющей небылицей.

Вот и сегодня — слово за слово, и началось, да такое!..

Бабалэ сообщила собеседницам, что родинка под правой грудью сельской красавицы Наргизы примелькалась целому десятку, а то и дюжине соседских парней.

— И прекрасно! Хвалю Наргизу! — отозвалась Ницуца, у которой не было уже ни одного зуба во рту, зато и язык болтался привольно, без всякой помехи... — Пусть живет — радуется, берет от жизни, что может! Вот я честная была, — а много ли выиграла? Теперь-то я жалею, что упустила свою молодость... Только и знала, что белье да посуду, кур да скотный двор — так дала увянуть моей красоте...

— Вот оно что такое наша жизнь! Правду говорят — минута, мгновение ока... Не успеешь оглянуться — и ускользнула, ушла между пальцев... Ни вкуса,

ни цвета не осталось!.. Эх, и линючая же она, проклятая... — жаловалась Нинуца.

Солнце садилось. Сплетницы обо всем потолковали, всех обсудили, и уже, казалось, истощился запас сплетен, но бог не оставил их без помощи: на околице показалась наша усталая странница.

— Смотри-ка, вон Фуфала идет! — воскликнули все в один голос и усталились на дорогу. — Давненько не появлялась! Где-то она пропадала, любопытно знать? Ну, вот вам и еще знаменитая красавица — на что уж всех с ума сводила, а глянь, в какое пугало превратилась! Эх, и в самом деле, мир наш — тцета, суета сует!

— Это она-то была красавица? Да у нее лицо словно печеное яблоко! — воскликнула с изумлением девушка — Синеглазка.

Фуфала приблизилась со своим раскрытым зонтиком и пестрым узлом к женскому сборищу. Лицо у нее пылало, пот, стекая со лба, смыл полосами белила и румяна.

Путница приветствовала беседующих.

— Наконец-то ты вспомнила и о нас! Где пропадала?

— Вот решила взглянуть на родные места... Свидетель мне это солнышко, что к матери своей держит путь, — уж как я вас всех люблю!.. О чем вы судилирядили? — спросила Фуфала, отдышавшись и бережно сложив свой рваный зонтик.

— О минутном мире нашем, о жизни — как она быстро ветшает... Взять хотя бы тебя! Господи, как ты хороша была — мне ли не помнить! Глядишь, бывало, на тебя и думаешь — что это, роза у меня перед глазами или гранатовый цвет? Вся точно месяц светилась... — сказала Нинуца.

Фуфала приняла похвалу как должное и гордо откинула голову.

— В ту пору, когда муж привел тебя молодухой в нашу деревню, мне было всего девятнадцать лет... А в молодости мы все пригожи! Неважно то, что было, да сплыло, важно только то, что есть! Минувшая прелесть — что прошлогодний снег: кто о нем помнит?

И добавила, чтобы не остаться в долгу перед доброжелательницей:

— И ты хороша была, Нинуца!

И все: пять скупых слов, и ни единого цветисто-

го сравнения, ни одной попытки ярче описать былую красоту Нинуцы!

Зато Бабалэ поспешила льстивым тоном дополнить щедрую эту похвалу:

— Да, уж хороша, так хороша... что твой ясный месяц, что твоя румяная заря!

Но она явнохватила лишку — Фуфала рассердилась. Такое неумеренное восхваление соперницы — и притом ведь не искреннее, преувеличенное... Она грозно глянула на Бабалэ, и та замерла, как перепелка перед коршуном. Да и сама Нинуца почувствовала себя неловко — не по чину честь! — но не отвергла лести и, только чтобы умиротворить Фуфалу, перевела речь на иные женские достоинства:

— Что красота, разве дело в красоте? Главное то, что мы честь свою соблюдали, семье и мужу были верны!

— Да, хороша я была собой, и впрямь хороша, — вздохнула Фуфала. — Как майская роза в расцвете. Ясноглазой меня называли, красой-девицей, русалкой...

— А теперь совой величаюг! — сболтнул мальчишка — огородный воришка и пустился со всех ног наутек.

— Куда бежишь, поросенок! Подумаешь; уязвил! Пусть зовут как хотят! Хоть я и увядшая, а все-таки роза — не чеснок и не сельдерей, как твоя мать! Эх, какая же я была красивая, — продолжала Фуфала, — всем взяла, и лицом, и статью... Да только пожертвовала я и молодостью, и красотой ради одного Шиоля...

— Ты и сейчас как расцветшая роза. Кто с тобой сравнится? — съехидничала елейным тоном Лютоярка. — Нет тебе пары на белом свете! — Но Фуфала была уверена, что все ей кадят, и не заметила насмешки.

Хоть и перевалило ей за шестой десяток, а она оставалась все той же разборчивой красоткой: никто ей не нравился.

Шепнут ей, бывало, что вот-де такой-то и такой-то...

— Кто, кто? Этот слюнтяй? Кувшинное рыло? Ростом с ноготок, от земли не видать, в чем душа держится! Размазня, мужичонка-собачонка! — распаясь, оболзет, бывало, беднягу презреньем Фуфала.

— Мелковат, на мой взгляд! Пустобрех, частобай! Не пойду я за такого, лучше навек одна останусь, как полевая мышь!

Лютой ненавистью ненавидела пынешних мужчин:

«Так и буду ходить, как одноногий олень! — И дала ляла, горделиво изогнув шею: — Разве я не дочь покорителя крепости?..»

— Эх, многие вздыхали по мне... Сколько крови из-за меня пролилось! А теперь я словно испуганный воробышек. Эх, Шиола, Шиола... Где ты теперь? Однажды встретился мне Шиола у родника; огляделся, нет ли кого поблизости, и сказал тихо: «Будь я твоим нареченным, честью клянусь, перед самым царем шапки бы не ломал!» Вот точно так и сказал, слово в слово — не подумайте, что я сочиняю!

Сидевший рядом полевищик Рехвия фыркнул, не удержался. Фуфала испепелила его взглядом:

— В зеркало на себя взгляни — смеешь человеком называться? Не мужчина, а пивной котел!

Но тут и Бирхла не удержался от смеха.

— Чего ты ржешь, чесночная душа, луковица облупленная! Поглядел бы на свою трухлявую голову, вишь, она точно укропом поросла! — злобно сверкнула она глазами на Бирхлу.

— И ты туда же, в люди, — сморчок, ерник, недолитая чарка! — И обернулась к женщинам, что сидели рядом, поджав ноги, и гоняли по чашкам жужжащие веретена: — Ну, скажите на милость — что это, человек или ветошь, пыльная тряпка?

А Бирхла все смеялся.

— Не было никого равного Шиоле, — продолжала Фуфала. — Какой стрелок меткий, а песни пел — за душу брало... А уж красив — и лицом, и станом, словно сам святой Георгий из Бочормы...

— Увидел он меня в первый раз на нашем храмовом празднике... Я была в атласном оранжевом платье... Глянул — и голову потерял! Эх, на бранном поле надо было его видеть, а не так, как вас, на лужайке перед духаном, где вы торчите день-деньской! — снова повернулась она к Бирхле.

Но тут Бирхла не выдержал, спасся бегством...

Так текла беседа; уходили одни, подсаживались другие: та выглянула из дому, чтобы посплетничать, другая ускользнула от лоханей и горшков, чтобы просто дух перевести, третья вышла искать ребенка, четвертая — сходить в лавку за керосином... А порой появлялся, на беду Фуфале, какой-нибудь новый мучитель, и пытка начиналась сначала.

— Эй, ласточка быстроглазая, все еще в одиночку ходишь? Отчего замуж не идешь, или уж курочка-несушка в перестарки вышла? — заговаривал с нею старинный друг-приятель Мурца, человек хмурый и колючий. — А впрочем, разве ты себе ровню сыщешь? Никто тебе не чета! — не пощадил и он названую сестру.

— Эх, ушел, ушел Шиола и сердце мое взял с собой! — И как бы разговаривая с ушедшим: — Один ты был у меня, на кого же покинул?..

— Да, любил он меня, всей душой любил... Сорок лет с тех пор минуло...

— На что тебе та любовь, что сорок лет назад землей засыпали? Что с нее проку?

— Любовь не умирает! — томно ответила Фуфала, и глаза у нее заискрились.

— Герой был, богатырь... Богатый, красивый... Да не любила я его — и не пошла замуж без любви! Вот как раньше женскую честь и совесть разумели!

— Да, богат он был, уж так богат, что добра его не сосчитать, не измерить... А я все же не пошла за него; и слова не давала — даже намеком не обнадежила!

— А кто он был, этот Шиола? И когда жил на свете — до потопа или после? — спросила Синеглазка.

— А, чтоб потопом тебя смыло и унесло! — взвилась Фуфала.

— Да, любил меня Шиола, обезумел от любви! На колени передо мной бросался, молил: «Лишь бы один день с тобой побыть, бессмертия испить». Не пошла я за него — а мертвый стал мне дорог...

По словам Фуфалы, умер Шиола сорок лет тому назад. И не было человека в деревне, который бы его помнил.

— Да, знаменитый был человек, краса и гордость нашей земли, и все же я не пошла за него!

— Зря не пошла — вот и кончишь свои дни в богадельне! — уязвил ее снова пристроившийся к женщинам мальчишка — огородный воришка; но Фуфала так сверкнула на него глазами, что пострел опять сломя голову помчался прочь.

— Волчий зуб тебе в кишки, в глаза ястребиный коготь! — пустила ему вдогонку Фуфала.

По дороге гнали овечью отару.

— Все горы и дуга вокруг нашего села были сплошь

усеяны овцами Шиолы. Он один арендовал все пастбища и покосы для своих стад.

— А говорят, всю жизнь батрачил, так и умер на чужой службе. Зачем же ему было в работниках маяться, если он был так несчетно богат? — ядовито спросила Синеглазка.

— Да нет, то другой Шиола был, иного роду-племени! — И Фуфала продолжала еще торжественней: — Ожерелье из скатного жемчуга купил для меня Шиола, золотую цепь, рубиновые серьги, кольцо с алмазом... Купить-то купил, а прислать, побоялся — все равно, мол, не удостоит принять подарок...

Никто не знал — был ли в самом деле на свете когда-нибудь воздыхатель Фуфалы Шиола? Присылал ли ей в подарок золотую цепь?

— Так вот, значит, какой он был человек, твой Шиола! Невелика птица: овчар косматый, заросший бородой до ушей, оборванный, весь в репье, вымоченный дождями! Умер твой Шиола, сбежал от тебя, поминай как звали. Хватит по нем плакать — на что надеешься? — не унимался Мурца.

— Не овчар, а овцевод, хозяин! — поправила его Фуфала.

— Слыхала я — бедолага был, забитый, унылый! — встала с усмешкой Подушечка, светловолосая, круглощекая девчонка в бусах.

— Чтоб тебе в сырой земле темницу найти, чтоб тебе никогда не радоваться, чтоб птицы твоими космами гнезда свои устилали! — вскочила Фуфала, схватилась за камень...

Девчонка убежала со смехом, а Фуфала так и осталась с камнем в руке.

Потрясенная, уязвленная в самое сердце, стояла Фуфала и думала: «Сколько злых людей на белом свете! Чтоб вам всем сгинуть и пропасть!»

— Ах ты, чертово племя! — И полились потоком громовые проклятия, взбаламученной, оскорбленной Фуфалы.

Но она успокаивалась так же быстро, как выходила из себя. Только что метала громы и молнии — и вот уже утихомирилась:

— Смотри, как она... Ясный день мне затмила! Не уважила крестница крестную, плюнула на святую купель! Ах, какое сплела, ткачиха-паучиха!

И когда Мурца, возвращаясь из виноградника, снова показался на дороге, Фуфала, умиротворенная, ясная, обратилась к нему с такими словами:

— В конце концов, все мы — земля, прах, и в землю уйдем! Друг мой и брат, пусть никогда не увидят твоего горя сестрины глаза! Зачем ты меня обижаешь? Брат мой, сердце мое чистое, как горящая восковая свеча! И не стыдно тебе после этого ступать по матери-земле?

Мурца двинулся было дальше.

— Нет, нет, не уходи так, сначала исцели меня, сними с моего сердца камень, а нет, так давай жребий метать — кому раньше смерть принять... Пусть бог нас рассудит, и да будет его святая воля!

— Не женщина, а меч обнаженный, спящего льва разбудишь! — пробормотал Мурца.

— Это не я, а сердце мое уязвленное говорит! — мягко переливался голос Фуфалы.

— Подай мне утешение, умиротвори меня... Цветами тебя забросают, только пролей бальзам на мою душу.

— Сердце за брата тебя считает! Мы же вместе с тобой росли! Ничего не понимаю — все в голове спуталось. От тебя ли мне ждать беды, безбожный ты человек! А если ты сам на меня обижен — давай поговорим открыто, выскажем все не таясь, очистим душу и закончим на этом!

— Утеху дай мне, утеху и исцеление! — взывала с мольбой Фуфала, свесив голову и глядя в землю перед собой.

Но Мурца, улучив минуту, успел уже ускользнуть — увлеченная своим красноречием, Фуфала не заметила его исчезновения... Когда она подняла голову, перед ней стоял не «друг и брат» ее души и сердца Мурца, а молодой, весело ухмыляющийся Кория.

— Этот еще откуда притащился? — воскликнула Фуфала.

— На ветке укропа сидел, ветка подломилась, с ветки свалился! — отвечал Кория.

— Что, что?

— Доски гробовые строгал, пришел мерку взять, чтобы гроб тебе сколотить, поняла? — нагло осклабясь, отчеканил Кория.

Фуфала рассвирипела, но притворилась, что не слышит.

— Ах это ты, ненасытное брюхо, коршун, что всю деревню по зернышку расклевал? — наддала она жару, и неспроста: Кория был хищник, вор, знаменитый на всю округу.

Он никогда не упускал случая помучить бедную старуху.

И истязание Фуфалы началось сначала...

Солнце садилось, вечерело. Сумерки окутывали деревенскую дорогу.

— Господи! Порази громом, сожги, испепели моих врагов! И пусть грызут их неусыпные черви в аду! — зывала усталая, измученная Фуфала.

Пастухи пригнали с поля стадо. Женщины поднялись, стали собираться домой.

Встала и Фуфала... Встала, поглядела пристально в лицо Ницуце и вдруг бросилась ей на шею. Многие из женщин задержались у пшата — из любопытства.

— Ницуца, пожалеешь меня, незащитную сироту, когда я умру?

Ницуца смутилась. «Ну что ты, что ты?» — твердила смущенно и ласково.

— Пожалеешь? Затуманятся твои красивые глаза? Оплачешь меня горячими слезами, от чистого сердца? Щеки себе расцарапаешь?

— Ах, господи, что ты говоришь?.. Пусть раньше твоя рука меня землей засыплет! — говорила потрясенная Ницуца.

Женщины заволновались, зашептались.

— Обещай мне, дай слово, что распустишь волосы, оденешься в черное, головой будешь в гроб мой колотиться! — и Фуфала тихо завывала, запричитала, охваченная тоской, заплакала навзрыд...

Ницуца вторила ей, женщины смахивали слезы. А незамужние девки не упустили случая уязвить, ужалить:

— Ого, посмотрите на эту молоденькую лань!

— Подружка моя, душа родная, тебе меня для могилы обряжать, тебе меня землей засыпать... Будь вопленицей на моих похоронах, оплачь меня складными стихами, слова придумай, кипучими слезами обожженные! — молила в порыве отчаяния всеми отверженная



и заброшенная Фуфала, одинокая, как бесплодное дерево, побитое ненастьем и иссушенное зноем...

— Душу выверни, чтобы плачь твой услышали на небесах — знаешь ведь, бездомная я, одна как перст, некому меня пожалеть... — дрожка как в лихорадке, твердила Фуфала, и уже ворот ее был мокрым от слез, что катились по землистым, увядшим щекам.

— Потоки слез над тобой запеним, а хочешь, так целые водопады! — прыснули со смеху Синеглазка и рововощекая, румяная Подушечка.

А Фуфала, обессиленная, свесив голову на грудь, сидела в полубеспамятстве на коряге, и крестьянки брызгали на нее водой из кувшина.

Наконец кое-как Фуфала пришла в себя, успокоилась. Нинуца не отходила от нее, хотела было забрать странницу к себе домой, да испугалась грубияна мужа — как бы не выставил ее вместе с гостьей на улицу: не такой, дескать, я богач, чтобы дармоедов кормить!

Наконец все тот же огородный воришка подал знак расходиться, громко крикнув: «Всякая птичка знай свое гнездышко!»

В последний раз приголубила Нинуца Фуфалу и, рассыпавшись в извинениях, поспешила домой.

Не нашлось для гостьи радушных хозяев...

Сумерки сгустились... Фуфала раскрыла зонтик и поплелась, спотыкаясь, по дороге. Куда? Она и сама не знала...

Увидев раскрытый зонтик в вечерней полутьме, Лютоярка крикнула ей вдогонку ядовито:

— Осторожней, как бы солнце не опалило!

— Смотрите — светлячок за своим же огоньком тянется! — насмеялась Синеглазка.

— Мотылек пестрокрылый, ты потише лети! — злорадовалась Подушечка.

— Хотите, открою вам тайну? — и злобная Лютоярка приложила со значительным видом палец к губам.

— Открой, милая, хорошая. Говори, не томи! — окружили ее те, что еще оставались под пшпшпшом.

Но Лютоярку не так-то просто было уговорить поделиться своими секретами.

— А знаете ли вы... — вскрикивала она и вдруг умолкала.

— Скорей расскажи, а то уж поздно, не иначе как отведаем дома хворостины!

Наконец Лютоярка смилостивилась и раскрыла соседкам страшную тайну:

— Не было никакого Шиолы! Так же не было, как я никогда не сидела царницей на престоле!

— Что? Как это так? Господи, да неужели? — переспрашивали сплетницу ошеломленные крестьянки. — Святой Георгий, спаси и помилуй!

— А вот так! Фуфала все как есть выдумала, высосала из пальца. Никогда не ходил по белу свету Шиола, и никто его не видал!.. Так же, как и лекарств Фуфалы! Вы думаете, в этом пестром узле у нее в самом деле травы да снадобья? Нет, родные, нет, милые! — сычала, распалившись, Лютоярка. — Нет, дорогие, там у нее белила, румяна, масла всякие, сурьма и еще разные чудные притирания — она каждый день лицо себе размалевывает, чтобы сберечь хоть следы красоты!.. Вы думаете, когда она запирается на замок, так и вправду лекарства готовит? Ничего подобного! Сначала выпится всласть, потом вытащит маленькое зеркальце, поставит перед собой и прихорашивается.

— Смотрите на эту лгунью, на эту хитрюгу, как она нам глаза отводит! Нет, вы только подумайте! — ахали и охали женщины.

Синеглазка и Подушечка ликовали. А всех больше веселился, скакал от радости мальчишка — огородный воришка...

Фуфала скрылась за поворотом в проулке между садами — исчезла вместе со своим узлом, зонтиком и двенадцатиклиной юбкой... Голодная, униженная, осмеянная, измученная, шла она куда глаза глядят и не ведала, что все ее заветные тайны разглашены, что на завтра уже готовится для нее новая Голгофа, новая крестная мука...



## ИЗВОЗЧИК ИАГОР

В этот дождливый день почему-то вспомнился мне старик Иагор, извозчик, уроженец нашей деревни.

Смолоду ушел Иагор на заработки и стал извозчиком в Тбилиси. Сорок с лишним лет провел он в городе и ни разу за все это время не заглянул в родное село.

Кряжистый, крепкий здоровьем Иагор по горло увяз в трудах и в суете городской жизни. Со временем он купил на одной из окраин Тбилиси маленькую лачугу, заделался настоящим горожанином и совсем забыл о деревне. Но в конце концов, под старость, «земля позвала его». Детей у него не было, жена, Танана, умерла, потом пали обе лошади, прохудилась крыша лачуги — комнату стало заливать дождем. Тут началась мировая война, Иагор совсем обеднел, начал хворать — и решил вернуться в родные места. Было это на второй год мировой войны.

Ясно помню день его возвращения из города. Это была самая большая новость в нашей деревне, целое событие. В те дни все село собиралось на престольный праздник к церкви святого Георгия Победоносца, прославленной нашей святыне. Ближился конец апреля,

густая, по колено, трава покрывала склоны гор; радовало взгляд буйство свежей весенней зелени...

Соседи встретили Иагора с почетом и пригласили с собой на богомолье, которого он не видел уже сорок лет.

Старик радовался, смеялся, был неузнаваем; он весь точно обновился, точно сбросил с плеч тяжелую шубу старости, воскрес, как Феникс. В восторге зашагал он прямо через море шелковистой травы.

— Ух, милые мои, чудо-то какое!.. — повторял он, то и дело спотыкаясь: подламывались колени...

Когда на лужке у часовни сельчане сели за общую праздничную трапезу и Иагору подали дымящуюся, полную до краев миску, он неожиданно воскликнул:

— Всю жизнь мечтал: «Господи, дай мне наестся досыта невешанного мяса!» Ух, благослови бог материнское молоко, что вас вспоило-вскормило!

Тамадой был старый рабочий-железнодорожник; каждый свой тост он начинал обращением к «сознательным и подготовленным товарищам». А Иагор поминутно прерывал потоки его красноречия, восклицая:

— Невешанное мясо. На весах не бывало! Ух, милые мои!

Сорок лет глядел каждодневно Иагор в городе на качающуюся стрелку весов... И в это скудное военное время, когда краюха черного хлеба стала редкостным лакомством, неудивительно, что щедрый, невешанный-немереный да еще и даровой кусок представлялся ему пределом всех желаний! Тут-то уж было вволю и хлеба, и мяса, и вина...

Окровавленная голова и шкура жертвенного быка валялись рядом, среди травы, на окрашенной в багряный цвет земле. Шашлыки на длинных вертелах шипели над огнем, капли жира падали на горячие угли.

Простодушные сельчане дивились восторгам Иагора; разговоры городского человека о еде вызывали у них чувство неловкости, — особенно у стеснительных, стыдливых деревенских женщин. А мужчины, потчуж гостя мясом, сверх того подпайвали его, подносили чашу за чашей.

— Вкушай, наслаждайся — это же наша деревенская радость и сладость!

Иагор подвыпил, захмелел, расхвастался — держал себя так, словно весь свет объездил! С кем только он

не знался в Тбилиси, кого только не возил в своем фэатоне — чиновников, князей, генералов, купцов-богачей — словом, всяких важных людей...

— О Гулбаате Чавчавадзе слышал? Голицын и Шереметев знаешь кто такие? Мелик-Агу видал?

Как и подобает бывалому человеку, знаменитости, он все знал, всего насмотрелся — разве что в «чашу вселенной» не заглядывал, не видел ее дна, не познал ее тайны... Впрочем, здесь, на сельском празднике, этот «возвратившийся к родной матери-земле блудный сын» охотнее заглядывал в чашки с бозбашем и арталой.

— Ух, милые мои! — не умолкая веселился, тешился Иагор, а крестьяне вели неторопливую беседу, радуясь задушевному взаимному общению.

Хмель тяжелил головы, развязывал языки. Вино скоро одолело Иагора, и он защебетал на городской лад:

— Эх, что такое человек? Всего четыре пуда! А язык — шесть золотников! Побережем его, чтобы не протух!

— Я по утрам, прежде чем выйти из дому, язык в мед окунаю — чтобы сладость с него стекала!..

— Эй, язык, работай, мед точи! Меж людей быть, с людьми толковать — языком подслащивать! Пусть будет счастлив тот, кто сладкими речами нас ублажает!..

— Эх, порченые мы, плоть балуем, а о душе не помним! Коли ты человек, живи со своим маленьким языком!..

— Да, были времена! Сестра сестрой была, и за сестру ее почитали! И мать родная матерью называлась... Ушли, лоб им святым елеем помазали... Праху их поклонюсь, костям их слава!

Иагор так и остался в деревне. Восторги первых дней скоро у него поутихли, сельские будни представали перед ним без прикрас. Трудная крестьянская жизнь в зной и слякоть показалась ему непереносимой, он начал тосковать по городу. Вечерами он выходил на пригорок и глядел в сторону Тбилиси, всматривался в даль в надежде увидеть в сумеречной мгле мельканье городских огней.

— Вон на Мтацминде свет вспыхнул... Слышу, слышу звон сионских колоколов, — говорил он с мечтательной улыбкой, точно беседуя с далеким и сладостным видением.

Он непрестанно думал о городе — там у него оста-

лись приятели, клиенты, он вспоминал верийские, ортачальские увеселительные дома и сады и с горечью колотил себя кулаком в грудь. Однако вернуться в город он уже не мог — не стало здоровья и сил, да и деньги неоткуда было взять. В деревне он тоже не прижился, не свыкся с крестьянской жизнью. Так и болтался бедняга, не пристав ни к одному берегу, — беспомощный, одинокий, никому не нужный...

— Эх, извожусь я здесь, стосковался по Тбилиси — по свету, по чистоте... Честь и слава тому, кто мостовую выдумал, — вот это был человек! Нет, не могу больше выносить здешнюю грязь, здешнюю тьму! Не могу я вместе с курами спать ложиться! Один я... Надоело... Что мне дома делать? Уж лучше в тюрьме быть — там хоть с людьми словом перекинешься!

— Как поживаешь, Иагор?

— Хирею, сохну, как наша старая ива! — шутил на городской лад печальный Иагор — и в самом деле так и принял конец от этой ивы... Как-то вечером выпил для храбрости полбутылки крепкого самогону — чачи и повесился перед домом, на той самой старой, кривой иве, которую так любил за ее густую зелень...



## ХВЕДИА

Строптив, своенравен и неуживчив был Хведиа. Все хорошо помнили его у нас в деревне: неприветливый, желчный, сварливый, злоязычный, ядовитый человек.

И внешность у него была подходящая: угрюмый, пасмурный, пропыленно-прокопченный, весь какой-то уныло-серый...

Родной брат не раз, выйдя из терпения, говаривал ему:

— Что ты за человек? Каменный ты, чугунный или деревянный, песочная твоя душа?

— Эй, распухнет язык — весь измолотила! — свирепо гаркнет он, бывало, на жену, если бедная женщина позволит себе сказать два слова лишних.

— Что за злыдень — что ни скажет, в самое сердце уязвит, точно петлю на горле затянет! В печенку мне въелось его брюзжанье! Бывает, головешка из огня вывалится тебе на подол — коли сразу не отбросишь, обожжет. Так вот и каждое слово моего муженька! — жаловалась соседкам Нинорэ.

Никого не любил Хведиа — и не только людей, но даже птиц! Да, да, всех этих птах и пичуг, чивилей-воробышков он просто терпеть не мог. И всегда у него были наготове для них злобные слова.

Выйдет, бывало, поутру в виноградник, птичьего щибета, разбушуется, разъярится:

— Что расшумелись, проклятые! Места другого не нашли? — И в бешенстве вырвет из земли кол, подпору виноградного куста, метнет его в дерево, облюбованное птицами, прогонит пернатую братию прочь — и вокруг в мгновение ока воцарится мертвая тишина, как в пустыне.

Но еще больше, чем птиц, ненавидел он детей. Однажды, в ту пору, когда я еще был грудным младенцем, у матери моей ненадолго пропало молоко. Несколько дней моей кормилицей была жена Хведии Нинорэ — тайком от мужа, которого боялась как грозы.

В дни, когда Хведиа был дома, я оставался голодным. Как-то в студенький зимний вечер меня, тепло укутанного шалью, доставили к Нинорэ. Принесла же нелегкая Хведию как раз в это время домой! Он сразу взвился, раскричался, накинулся на женщину, которая держала меня на руках:

— Кто это выдумал таскать сосунка на ночь глядя по деревне? Что ему тут нужно в такой поздний час?

Точно я незванным гостем бражничать к нему явился! Так и отправил меня домой некормленным злобный Хведиа.

Был у него младший брат Читала — молодой парень, жених, голосистый певец. Хведиа запрещал ему песни петь и на чонгури играть.

— Что ты вцепился в свой чонгури — жениться потянуло? Рано тебе о любви помышлять, сначала хозяйством обзаведись, в люди выйди. А от чонгури проку не будет. Да и не девушка ты, чтобы струнами тренькать да песенки распевать!

Хведиа был почной птицей. Бывало, когда ночь падет на землю, он выберется из дому, обходит свои владения — двор, гумно, огород, виноградник...

Здесь он чувствовал себя властелином, самодержцем.

— Мое! — прорычит и топнет ногой, и устанется в землю, гудит, мычит над нею: — Это — мое! Собственное! Я здесь хозяин!

И, кажется, грудью готов закрыть, отстоять от всего мира эту свою землю...

Иногда он устраивал засаду и подолгу сидел в укрытии, подстерегая неведомого, незримого врага или вора. Вечно ему мерещилось, что кто-то прячется тут же в

кустах, за изгородью, чтобы, улучив минуту, завладеть его собственностью.

Да, ревнивым собственником был Хведиа — настолько, что мог даже затеять ссору с прохожим человеком, нечаянно ступившим на его землю. И не было тогда конца-краю его крику и ругани.

— На целую пядь между ко мне передвинул, христопродавец! — набрасывался он вдруг на ни в чем не повинного соседа, и вздымались, и свистели в воздухе дубины, жерди, колья, косы, топоры... Не было деревне от него покоя — вечные склоки и свары.

— Когда ты утихомиришься наконец, жалкое ты создание, горсть черной земли, щепотка праха! — прорывало иной раз безобидную, богобоязненную Нинорэ.

Когда-то это была румяная, крепкая, стройная женщина, веселая и жизнерадостная, а после многотрудных лет замужества за Хведией высохла, ссутулилась, притихла, глядела всегда испуганно. Вечно она была в страхе, вечно ждала какой-нибудь новой выходки своего крутого, норовистого мужа.

Жадный Хведиа на все зарился, все греб к себе — даже смерть заполучил первым, никому не захотел уступить... Удивительное дело — Нинорэ оплакивала мужа, а в душе испытывала облегчение. Да что скрывать — и жена, и соседи, и вся деревня свободно вздохнули — наконец-то узнали покой!

Нинорэ причитала над гробом:

— Ну, вот тебе и твоя земля — три аршина! Только о ней и думал, и мечтал — и зачем она тебе была нужна, несчастный, стоило ли изводиться из-за сырой земли?

А Хведиа лежал в гробу, со скрещенными на груди руками, словно бы довольный тем, что вот скоро земля засыплет ему грудь, и он будет лежать весь в земле, и вся она будет его собственная... Он как бы достиг своего счастья и готов был обеими руками вцепиться в те три аршина земли, которые поступали теперь в его единоличное владение. Но на пепельно-сером лице его застыло выражение тревоги: а вдруг какой-то неведомый, незримый соперник попытается оттягать его достояние? Видно, неугомный его дух еще не узнал покоя...

А птицы пели, щебетали... Небо было голубое... Лазурное...



## МЕЛЬНИК РАЖДЕН

Если вам приходилось ездить по Кахетинской дороге, вы, наверное, знаете балку Лочинис-Хеви, что сбегает с гор недалеко от Тбилиси.

Застенчиво журчит под новеньким мостом неширокая речка, катит ласковые струи по песчаному дну. Летом, знойной порой, ее, пожалуй, и не сразу заметишь — точно раненый голубь, чуть слышно шелестящий подбитым крылом, прокладывает крошечный ручеек себе дорогу.

Помнит и эта речушка мое детство!

С веселым клокотом, искрясь и сверкая, неслась она через обширную усадьбу моей тетки, повыше в горах, в деревушке Клдис-Цхаро — Скалистый Ключ. Да, я и этот маленький горный поток — старые знакомцы. Спросите его — он расскажет, как мальчиком приезжал я в гости к своей тетке, как заботлив был дядя Николоз, ее муж, какие у меня были славные товарищи в этой деревне — Сабеда, Аглия, Арсен, Зазила, Кетэ, Маиса, Читипеха — Птичья Лапка, Натрия, Шошия — Скворец, Зекура, Лекеура и сколько еще других...

Брат дяди Николоза, Гарсеван, — он ведь тоже при-

ходился мне родней — был владельцем маленькой водяной мельницы, что шумела в виноградниках на окраине деревни. Вертелось болтливое мельничное колесо, дробилась о его лопасти, рассыпалась несчетными алмазными брызгами мощная водяная струя. Я присаживался около мельницы, в прохладной тени огромного ореха, чтобы полюбоваться искрометным струением водопада, — и мне казалось, что тысяча радуг обвивается вокруг мельничного колеса...

Однажды я нашел мельницу на замке. Оказалось, что источенный старостью мельник Чалхия скоропостижно скончался — заснул навеки, прилегши среди мешков с зерном и мучных кулей.

Чалхия был глубокий старик, дети причиняли ему беспокойство, и он не подпускал нас к себе.

Гарсевану было от души жаль служившего ему верой и правдой мельника, и он выделил из своих запасов хлеба и вина для его поминок. Добрый был человек Гарсеван, хотя и крутой, своенравный. Меня он очень любил и часто просил почитать вслух газету: нравилось ему, что такой малыш разбирается в печатном слове.

Незадолго до того, как отправить меня в Клдис-Цхаро, мама продала моего любимого быка Гнолу<sup>1</sup>.

Работник жаловался, что Гнола не идет под ярмо, упирается, что запрягать его — сплошное мученье. А я нежно любил этого быка. Очень был хорош наш Гнола: масти серо-сизой, цвета голубинового крыла, глаза большие, красивые, с поволокой. И как он был привязан ко мне: позволял висеть у него на шее, ел траву из моих рук. Ни на какого другого быка не променял бы я Гнолу — но что было делать? Пришел покупатель, накинул Гноле на шею крепкую бечеву из щетинны и повел его со двора... И вдруг, у самых ворот, бык повернул голову и кинул на меня взгляд, от которого я застыл на месте. До сих пор помню я затуманенные глаза Гнолы — грустные, полные укоризны...

В Клдис-Цхаро я приехал опечаленный: растрожила меня разлука с моим любимцем. Через несколько дней я снова спустился к мельнице и нашел на этот раз дверь открытой. По-прежнему крутилось деревянное колесо. Вместо Чалхия вышел навстречу мне новый, незнакомый мельник, видимо только что поселив-

<sup>1</sup> Гноли — горлинка.

пийся здесь. Я смутился и повернул было назад, но мельник заметил меня, окликнул дружелюбно... и мы познакомились...

Кротким и ласковым показался мне новый мельник Ражден — под стать самой этой мельнице и речке, крутившей ее колесо. Сразу же раскрылся он весь передо мной. И я поделился с ним своими горестями. Рассказал о сером быке... Мельник сочувственно выслушал меня, и я заметил слезы у него на глазах. Это меня поразило. Прошло время, мы подружились.

Раждена называли в насмешку звездочетом, мудрецом не от мира сего — и в самом деле, я видел не раз, как он с увлечением вглядывался в усеянное звездами ночное небо...

— Погляди на ту яркую, веселую звездочку! Вишь, как она рассыпает лучи охапками... Люблю ее, живит она меня! — и Ражден указывал рукой на сияющую в венчике лучей звезду. — А вон другая, поодаль — тусклая, гаснущая — совсем как я! — душа в ней еле теплится... Эту я не люблю, нет! — говорил он с улыбкой.

Расположившись на зеленой мураве около мельницы, этот сельский Фламарион, точно замороженный переливчатым мерцанием звезд, подолгу созерцал сверкающий небосвод.

— Кто знает, может, и там есть род человеческий, шумят города, прозябают села... Может, и там не знает удержку обезумевшее богатство, а бедняги лижут камни от голода... А может, там нет смерти, люди живут вечно... — добавлял он после долгого молчания. — Иногда мне хочется послать в вышину крылатое желанье... Птицей взлететь и достигнуть неба, попенять, пожаловаться матери солнца...

— На кого?

— На жизнь, на злых людей, на судьбу... Эх, не сумел я отыскать свою звезду!

А жаловаться бедняге и в самом деле было на что... Жестоко обошлась судьба с кротким Ражденом! Сначала он потерял жену; потом — то ли в годы войны, то ли бродяжничая по белу свету, когда и присмотреть за ним было некому, — схватил чахотку. Прослышал он, что есть где-то в горах чудодейственное место, Абастуман, целительный воздух которого может победить его

недуг. Но поездка в Абастуман так и осталась для него недостижимой мечтой...

Попробовал было Ражден сам взяться за свое лечение — стал усиленно питаться, налег на яйца и молоко. Но сельчане подняли его на смех — ему приходилось глотать яйца тайком, прячась в укромных уголках виноградника или запершись в своей хижине. Но разве уберешься от глаз шутников? И вскоре Ражден, обремененный насмешками, отказался от яиц и молока и даже с тех пор вовсе уже не брал их в рот.

— Все равно от них никакого проку!

...А замшелое мельничное колесо все кружилось, кружилось — как сама жизнь; жемчужная струя, ударяясь об него, разбивалась на тысячи осколков... Вечерами небосвод сверкал алмазной пылью Млечного Пути, девственно ясным светом сияли звезды... В молочной ночной мгле дремали раскидистые орехи и статные осины, и под темной сенью их сумрак казался еще гуще.

Месяц, месяц, серп небесный,  
Встань над горною громадой,  
Сердце грустное обрадуй...—

напевал про себя Ражден. А мы, ребяташки, слушали его затаив дыхание.

К нам спустись скорее, солнце,  
Что ты прячешься за горкой?

Рассказам мельника не было конца. Грамоте он не был учен, но часто просил меня почитать и слушал с довольной улыбкой. Не все книги ему нравились.

— Нет, не то здесь написано, чего моя душа просит! — говорил он иной раз.

Немало видел на своем веку Ражден.

— В каких только не побывал я переделках — разве что между мельничными жерновами не пришлось протиснуться!

И в самом деле, многое испытал во время своих скитаний Ражден. Чего стоила одна японская война! Дважды он был ранен: под Ляояном и в Порт-Артуре.

— Какой это ужас война, — и не спрашивайте! Что народу перебили, сколько я видел рук и ног отрубленных... Черепов было рассыпано по полю несчетное число — как песку морского! Нет, ни один суд не мог бы оправдать нашего царя, — тут он понижал голос и

оглядывался с опаской. — Что они творят, эти царя! Поглядеть на дела их рук — экое зверство... Нет, зверь и тот отшатнется! Иного солдата так и расплющило, распластало на земле! Слов не хватит, чтобы рассказать...

Вернувшись с войны, Ражден нашел дома полное разорение. Мать его умерла, отца и до войны уже не было в живых, единственная сестра вышла замуж и переселилась в другую деревню. Остался только пустой брошенный дом. Во дворе, заросшем травой, чья-то коза, взгромоздясь передними копытами на изгородь, обгладывала ветви фруктового дерева. Соседи вручили Раждену срезанную на память и бережно сохраненную прядь седых волос покойной его матери...

Отвоевавшемуся солдату надо было подумать, как жить дальше. На другой день, посоветовавшись с соседями, он решил застучить место покойного мельника Чалххи.

...Подолгу прислушивался Ражден к музыке камышей и шелесту осиновой листвы.

— Ни одному дереву не сравниться в шелесте с осинной! — говорил он убежденно.

Рассказы Раждена о природе были неисчерпаемы. Помню, как любил он расцвеченные солнечными лучами уступы горы Иално, что высится около Марткоби, зеленые склоны Цив-Гомборского хребта...

Радовали его прозрачная лазурь небес, усеянные цветами луга, колосющаяся нива... Виноградная лоза, увешанная золотыми гроздьями... Корзина, полная розовощеких персиков...

Он знал название любого полевого цветка, любой травы, любой птицы; и все ему были милы.

— Вот кровянка, цикорий, слепокур, спорыш, пастушья сумка, икотная трава, водяной омег!.. Вот козлец-мохнатка, облениха, вороний хвост, солодковый корень, повилка, гусиная трава, бородавник, можжевельник, хмель... Знать бы — какая из них дарует бессмертие!..

— Эта вот зовется овсяницей... А это — полынь. Эта же — полуночник...

— Вон на заборе зимородок... А вон маленькая птичка сорокопут, вон пеночка, а вон — завирушка! Жальче ее нет пичужки на свете. Смотри не разори ее гнезда!

Камеяного скворца, пожирателя саранчи, он ува-

жал — за пользу, приносимую человеку. Быка Цаблию называл братом хлебопашца. Любил смотреть, как муравьи волокут свою ношу:

— Короток век у муравья, а запасается, хлопотун, словно на сотню лет.

Он умел удивительно простодушно взглянуть на человека — смеющимися глазами.

Дымчатую, только что срезанную кисть винограда он целовал в умилении; вид краснощекого яблочка веселил ему душу; спелое зерно, изобилие урожая вызывали в нем благоговейное чувство; хлеб — свят, урожай — награда за труд; недаром он так и зовется у нас, грузин: «чирнахули» — в тяготах добытый.

Потянет, бывало, прохладный ветерок — у него на лице улыбка.

— Вей, вей, ветерок, не знай устали! Имей жалость к человеку! Мы здесь прохлаждаемся в тени, а сколько других трудится на самом солнцепеке. Гуляет серп, громоздятся снопы — и каждый полит жарким потом. Никогда об этом не забывай!

Израненное дерево вызывало в нем жалость.

— Навостри уши, прислушайся — все на свете имеет душу! Отчего же иначе земля плачет? Разве ты никогда не видал ранним утром слез земли? Роса на траве — это и есть ее слезы. Что они значат? Грехи наши оплакивает матушка-земля? Или радуется солнечному восходу? А знаешь ты, что деревья и камни могут печалиться и горевать? Земля умеет и радоваться: весной, когда сады покрываются белым цветом, — это она смеется от радости. А небо смеется, когда сияет звездами!

Улегшись навзничь, вглядывался он в небо, в Млечный Путь, и, восхищенный зрелищем, говорил:

— Не будь в небесах этого Млечного Пути, жизнь наша не стоила бы ломаного гроша!

Ражден не мечтал напасть на золотую жилу, как многие. Расшитая золоченым бисером лужайка, зеленая мурава, осыпанный сияющими плодами сад были его золотыми россыпями; с ними он водил каждодневно долгие беседы, щедростью и девственной чистотой их восхищался.

Кипение речной стремнины притягивало его; он не выносил мелководья.

Так он жил, не зная иных покровителей, кроме при-

роды, дивясь богатству солнечного царства цветов и скудости человеческой. «Откуда берутся под этим сверкающим солнцем грязь и нищета, когда душа моя утонает в цветах?»

Особенную нежность вызывала в нем «христова трава», что росла на склонах ущелья. Из любви к Христу почитал он это растение с длинными, плоскими листьями, на которых, согласно старинному поверью, записан «плач по Христу». Говорили, что Ражден может читать этот плач, как по книге.

Скоро дела у Раждена пошли так плохо, что впору было оплакивать его самого. По неосторожности попал он в беду: работая около мельничного колеса, угодил рукой между лопастей, и колесо затащило руку... Долго болел бедняга — деревенские женщины выходили его, спасли от смерти целебными травами и старинными мазями, но руки Раждена лишился, рука у него отсохла.

Через некоторое время, оправившись от первого приступа горя, мельник послал к Гарсевану человека с робкой просьбой: облегчить хоть немного его утрату, не дать ему по миру пойти!

Гарсеван прервал посла на полуслове: «При чем тут я, ежели Ражден на небо загляделся, звезды считаючи, и рукой в колесо угодил? С меня-то какой спрос? А вот-вторых, я и сам собирался ему помощь оказать. Чего же он суется раньше времени — или думает, что у меня камень вместо сердца?»

Тогда, по совету сторонних людей, Ражден подал на Гарсевана жалобу. Тут уж Гарсеван совсем оскорбился — как смеет мельник таскать его по судам?

Гарсеван славился на все ущелье своим достатком: дом у него был полная чаша, рог, налитый до краев. Ореол изобилия окружал его. Гарсеван не в сорочке родился и не у Христа за пазухой вырос — просто был смолоду человеком деловитым, прилежным и нажил немало добра. Но теперь он не стремился больше приобретать, не заботился о стяжании. Детей Гарсеван не имел, и все имущество его должно было перейти к непрямым наследникам. И Гарсеван жил привольно, тратил не считая — большая часть его добра уходила на широкое гостеприимство.

«Умными людьми мир держится» — такая была поговорка у Гарсевана; но к этому он добавлял самодовольно: «Умное слово в ухе у дурака спит!»

— Простофили! — говорил он, горячась. — Что, всемогущества захотели? Пусть трудятся, пусть сами зарабатывают. Почему это я обязан всех кормить? Нашли с кого драсть!

С обеих сторон возникла обида. Деревня разделилась на два лагеря — одни были на стороне хозяина, другие стояли за мельника. Пошла беготня по судам, поиски свидетелей...

Два года тянулось дело — и наконец Ражден проиграл его! В тот день с утра трижды раскаляли тонэ в доме Гарсевана, на заднем дворе закололи овцу и унитанную телку, перебили несметное количество кур, распечатали сорокаведерный кувшин... Два дня пировали — ели, пили, веселились вволю, бушевали. И лишь на третий день разъехались гости, ускакали, нахлестывая коней, в разные стороны. Целую неделю пришлось убирать дом, чтобы привести его в порядок.

Ражден больше не был мельником у Гарсевана, но частенько заглядывал на мельницу. Приходил, присаживался на травке и любовался издали мельницей, на которой хозяйничал теперь другой.

Однажды я и Гарсеван сидели под яблоней. Я читал ему свежую газету, — он потерял очки и не мог прочесть сам.

Вдруг на тропинке, в глубине виноградника показался Ражден — пришибленный, угнетенный — и торопливо прошел мимо. Гарсеван заметил беднягу, преисполненный жалости — и с благодушием победителя сказал мне:

— Позови его сюда — хочу сказать ему доброе слово. Говорю я — добросердечный человек был Гарсеван! Я обрадовался, догнал Раждена, окликнул его...

Ражден замедлил шаг, обернулся и взглянул на меня... Как когда-то серый бык Гнола... Таким же полным укоризны взглядом, от которого у меня замерло сердце.

Больше я его никогда не видел.

Но стоит мне проехать мимо речки Лочинис-Хеви, как тотчас же встает перед моими глазами бедняга Ражден. Точно из журчащих волн маленького потока зовет меня печальный его голос. Это ведь мое детство искрится передо мной в быстрых речных струях!

Нет, никогда не перестанет тревожить меня укоризненный взгляд Раждена — так же, как до сих пор не дают мне покоя затуманенные глаза быка Гнолы.



## ФЕОДАЛ

— Эх, миновало мое время, мужской мой век, — не стать уж мне больше отцом! Ни сына, ни наследника — остался я один как перст во всей поднебесной! Не дал бог продолжателя великому, знатному дому! Горе, горе — со мной прекратился наш древний род. Засохнет, повалится тысячелетнее дерево! Но что ж тут поделывать? И то я немало выдержал ударов судьбы, боролся с горем, невзгодами, болезнями — как не возблагодарить господу? — говорил сгорбленный, изогнутый, как серп, старый князь Кадор.

Дело было в первые дни революции.

Кадор крестился, щуря затуманенные, затянутые белесой пленкой глаза: «Слава тебе, вечный и всемогущий боже! Неисповедимы твои пути! И кто может противиться твоей воле?»

— Не знаю, о чем больше сокрушаться, молодой человек! О том, что род мой вымер? О старости и немощах своих? Или об утрате дедовского достоинства, — жаловался в дверях канцелярии ревкома последний представитель иссякшего рода, завершитель угасающей династии — князь Кадор...

Он явился к комиссару с просьбой — в последний

раз! Пусть вернут ему родовое владение — горное пастбище, чтобы было князю на что жить, чем прокормиться... Лошадь свою Кадор привязал тут же, к забору. Воронье кружило над дряхлым — под стать хозяину — княжеским конем; чуяло скорую добычу...

И лошадь и ее господин были оба голодны. Никого не оставалось дома у Кадора: казачок «Черныш» Горисцвелашвили сбежал. Лишь пустая, холодная комната ожидала старика. И весь тот день не отходил от меня, не хотел расстаться со мной бывший князь. Он был испуган и подавлен, — в ревкоме ему решительно отказали и даже рассердились, не велели больше приходить с такими нелепыми просьбами.

Был обеденный час, и я пригласил старика с собой в духан. Мы сели за стол — нам подали незатейливый духанный обед. При виде еды и вина Кадор немного приободрился. Однако он по-прежнему был не в своей тарелке.

— Что я теперь? Ничего у меня не осталось — только эта плетка. Вместо всех моих гор, полей и лесов! Да, несладко жизнь обернулась — и все уже позади! Что тут поделаешь? Жилось, заломилось... Чему быть, того не миновать. — Он запнулся, продолжал нерешительно: — А может, еще устроится мир, войдет в колею? Да нет — так все нынче перевернулось да перепуталось, что не скоро утрясется... А до той поры я с голодухи ноги протяну! — так плакался Кадор. — Мне все кажется, будто я уже умер, будто меня вовсе как человека упразднили! — И вдруг спросил: — А все же никак в толк не возьму — почему мне не отдают моего пастбища?

— Революция произошла! — отвечал я простодушно.

— Ну, а при чем тут моя гора, моя трава? — так и не мог уразуметь старый барин. — А какая там трава, если бы только ты знал!..

— Дед моего деда Шермазан, царский домоблюститель, над всей Кахетией властвовал — а мне уж и одной горой владеть нельзя? Травой, что на ней растет?

— У деда моего Джанзураба были и конюх, и оружничий, и собственный виночерпий — а мне ведь всего-то и нужно что немножко дикой травы — истода!

— У отца моего Амилгабара каждый день за обедом целого быка съедали, а я только и прошу у вас что одно маленькое горное пастбище!

— Небось в былые времена, когда гремел в кровавых сражениях родовой наш клич «Бей! Рази!», нас молодцами величали! На мулах, говорят, привозили наши предки с войны отрубленные басурманские головы!

— А я чем вам не угодил? Никого, кажется, в жизни не обидел, каждому был друг и брат, добрый сосед, кум и доброжелатель... Ну и времена настали! Совесть похорошили, учтивость ни во что не ставят, уважения — ни к кому... Что ж, значит, погибла наша Грузия? Не так ли? Скажи мне, юноша, разве не так? — твердил, не сводя с меня взгляда, Кадор, ожидавший моего подтверждения.

— Говорю тебе открыто, от чистого сердца: я не рошцу, я покоряюсь судьбе, не говорю: око за око! — с приниженной улыбкой говорил бывший князь. — Да и что хорошего могут подсказать человеку гнев и возмущение? Но душа у меня болит! Я ведь тоже — живой человек, надо же и мне как-то существовать!..

Все было так радостно вокруг — сверкающие капли на ветках после дождя, радуга, сияющая в небе, груши и миндаль в цвету, душистая цветочная пыль, подхватенная крылатым ветерком... И тоскливые жалобы Кадора не вязались со всем этим светлым, весенним...

А Кадор бубнил свое:

— Четырех вещей не хватает в этом мире — лестницы к небесам, моста через море-океан, жеребят у лоначихи и справедливости среди людей. Забрали мое имя! Разве справедливо? Как вспомню свою ореховую рошцу — что за тень густая, луч сквозь листву не пробьется! А Коридетский лес! Немало я затравил в нем оленей. А мои поля — сколько раз уводила меня за много верст джейранья скачка! Жалею того, кому нечего вспомнить, сидя вечером у огня... А впрочем, у меня вот и камин отняли — что за нехристи! Объясни, растолкуй мне, молодой человек, кого я обидел? Кому что сделал дурное? Честью клянусь, — что ни день, стараюсь вспомнить, какие на мне грехи, чтобы покаяться, и ничего не приходит в голову! За что же такая жестокая расплата? За кого я в ответе? Две тысячи лет моему роду. Сколько их было за все это время, князей и княгинь из моего дома? Жили не тужили, пировали, время проводили, владели землями, крепостными по-

велевали... Словом, взяли от мира все, что могли, настрадались жизнью свыше меры — а теперь, значит, судьба решила обломать за все это палку об мою спину? Зачем же я один должен искупать грехи всех моих предков? Разве не жаль меня? Это ли справедливость?

— А у меня самого какие же прегрешения? Нашли грабителя и кровопийцу! Один-единственный грех тяготит мою душу, не дает мне покоя. Иди сюда, сядь поближе, «сладко расскажу о горьком»...

Однажды, великим постом, заболел я тяжело. Смерть подступила, душа с телом расставалась. Удивительное дело — был я уже как бы и не на этом свете, а сознание — полное, ясное.

«Причастие! — чуть слышно, промычал я и услышал рыдания жены... и снова забылся, заснул. И очутился вдруг на том свете. Пропасть адская зияет. Озеро кипящей смолы... Встали передо мной три человека: одеты в короткие грузинские кафтаны, в руках — шнуровые книги. Один из них говорит:

«Вспомни, какие грехи ты совершил!»

Облился я холодным потом, едва сумел пробормотать:

«Никаких, по совести...»

«Хорошенько подумай! Или ты не сын греха?»

«От самой материнской утробы, госпо...»

«Так... Ну хорошо. Выйди вперед!» — сказал кому-то один из них, и вдруг появился передо мной крестьянин из нашей деревни — Сосика, закутанный в белый саван. Этот человек умер три года тому назад. Обрадовался я, увидев соседа.

«Знаешь его?» — спросил меня первый.

«Как не знать!»

А Сосика стоит с опущенной головой, скрестив руки на груди.

«А теперь вспомни, что ты сделал дурного!»

И я в самом деле вспомнил...

Однажды среди зимы принесли мне весть, что кто-то рубит дрова в заповедном моем лесу. Я, недолго думая, отправился туда. Подхожу к опушке лесной и вижу — идет мне навстречу Сосика и тащит на спине вязанку дров. А надо сказать, что беднее этого Сосики не было человека в деревне.

Взъярился я:

«Не стыдно тебе, Сосика? Не ожидал от тебя, не

ожидал! Давай сюда топор!» — гаркнул я на него и отобрал топорешку.

Вот и все...

Есть ли на мне другой какой грех? Не знаю, право, что я еще сделал в жизни дурного! А только небесные люди больше ничего мне не напоминали.

Топор, отнятый у Сосика, я унес с собой и заложил за притолоку в саманнике. Позднее, спустя много времени, когда меняли соломенную крышу саманника, топор завалило мякиной и он затерялся. Тем временем и Сосика умер. Однажды в ненастный осенний день ветер сорвал крышу с сарая, и топор снова нашелся. Я снес его на чердак.

«Отдай топор Сосике и будешь свободен!» — сказали мне в один голос небесные люди.

Когда я проснулся, первое мое слово было:

«Топор!»

Жена заплакала — решила, что я в горячке вздумал ее зарубить.

«Зачем тебе топор?» — подсев, спрашивает меня сосед.

Рассказал я, едва ворочая языком, как все было. А тут как раз и сын Сосики заглянул.

«Что это, крестный, затянулась твоя болезнь?»

Поведал я и ему свой сон, вручил топор... Вот какой грех напомнили мне райские стражи. Может, и за этот грех я сегодня наказан?

Однажды, еще ребенком, помню, нарвал я винограду тайком... Что я еще натворил? Вино пил — из рога, из чаши... Соседей любил — неужели не зачтется? — жаловался Кадор, осторожно снимая пленку с красного вина...

И вдруг воскликнул испуганно, изменившимся голосом:

— Значит, предки мои грешили два тысячелетия, а я один в ответе? Все их грехи на мою голову? Разве это не жестоко?

Он глядел на меня — недоумевающий, испуганный — так, словно его вот-вот собирались бросить в кипящую воду...

И как раз в эту самую минуту духанщик поспешно захлопнул и запер на задвижки окна и дверь. Внезапно молния прорезала небо, грянул гром, потом бухнуло еще раз, грохот раскатился по небу, и наконец, после

долгого гула, рыка и рокота, из черно-синих туч брызнули на землю миллионы алых капелек... А потом хлынул проливной дождь — обильный, как из ведра, он яростно хлестал, сек, бурлил, плескал... Вокруг стемнело, точно в сумерках, даль стала чернильной, небо, казалось, обрушилось на землю потоками воды, шипенье, шорох и клекот дождевых струй, гул и громыханье грома сливались в оглушительный рев грозы.

И вдруг, нарастая и постепенно перекрывая шум ливня, послышался жуткий, леденящий треск — повалил частый град, заскрежетало, загремело по крышам, жестяным и черепичным, сначала сыпалась крупа, потом запрыгали градины, с горошину, с орешек, с голубиное яйцо, а там покатались как бы и настоящие булыжники... Разбушевалась стихия, и мы почувствовали себя жалкими муравьями, так малы показались нам наши силы в сравнении с мощью природы.

Все вихрилось, дробилось, раскалывалось на части вокруг. Ночь, ливень и буря, вступив в союз, наступали на нас и грозили нам уничтожением. Что нам было делать? Но что делать хилому да квелому, как не крепиться?

А Кадор все бормотал над стаканом вина, жаловался на несправедливость судьбы: почему он один должен расплачиваться за грехи своих предков? — и тщетно искал ответа на свой вопрос...

Все рушилось и ломалось вокруг — кому какое было дело до грехов Кадора?



## СМЕРТЬ СТАРОГО ПАХАРЯ

И перед господом предстану  
С горящею свечой в руках...

Важа Пшавела

Ни к кому не питал злобы плугарь Ниния, не знало его сердце вражды. А если случалось кому вольно или невольно обидеть его — говорил:

— Сколько сынов человеческих ходит по земле, и у каждого свой толк, своя повадка. Разве всем в душу заглянешь?

Никогда не мечтал он о богатстве, не жаждал иных сокровищ, кроме золота выращенных им хлебов.

— Будь все богачами, кто вспомнил бы о бедняках?

И, окинув взором налитые нивы, шептал благоговейно:

— Надёжа моя, божья благодать!

Ни разу не захворав, дожил он до восьмидесяти лет. А на восемьдесят первом стал терять силы — но смерти не испугался. Смерть Ниния ни во что не ставил и думал о ней не то чтобы со страхом, а скорее с неохотой — так не хотелось бы ему расстаться с теплой постелью, чтобы выйти из дому темной, ненастной ночью.

— Сказать по правде, нестоящая это выдумка — смерть! — молвил раз с горечью Ниния, почувствовав стеснение в груди.

Но вот наконец явилась смерть — прилетела студеным ветром ущелий, сказала Нинии «здравствуй», села рядом, так что проняло плугаря морозной дрожью... И обхватила его костлявыми руками, чтобы уже не выпускать из своих цепких объятий.

— Постой, погоди, костлявая, повремени — отрасти сначала усы и бороду!

Так, шутками и смехом, встретил сперва Ниния незваную гостью. Потом разок-другой гаркнул на нее: «Убирайся, не пришла еще твоя пора!», — и вина, потребовал в постель, осушил полную чашу, чтобы враг не порадовался его беде и смерть не сочла его легкой добычей!

Соседи, пахари и погонщики, воспитанники Нинии, не раз ходившие с ним под звездами на пахоту, навещали своего плугаря, рассказывали о том о сем, старались развеселить его — Ниния же все слабел, но не сломился, не пал духом.

— С чистым сердцем и спокойной совестью ухожу я из мира... Ни на кого не унесу с собой обиды, ни один человек не помянет меня лихом. Был я хлебопашцем на земле и ничего не нажил, только и возьму в могилу что эту вот рваную рубаху. Немало я избороздил, исчернил полей своим плугом! А теперь... Куда путь держу, где исчезну, с какими ветрами сольюсь?

И, приподнявшись на постели, попросил:

— Дайте на поля поглядеть!

Тотчас оба сына Нинии подхватили его под руки, подперли плечами и осторожно, почтительно вывели на балкон.

Под горой виднелась деревня — дома рассыпались среди виноградников. Вдали голубели затянутые легкой дымкой горы. На одной из вершин чернели остатки старинной башни — от нее сбегали выбитые в скале ступени. А внизу расстилалась между Арагвой и Ксани неоглядная долина, перекатывались волнами спелые нивы. И неугомонный ветерок шевелил, развеивал, волновал солнечное, сверкающее платье матери-земли. Тихо шелестели тяжелые, налитые колосья...

Вон у подножия горы — Цилкани... Мухисджвари...

Какая божественная царит тишина! Все словно замерло... Какой лад, какое согласие в природе!

Солнце закатывалось... Хрустальный ветерок подлетел, играючи, к умирающему пахарю, коснулся ласковой прохладой его лба, потрепал свесившуюся серебряную прядь, как бы поцеловал ее...

Ниния обвел с высоты медленным взором изобильные поля. Все здесь было мило его сердцу, жадно впитывал он глазами бурое золото зрелых нив, светлую зелень подросшей отавы...

Сладостное воспоминание тронуло его за сердце. Он улыбнулся.

Двадцатилетним юношей впервые взялся он за плуг. И, значит, шестьдесят лет ходил за ним по борозде, пахал, возвращал хлеб, кормил народ!

— И что же — стану теперь землей и прахом?

Словно откуда-то издалека донесся до него грустный напев песни пахарей «Оровела». Слезы набежали на глаза Нинии. Солнце спешило к своему гнезду. И понял Ниния... Понял...

Сыновья почувствовали вдруг груз, отягчивший им плечи, взглянули на отца — Ниния слился с природой, дыхание его растворилось в мире...

Величественно закатилось солнце — скрылось в пещерах ночи. Прозрачно-лиловой финифтью подернулось родное небо Нинии, зацвело ночным фиалковым цветом.

Серебряной подковой блеснул в вышине узкий серп молодой луны...



## ЧИРИК И ЧИКОТЕЛА

Были в нашей глуши знаменитые люди! Вот хотя бы дьякон Шабашела, муж писаной красавицы Зизилы. Когда Зизила надевала по какому-нибудь случаю праздничное грузинское платье, дьякон изумленно разводил руками и возглашал в восхищении: «Затмила краса твоя небо яснее, и хвалами тебе расточаемыми, полнится весь божий свет! И как это ты уродилась такой красивой?»

Кто еще? Старик военный, выживший из ума, подслеповатый «гитара-майор», когда-то любитель песен, а теперь весь высохший, как трут, что вырос на старом, трухлявом пне, глухой — хоть над самым ухом кричи, не услышит!

— Немало таскал-возил меня буйный мир, но и я волочил его, как собачий хвост! — шамкая, хвалился он и хихикал и кашлял вперемежку...

Дальше: Чампура Чамапуридзе, знатный едок, любивший поест наперегонки, об заклад — кто больше съест, и опорожнять турьи роги...

Чампура мог часами рассуждать о том, что слаще — лосось, темная форель или усач на виноградном листе? Что вкусней — севрюга, осетрина или сом под укусом

с киндзой? Чихиртма или бозартма из ягненка? соль на лотке, зелень на деревянном блюде, остуженные в роднике огурцы, старый сыр, баранья голова, рыбка цоцхали на листьях, шашлык с кровью... Ах! И душистая струя из запрокинутого носастого кувшинчика!..

— Кто посмеет сказать, что в этом красном вине не таится благодатная частица солнца? Зачем же тогда вкушают его со святым причастием?

Вечно его томила жажда и казалось сладостной музыкой бульканье вина в узком горлышке. Нагрузившись, захмелев, выходил он неверным шагом из духана.

— Сытная еда и доброе вино — вот на чем свет держится! Ешь с охотой, пей с душой, смейся весело! — таковы были заповеди, которым следовал Чампура.

Любитель рыбных блюд, он, чуть что, заводил разговор о сальянской рыбе. Хорошо прокопченная шемая, свежая и соленая икра — черная или красная! — это были постоянные предметы его бесед, раздумий и вожделений.

Кто еще? Тотощ, тот, что крал из ниши полуразваленного храма деньги, пожертвованные святыне!

Духанщик «Чарирама» — в его духане часто можно было встретить завязтого тамаду с неизменным рогом в руке, которого все почему-то звали Павлом, хотя имя его было Петр. Неутомимо молол язык этого тамады!

«Трын-трава», о котором говорили, что он самого черта за руку поддерживал, когда черт учился ходить.

Кондро — завидующий глаз, сквалыга, скопидом, тот, что по ночам отцеплял от часов маятник, чтобы не износился! Шкаф стеной был у него всегда на запоре, хотя там ничего и не хранилось, кроме одной тарелки, да и то разбитой, скрепленной проволокой.

Провизор Анта, который однажды пять дней ходил с задавленным мышонком в башмаке; бог весть зачем забрался к нему в башмак мышонок, а Анта и не заметил, только на пятый день вытащил его. Этой историей он хвастался, точно каким-то подвигом. Ступни у провизора были огромные, он выписывал калоши из Варшавы, потому что у нас его размера нельзя было найти.

Ну, а еще кто? Как кто? Самых главных-то я и забыл! Два моих ближних соседа, Чирик и Чикотела.

Знаете, что такое Чирик? Слышали прибаутку? Кур на жердь, голубь в клетку, а Чирик скок на ветку.

И Чирик и Чикотела ютились по бедности в старой сторожевой башне. Когда у одного кипело-бормотало лобно в горшке, запах киндзы, что крошили для заправки, слышен был за столом другого. Чикотела жил в верхнем этаже башни, а Чирик — под ним, в нижнем.

Чирик всех ловчей и пронырливей. И наш Чирик был человек бывалый — охулки на руку себе не клал!

Был у Чирика единственный сын, по прозвищу «Кикрикико». Собирались мы, ребята, на пригорке близ деревни и, напрягая глотки, вопили что было мочи: «Кик-ри-ки-ко-о!» Шустрый был паренек, на все руки — и притом незлой, покладистый.

Чирик был разумный человек и работяга — для всех готов потрудиться, никому в просьбе не откажет. С рассвета до сумерек крутился рук не покладая и только приговаривал: «Господи, во имя твое!»

О Чирике говорили: это такой человек — положит иголку, а найдет лемех! Работал он, завернувшись в рваную чоху. Мозолистые руки его не знали отдыха, и все же он был в числе беднейших. О том, чтобы копить добро, откладывая в кубышку, он и не помышлял: единственной его заботой был хлеб насущный. Был он не горд, но и в обиду себя никому не давал: «Поступай со мной по справедливости, а Христа ради мне от тебя ничего не надо! — говорил он каждому. — И будем радоваться, пока ходим вместе по белу свету!»

Был у него виноградник величиной с ладонь, и в нем десяток-другой кустов. День-деньской крутился он среди лоз, холил и охаживал их, изводился над ними: подставлял и менял колья, опылял, обрезал, прививал, полел, перекапывал землю, лечил кусты серой, опрыскивал купоросом, поливал, караулил... Каждый вьющийся побег, каждое колечко виноградной лозы готов он был нежить и лелеять. Бывало, даже ласкал, целовал лозы... Между виноградных кустов рядами посажены были у него плодовые деревья, как это делалось в старину. Гостя, заглянувшего к нему в виноградник, он встречал с грудой плодов на деревянном блюде — угощением садовника. Свежие фрукты, только что сорванные, обрызганные утренней росой, приковывали взгляд.

Вечером, по дороге из виноградника, он проходил

мимо нашего дома. Под мышкой у него неизменно торчала охапка выкошенной и выполотой сорной травы.

Войдя к себе во двор, он весело возвещал жене:

— Ну и побеги пустил виноград — есть чем полюбоваться! Увидишь, какие будут крупные кисти! Черными воронами облепят кусты гроздья «саперави»!

Гордостью Чирпка была его крутобокая кобылка. Другой скотины у него отродясь не водилось.

Был он беден, но неизменно весел, улыбчив, ласково-приветлив, речь свою пересыпал шутками.

— Один олень другому пук травы на лугу поднес; хоть и было ее у каждого вдоволь, а все угощение — уваженье! Ну, а мы, может, и бедны — так хоть привета друг для друга не пожалеем! Самое главное богатство грузина — это привет, доброе слово!

Повстречавшись со мной, мальчишкой, он всегда здоровался первым:

— Привет тебе и долгих дней твоему отцу! Мир и благодать!

— Что ж из того, что нет у меня коровы? А все эти дойные оленьи важенки разве не мной в лес пущены? — Стоит мне только свистнуть — сразу к моему порогу сбегутся! — говаривал Чирпик, усмехаясь в седеющую бородку.

Вечером, когда пригоняли стадо, он выходил навстречу на околицу, как будто и ему, как другим крестьянам, надо было загонять свою скотину. Он шел го уакому проулку, размахивая руками, и не мог отвести взгляд от стада.

— Сюда, ко мне, Джварела, Миреша, Бугия, Шаввала! Осторожно ступайте, Марцвала, Гвиния, Орбия, Шинда, Лага — круторогое мое стадо! Не поломайте во дворе лоз, не общипайте прививок, не помните кукурузы!.. Выходи, Демфила, становись, да тише ты, не расколоти мне посуду! — И крутил в воздухе руками, словно не зная, к которому из животных броситься, каким из них заняться. — Выходите, доиться пора, вот подойник наготове!

Он даже не смеялся, — казалось, сам верил своей выдумке!

Войдя во двор, он кричал жене:

— Эй, старуха, давай сюда ведро, подои корову!

Жена, если была в духе, улыбалась, а если нет, то отзывалась хмуρο, со вздохом:

— Охота тебе шутить! Детей своих не жалеешь. Вони опять улеглись спать в этакую рань, ничего не евши!

Чирик очень любил жену, а в детишках души не чаял:

— Лучше нож себе в грудь всадить, чем на голодных детишек смотреть! — Но... хлеб у них неизменно кончался по весне, и до следующего урожая они ели сорванные в поле незрелые колосья, подсушивая их на огне, — кое-как сводили концы с концами.

— Хлеба, хлебушка! — то и дело взывали дети к матери.

— Разве меня «Хлебушка» зовут? Вот я вас! — прикрикнет, бывало, на них мать — и сама-то полуголодная...

Совсем не походил на Чирика Чикотела. Чирик был крупный, крепко сбитый, в теле, с черными, густыми усами, а Чикотела — без единого волоска на лице, сухой и длинный как жердь, голенастый, как цапля. И шапка на нем стояла торчком.

Бесприветный, пасмурный, недружелюбный, насупистый человек был Чикотела — вечно озабоченный, точно все бремя мира взвалили на него. Посмотреть на его лицо — точно в ненастный день в окошко выглянуть! Тоской от него веяло, словно от крепостных развалин. И всегда-то он был недоволен, вечно жаловался — то на дождь, то на жену, то на свойственников, а в первую голову на соседей, и пуще всех на Чирика. А уж упрям был, неуступчив... И язвительен, злоязычен — никак не хотел понять, что злые речи — зима, а ласковое слово — лето. В деревне он слыл скрягой — говорили, что просяного зернышка из горсти не выронит! Словом, даже в крестные его никто не хотел звать, так и не было у него ни одного кума!

Удивительно — во дворе у него дерево тянулось к дереву, ветвь обнималась с ветвью, цветок миловался с цветком, а сам Чикотела ненавидел соседей, и больше всех — Чирика, которого считал чуть ли не кровным врагом. Говорили, что это от зависти, что Чикотела завидует плодам чужого труда. Сам он был бездельник и лежебока, любитель праздников и святых дней. Боялся работы, бегал от дела; любил пройтись по деревне, поглазеть на белый свет — а зимой не имел в доме ни одной хворостинки на растопку!

Набожный был лентяй, ни одного господнего дня не пропускал, не отдохнув, — двенадцатых, передвижных... Праздников в то время было много! Да и кто мог осудить богопослушного Чикотелу — скажем, в мае? Четвертого мая — «птичий день», потом — седьмого — вынос плуга в поле и богомолье; на те же примерно дни приходился еще один, храмовой, праздник, а в ближайшую пятницу был особый день — «градоотводный», с молитвой об избавлении от града, потом общий деревенский пир — «братчина», и так весь месяц проходил в праздности и веселье.

Не знаю, чем объяснялась частота праздников в мае, но весенняя природа сама способствовала этому. В нашем дворе дух захватывало от запаха сирени, ирисов и роз. Воздух был пропитан медовой сладостью липового цвета, акации... А над всем властвовал пьянящий запах цветов шпата. Поди и гни спину в такое время! Так что, может, и прав был хмурый Чикотела.

А вот у веселого Чирика не хватало времени для пиров и богомолья! Ни одного дня праздного он себе не выкраивал — так и трудился, не разгибаясь. А от работы делался еще добрее, еще ласковей.

У Чикотелы была одна только замарашка дочка Тетруа, больше не народил он детей. Может, оттого и был таким лентяем Чикотела, что не надо было ему кормить много ртов.

Однажды приснилось Чикотеле, будто в кладовке у него громоздятся горы каменной соли, горшки с топленным маслом, головки сыра, кожаные мешки с икрой... Очнувшись, он лихорадочно шарил около себя, ища все это пригрезившееся добро... Точно кто-то тайно слизнул его богатство, обокрал Чикотелу! И долго еще прикрывал он себе глаза ладонью, надеясь вернуть превращенную грезу...

И еще мечтами о прошлом жил Чикотела.

На деревенской площади, сменявшись с крестьянами, собравшимися, чтобы потолковать о том о сем, он рассказывал о прошлом своего рода, когда-то знававшего, по его словам, лучшие дни. Деды его, оказывается, были так богаты, что даже имели собственных крепостных.

Многие, наверно, и не знают, что в далекую старину в Грузии встречались крестьяне, владевшие крепостными!

— Кто же не слыхивал, какими богатеями были деды и прадеды? Среди крестьян таких редко и встретишь! Крепкая семья, нерушимая, как скала, дом, полный достатка, — все в поте лица, честным трудом добытое... Закрома ломятся от хлеба, всякой снеди полно в кладовых, на семена отдельно отборное зерно, кувшины в марани — полны вина! Прапрадед мой Цехдида — «Большая нога» — шестьдесят голов одних буйволят в стадо выгонял! Собственного плугаря держал, особого виноградаря, своего пастуха!..

— Вы на меня так не глядите, ребята! Все у нас было домашнее, свое: и холст, и рядно, и сукно, а уж ковры и джеджимы ткались десятками. Мыло и то дома варили. И масло из подсолнуха выгнетали — не видали у нас во дворе старые жомы и маслобойные жернова? И в Агзеван гоняли арбы за каменной солью. И в Сальяны ездили за рыбой. Вы на меня так не смотрите, ребята! У нас перед домом каменная соль грудями громоздилась — хоть башню из нее складывай! В погребе мехи, набитые икрой, сыром, маслом топленным...

— Хоть бабушку Тавтуху спросите, ежели не верите! Когда она в наш дом невесткой пришла, дед мой на свадьбе ее дружек сплошь икрой угощал — подносил им полные чашки с верхом! Вы на меня так не смотрите, ребята! Жизнь у нас в доме кипела... Всего было в избытке! Да только мы свое отпировали, истратили дарованное нам судьбой богатство, не сумели сберечь. Вот и остались ни с чем! Что ж тут поделать? Вы на меня так не смотрите... Вот оно что!

Правду говорил Чикотела или нет, никому было не ведомо. Бабушка Тавтуха, столетняя, замшелая, выжившая из ума, глухая старуха, в свидетели не годилась. А больше никто никогда не заикался о былом богатстве рода Чикотелы. Да и какое было дело людям до чужого да еще исчезнувшего богатства! Сказано, чужой чужого покойника будил — думал, что спит!

— Это он грезит наяву! — улыбались соседи. А между тем прислушивались к рассказам Чикотелы и в душе верили ему.

Однако главным предметом разговоров Чикотелы, к которому он постоянно возвращался, был Чирик и тяжба с ним. «Чирик хочет присвоить мою землю!» — твердил он.

— Горит у меня душа — точно табак в трубке, тле-

ет внутри. Одолели меня Чириков виноградник, передвижка межей, спор, из-за клочка земли! Не могу я молчать, не могу не бороться с ним! Не пройдет беда безбедно, коли цел бедовый корень! Вовремя надо водой огонь заливать!

Бедяге Чирику было вовсе не до тяжко и спор — да и не понимал он, чего от него хотят... Но зависть неодолима! Зависть и злоба овладели сердцем Чикотелы.

Раньше, говорят, плевел в пшенице никогда не бывало. Но однажды кто-то проходил мимо соседнего гумна, глянул на высокую кучу зерна, одобрительно покачал головой... Потом взял из кучи горсть пшеницы, и тут шевельнулась у него в душе зависть. Зерно он бросил обратно в кучу — но горсточка эта превратилась в плевелы, и сорное зерно выросло вместе с новым урожаем. С тех пор развелись плевелы на полях и угнездилась злоба в человеческом сердце.

Спор Чикотелы с Чириком был из-за границы Чирикова виноградника. Участки у них были смежные, и Чикотела считал сопредельную полоску соседского сада своей.

— Наши уголья поровну отмерены, а он средь беза дня прирезает себе мою землю, засаживает ее лозами, лезет ко мне во двор — ну просто нож к горлу приставил! Но не будет этого! Сквозь игольное ушко протиснусь, а не дам ему своего добиться! — выкрикивал Чикотела грозные и ядовитые слова.

А между тем совесть у Чирика была чиста. Все то, в чем обвинял его Чикотела, ему и во сне не грезилось. Всякий раз, как завязывалась между ними перепалка, Чикотела выносил из дому какую-то длинную, пожелтевшую, намотанную на кизыловую палку бумажную полосу — он называл ее «утвердительной грамотой» — и, потрясая ею в воздухе, воил в иступлении:

— Здесь все прописано — какне промеж нас настоящие рубежи и грани!

В купчей крепости и в самом деле были обозначены границы усадьбы: «Со стороны горы — две осины, что растут над ручьем; граница снизу — молодой дубок. Дальше вниз — большие орехи, а еще пониже — три тутовых дерева. Это и есть границы. Вровень с ними, на берегу реки, еще две осины от одного корня».

Поди и ищи сейчас, через двести лет, те осины — парные, от одного корня, — тот дубок, те большие орехи,

те тутовые деревья! Да от них и следа, и памяти уже не осталось! Ведь купчая была писана во времена царя Ираклия... Простодушные ее составители, сами о том не подозревая, двести лет тому назад положили начало вражде двух соседей. И хотя, по их словам, грамота была составлена «по правде» и «без пристрастия», и притом «накрепко и навечно, неизменно, неоспоримо, бесповоротно и окончательно», и силу имела «для правнуков и потомков», — именно эта целевая купчая крепость стала причиной раздора между соседями. Ведь она, эта грамота, спутала все границы и межи!

Вот из-за этой злосчастной границы между виноградниками цеплялся к Чирику крохобор Чикотела. В своем озлоблении он был готов на все — не гнушался и неприглядных путей. Вечными сварами и руготней он донял, например, беднягу Чирика так, что тот не выдержал и срубил огромное ореховое дерево, бросившее тень на соседские владенья...

Однажды забрела в виноградник к Чикотеле молоденькая соседская курочка-несушка; Чикотела пришиб ее колом. В другой раз он по злобе срубил под корень пять кустов Чирикова «будешури», протянувших свои побеги над его кровной землей!

Не раз решал доведенный до отчаяния Чирик продать свой виноградник или даже совсем переселиться из нашей деревни, бежать от недруга, но, когда находился покупатель, слезы наворачивались ему на глаза, не хватало духу отдать чужаку этот орошенный потом ключок земли, этот холеный и лелеянный сад...

— Что это за напасть, откуда она взялась на мою голову? Когда это я зарился на чужое? Господи, и зачем ты породил такого злыдаря — ведь озорник, лиходей, веред! Точно порчу на меня напустил!

А Чикотела желал Чирику гибели и истребления со всем его потомством.

— У-у-ух! — стонал он порой в бессильной ярости, не в силах примириться с самим существованием своего врага. — У-у-ух! — точно все нутро у него было исколото, изранено, изрублено.

Не раз он осушал — раньше времени! — чашу за упокой Чирика, и тогда сердце у него разгоралось жарче кузнечного горна. Судорожно сжимая кулаки, позеленев и дрожа от ненависти, он только мычал: «М-м-м!» — и призывал, чтобы одолеть недруга, свою «былую си-



лу», — хотя иикогда не стлчалася телесной крепостью и удалю.

— Куда тебе против Чирика! И не думай на него лезть — не одолеешь! Ты и с виду вон какой слабенький, тебе ли с Чириком равняться? Дюжего ты выбрал себе врага, богатерского плеча!

— Ну-ка, глянь на эту маленькую речушку! — Чикотела показывал на наш деревенский, тихо журчащий ручей. — Сколько она вырвала с корнем орехов, лип, тошолой — весной, в половодье? Помнишь? Видал? Ну, так что ж ты мне еще говоришь? Эх, уж если я сорвусь с привязи...

— Нет, нет, ты лучше будь с Чириком потерпеливей!

— Верные слова! — присоединялись к советчику другие.

— У-у-у! Жизнь без света, без радости! — стовал, точно от жгучей боли, Чикотела.

— Над иным человеком счастье так и кружит, на лбу у него сияет, а моя доля спит где-то посреди дороги, растянулася, бесстыкая, в пыли, и горя ей мало!

Проходили годы. Чирик и не думал умирать — напротив того, плодился и размножался; недавно родились у него еще две девочки-двойняшки.

— Бросим ворошить былое, толковать о нем не стоит! — советовали Чикотеле.

— Не сломить меня всей вашей рати! — отвечал в сердцах, повысив голос, посредникам упрямый Чикотела, закованный в непроницаемую броню своей ненависти.

— У-у-у! Крови Чирика хочу напиться! — гудел он на своей башне, сбрасывая вверх хвостом залетевшего к нему снизу петуха.

— Что у вас вышло, чем ты его обидел? Из-за чего вани раздоры? — спрашивали добродушного Чирика, а тот только пожимал плечами и говорил спокойно:

Соловей сказал: «Не знаю,  
Что присничило дрозду,  
Изругал, завел вражду,  
Прицелился, ва беду».

Однажды миролюбивый, покладистый Чирик сам заговорил напрямик с Чикотелой:

— Чего ты на меня кидаешься? Точно я у тебя жемчужные пуговицы с рубахи спорол!

Чикотела стал вместо ответа размахивать у него перед носом своей грамотой — она разведалась в воздухе и снова сама собой навивалась на кизилковую палку:

— Вот оно, свидетельство моей правоты! Здесь все написано!

— Не знаете вы, — обращался он к соседям, — да, не знаете, что это за жадный человек! Как он передвигает по ночам границу своего виноградника все дальше на мой участок! Да нет, он не перестанет пакостить мне до второго пришествия!

Иные из соседей, те, что поехидней, подзуживали его:

— Враг вражды не позабудет!

— Не давай ржаветь кинжалу — жаль булатного клинка!

— В этой грамоте обозначены правильные рубежи, да никто верить не хочет! — со стоном отзывался Чикотела и добавлял (что только не сорвется с языка у человека с уязвленным сердцем и взбаламученной, желчной душой!): — Надо кончать! Нынче осенью не держать в руках Чирику чаши с молодым вином!

И при этом ворочал полными тоски глазами.

А что же Чирик? И в ус себе не дул! Радовался на зреющие, тронутые уже синевой виноградные кисти.

— Этой осенью надо посадить еще с десяток кустов «ркацители», — думал он вслух, и люди поддакивали:

— Да, этот хоть в пустыне виноград вырастит!

«Господи солнцеликий, будь милостив!» — твердил Чирик свою неизменную молитву. Недосуг ему было лаяться с соседями, изводиться в распрях. Зато Чикотела был неутомимый смутьян.

— Вон он, тащится, чтоб его ничком похоронили! — говорил он, почернев с лица, при виде Чирика.

А Чирик, незлобивый Чирик, не мог удержаться от смеха...

— Чего он сам себя терзает, неленый человек? Все мы, люди, — дети праха; день — да твой, живи без страха!

А Чикотела не увимался:

— О-ах! Увидеть бы мне его развороченные ребра, камни, его кровью обрызганные!

— Что ты душу свою отягчаешь, несчастный человек! — сердилась на него жена — добрая и богобоязненная Ташнеура.

— Так почему же я богом забыт, судьбой избежит? Где моя удача, скажи? — плачущим голосом прерывал жену вечно отлынивающий от дела Чикотела. — Так почему же у нас ничего нет за душой? Разве не Чирик виноват в нашей бедности? Сердце у меня иссохло!

Ташнеура, с языка у которой стекал только мед, а не желчь, оправдывала добряка соседа, но возмущенный Чикотела яростно напускался на жену:

— Разве он не передвинул ко мне межу? А откуда взялись те пять лоз вдоль самой границы?

— Далась тебе эти пять кустов! Разве пятью виноградными кустами семью прокормишь? — возражала незлобивая Ташнеура.

— Почему не приберет смерть моего врага? Он должен раньше меня уйти, да, да, он, Чирик, должен на том свете открыть передо мной черную дверь! — никак не хотел утихомириться Чикотела.

— Довольно, перестань, лютая твоя душа, бурливый человек! — отвечала Ташнеура.

Забрав свое трепало и шерстяную кудель, она ушла во двор, присаживалась у розового куста — это было ее любимое место — и крестилась, вздыхая:

— Святой Георгий, заступись за нас!

Чикотела охал, стонал, мычал, а потом шел к соседям изливать свои горести, жаловаться — облегчать душу...

— Не сгибайся перед бедой, плечи к земле пригнетет! Выскажи, что у тебя на сердце камнем лежит! — раззадоривал его хитрый сосед.

Чикотела выкладывал во сто крат больше — а того не хотел знать, что, когда котелок закипит, варево убежит и его же ошпарит.

В этой постоянной распри из-за чужого достояния проходили отравленные желчью дни Чикотелы. Был и такой случай, когда жизнь обоих, и Чирика и Чикотелы, висела на волоске.

Через один из иорских рукавов, что струился в ивниках и камышовых зарослях, был перекинут вместо моста сухой осиновый ствол. Это была единственная дорога через Иори. И вот на этом неверном мостке встретились в одно прекрасное утро два стародавних врага. Бог весть какая беда должна была разыгратись на той сухой осине... Но гордец Чикотела и не подумал посторониться — не опуская взгляда, пошел прямо че-

рез мост и на самой середине, не удержавшись на ногах, бултыхнулся в воду.

Чирик прошел с улыбкой по свободному мосту и скрылся в винограднике.

На другой день Чикотела учинил в деревне целый розыск:

— Не узнал ли кто? Не рассказывал ли? Не радовался ли?

Однажды среди зимы, когда крестьян в занесенной снегом деревне одолело безделье, соседи решили помирить врагов; два почтенных человека — Иванэ Гочиклания — Глотай-поросея и Беция Батиквеления Гусещип — вызвались быть посредниками и отправились к тяжущимся.

— Довольно раздоров, что было, то сплыло, кто старое помянет — тому глаз вон! — Но ничего из этого не вышло — Чикотела уперся, надулся так, как будто на нем свет клином сошелся.

Чирик, по-грузински легконравный и невозмутимый, успокаивал посредников, глядя на них смеющимися глазами:

— Оставьте этого пустобреха в покое, пусть раздувается, как жаба! Все равно злобы из него не вытрявишь!

И вдруг в один прекрасный день случилось чудо! Разлетелась по деревне весть об их примирении — хотя никто поначалу не хотел ей верить!

А дело было, оказывается, вот как.

Во время жатвы на дальнем Азамбургском поле, далеко за рекой Иори, Чикотела простудился и занемог. Кое-как он перебрался вброд через реку и пошелся к деревне. Да только по пути его совсем разобрало, подкосились колени, и он повалился в жару, словно пьяница после бражной ночи, на обочину дороги — авось какой-нибудь добрый человек, проходя мимо, подымет его и отведет из жалости домой! Но ни прохожих, ни попутных арб не было видно. Так и валялся бедняга в чистом поле — волчьей сытью, вороньей добычей. Солнце уже закатывалось, до деревни было далеко... Чикотела, скованный лихорадкой, громко стонал в отчаянии.

И вот в ту самую минуту, когда последний краешек заходящего солнца скрылся за горами, показался со стороны Иори верховой — и знаете, кто это был?

Уж верно догадались! Чикотела затрясся в испуге, сжался в комочек, забрался с головой под шинель, словно черепаха в свой панцирь, — господи, хоть бы его не увидели!

Чирик приблизился к лежащему, вздрогнул, смутился... и продолжал свой путь, как бы ничего не замечив. Томившийся в жару Чикотела сначала даже обрадовался... Но ведь Чирик был последней его надеждой — пройди он мимо, и, чего доброго, можно было в самом деле попасть волкам на зубы! Однако Чирик, после недолгого колебания, повернул лошадь, соскочил с нее и подошел к больному.

— Что это с тобой стряслось, бедолага? — спросил он неуверенно.

— Да ничего... — робко отозвался Чикотела.

Чирик, недолго думая, подхватил под мышки своего заклятого, а сейчас пристыженного, прячущего глаза врага, посадил его на лошадь позади себя и пустился в путь, к деревне. Да еще по дороге наставлял его: держись крепче, обними меня за пояс, не то еще свалишься с лошади...

Чикотела сидел набрав в рот воды и только старался не слишком сильно стиснуть, ни обеспокоить своего бывшего недруга. В деревне поднялся переполох. Соседи глазам не хотели верить! Сначала даже подумали, что Чирик подрался с Чикотелой, одолел его, связал и привез, чтобы сдать старосте.

— Чирик пленника добыл! — кричали со всех сторон.

Да, было смеху!

Целый месяц забавляла эта история наших сельчан.

Чикотела сложил оружие. Замолчал, перестал поносить Чирика, да и что еще ему оставалось делать? Он и сам был поражен поступком врага!

А вскоре на голову Чикотеле свалилась новая напасть. Помните, я говорил, что была у него единственная дочка-замухрышка? Так вот, пока я добирался до конца своего рассказа, эта девчонка-замарашка, подросла, оперилась, вошла в тело, грудь у нее под кофточкой налилась... И получилась из нее девушка на диво, голубка-хохлатка, резвая лань, румяное яблочко, белолицая — недаром звалась Тетруа, — синеглазая, чернобровая, с долгими ресницами...

И — чего не наболтает сорочий язычок! — однаж-

ды, среди дня, Чикотела спустился в виноградник и, обходя его, услышал вдруг среди густой листвы нежные слова: «На израненное сердце локоп свой мне положи!»

Чикотела прислушался.

«Подхвати меня, унеси меня!» — ворковал нежный голосок.

Чикотела осторожно раздвинул листья винограда и увидел... боже, что он увидел! Над самой границей, разделявшей виноградники, стояли, обнявшись, его дочка Тетруа и сын Чирика Кикрикико — да, да, слетаясь в объятии, и притом так тесно, что и саблей не разрубшь!

Сначала Чикотела пришел в изумление, потом в ярость, гаркнул: «Ах ты бесстыдница, вот я тебя!..» Парень и девушка понеслись со всех ног прямо через виноградник, ломая с треском лозы и колья; сколько упало кустов! Чикотела стоял на месте, словно одеревенев, и не мог выговорить ни слова. Тут только он понял, почему вечно льнула и липла его дочка к соседскому парню. Понял — да уж поздно! Ох, беда, дочка врагу достанется — к тому делу идет! — а за ней и виноградник! Совсем упряднятся граница и межа! У Чикотелы ведь больше не было детей — только одна эта девка! Скорей он согласился бы провалиться в преисподнюю, на самое дно, — да что тут поделаешь? А Ташнеура обрадовалась свыше меры — Кикрикико ведь был всеобщим любимцем!

Через неделю Чирик снял крышку с зачехатанного винного кувшина... Теперь уж никуда не денешься — обоим, Чирику и Чикотеле, надо было сидеть рядышком за свадебным столом, целоваться с винными чашами в руке, называть друг друга братьями... Так оно и случилось.

Спустя несколько лет я сам видел, как двое дедушек, взяв с двух сторон за руки маленького внушонка, учили его ходить под цветущим миндальным деревом.

Так любовь взяла верх над враждой. Краток век вражды и злобы — прокляты они от века!

Этот несмышленный птенец, этот малыш, что вынаживал, спотыкаясь и переваливаясь, следом за двумя стариками, окончательно похоронил своими пухлыми ручонками долголетнюю рознь двух застарелых врагов!

Прошли годы. Много, много раз алым светочем проплыло солнце над нашим селом. Много скатилось с не-

ба звезд. Вышло время силу Чирика и Чикотелы...

Совсем ослабел — как малое дитя! — сломленный трудами долгой жизни Чирик. Во главе семьи встал Кикрикико. Но старик ни за что не бросал своего любимого виноградника, хотя тот давно уже стал общим достоянием. Чирик не видел никакой разницы. Напротив, он теперь совсем переселился в виноградник — не выходил из него ни днем ни ночью, там и спал в шалаше. Никак не могли отговорить его ни сын, ни внук, ни соседи... По-прежнему он кружил над лозами, выхаживал кусты своей усталой, но искусной рукой...

— Что ж, значит, такая у него страсть! Пусть сердце потешит! — говорили родные.

Но вот однажды весной, на пасху, разнеслась по деревне скорбная весть: Чирика не стало!

Оказывается, он и в пасхальную ночь не захотел расстаться со своими любимыми виноградными лозами. Засветил восковые свечи, устроил себе на чистом платке меж лоз пасхальную трапезу, обошел с литанией вокруг виноградника, потом присел под кустом, сложил руки на груди и скончался...

Наутро внук пошел навестить набожного деда, отнести ему крашеные яйца — и застал старика мертвым!

А что же Чикотела? Закрыв лицо своей остроколючей шапкой и глотая слезы, он причитал: «Брата я потерял — родней родного!» Да и самому ему уже виделась зияющая могила... Через неделю схоронили и Чикотелу рядом с Чириком.

Один сосед — с виду сочувствуя, а в душе не без ехидства — качал сокрушенно головой: «Что бы им обоим в один день помереть — не пришлось бы родным дважды на поминки тратиться».

Мне, как ближайшему в прошлом соседу, сообщили в город, просили присутствовать на похоронах. Но что-то помешало мне, я не смог отдать старикам последний долг. И от этого осталась у меня как бы заноза в сердце. Немало я провел радостных часов около них в детстве, и немало они оказали дружеских услуг нашей семье...

И мне захотелось описать историю вражды и любви Чирика и Чикотелы, чтобы хоть этим отдать долг их тениям; кто улыбнется над моим рассказом, а кто задумается...



## ЧЕСТВОВАНИЕ ДОБЛЕСТНЫХ

На могилы славные  
Гляну горделиво.

Н а р о д н о е

Мертвых чествуют за доблесть,  
А живых хулят за трусость.

Н а р о д н о е

### I

На окраине нашего селения высится на горе белая крепостная башня, с обвалившимся верхом, с рассыпавшимися стенами, сложенными из замшелых плит, — прославленная твердыня, оваленная пламенем многих битв. Лоснящиеся плиты ее основания напоминают о былых осадах, о том, как точили свои сабли о камень подступавшие враги...

Однажды, когда после долгого сражения враг обратился в бегство, защитники крепости, по преданию, лопатами сгребали пули у ее подножия — такой грозовой свинцовый дождь обрушили на нее басурманы.

В детстве мне приходилось слышать: в назначенную ночь, в глухой час, задолго до утренней звезды с

вершины башни сбегает в страшном волнении по лунной лестнице седоволосая женщина. Она гневно взмахивает рукой, отгоняя кого-то, и в ночной тишине отдается ее суровый голос:

— Не подходи ко мне, трус, баба! Прочь с моих глаз!

Коленопреклоненный сын ее, в шлеме и кольчуге, хватается за голову, стонет в отчаянье и, вскочив, убегает с обнаженной пашкой. По пути он оборачивается и кричит матери:

— Иль умру от вражьей сабли, иль вернусь к тебе со славой!

А мать уходит обратно в башню, с грохотом захлопывает за собой дверь, закладывает ее тяжелым засовом — и изнутри доносится вновь ее гневный голос:

— Прочь, прочь отсюда! Не показывайся мне на глаза, и пусть тебя во веки веков поминуют недобрым словом за то, что ты опозорил свое имя!

И тут внезапно со всех сторон из тьмы доносятся голоса:

— Дай ему в руки веретено!..

— Повяжи ему на голову лечаки!

— Вели косу девичью заплести!

И долго еще слышатся насмешки и проклятья...

Призрачная женщина с отчаянием бьет себя кулаком в грудь и восклицает:

— Как избыть мне стыд и горе? Улечу, развеюсь ветром...

И в самом деле, ночной ветерок подхватывает, запоминает полуночные слова, уносит их на легких крыльях, залетает в деревню, поверяет слышанное каждой хижине, каждому очагу — и в предрассветной тиши вновь звучат повторенные ветром слова разгневанной матери...

Потом редет ночная тьма, поет петух, возвещая утро, и все стихает...

Говорят, призрачная седоволосая женщина — Хварамзе из дома Ласуридзе, жившая в нашем селении во времена Ираклия Второго.

Она была матерью героев. Многих она родила сыновей, и все они погибли, сражаясь с врагами страны. Лишь один оказался малодушным, бежал с поля битвы, и о нем, а не об убитых, скорбит до сих пор безутешная мать.

Больше я ничего не слышал о Хварамзе. Но с детских лет запомнилась мне другая представительница семейства Ласуридзе — тетушка Чахтаура. Это была видная, статная женщина, строгая, с сильным характером, всеми уважаемая, признанная предводительница женщин нашего села.

Мы, дети, очень любили ее...

В юные годы она, по рассказам, славилась как наездница. Позднее, овдовев, она стала единственной опорой семьи — и какой твердой опорой! Хозяйствовала она с охотой, всегда была рада помочь соседям делом или советом, учила деревенских женщин шитью и рукоделью...

Она была искусная рукодельница — джеджимы, расшитые чепраки, тканые и вязаные коврики на тахту, вышивные накладки и наволоки для мутак, — чего только не выходило из ее умелых рук! Обучила она своему искусству и свою дочь, Ферану.

Словом, была она мастерица — золотые руки!

А кроме того, Чахтаура славилась и умением заговаривать болезни, лечить шептами и молитвами. До сих пор помню слова из ее заговора — кажется, для облегчения беременности: «Трясется крыша, лес гудит, сад шепестит... Шевелится лань в оленьем брюхе, тормозится теленок в брюхе у лани...»

Помню, как завораживали меня эти странные, поэтические слова...

И еще слыла Чахтаура безошибочной предсказательницей погоды. Еще школьником записал я услышанную от нее приметку:

Утро красное — ночью дождик,  
Ночь дождливая — утром солнышко.

...Первая мировая война в разгаре. Тетушка Чахтаура сидит одна-одинешенька на подгнившем старинном балконе — не дает остыть очагу!.. Сидит и вяжет шерстяные носки для младшего из своих трех сыновей, Шалии, — последнего, будто бы оставшегося в живых... Будто бы — потому что и Шалия погиб на войне, совсем недавно, но Чахтаура все же собирается послать ему теплые носки. Дважды приносили ей похоронную, но Чахтаура не верит, она глубоко убеждена, что смерть не властна над ее сыном, и говорит почтальону, строгим, негодующим тоном:

— Отсохни твой лживый язык! Забери эту бумагу назад! Отдай ее тому, кто тебя прислал! Живой у меня Шалия, не мертвый! Не смей больше такое выдумывать! — И проворные спицы быстро-быстро мелькают в ее умелых пальцах...

А когда почтальон Гугуна поворачивается и уходит восвояси, на дороге его настигают посланные ему вдогонку гневные слова:

— Не смей больше приходиться сюда с этой черной бумажкой! А не то спущу собак, чтобы разорвали тебя на части. Со счастливой вестью приходи, вестником радости!

## II

В нетерпении — как говорят летописи — дожидались возмужания героя Вахтанга Горгасала его согбенная, обездоленная мать и похищенная Багатуром сестра; но, наверно, еще трепетнее ждали полнолетия нашего молодого соседа Шалии родительница его Чахтаура и сестра-невеста Ферана.

Скоро ли наконец настанет желанный день, когда Шалия, впервые опоясавшись шашкой, своей рукой оседлает Ветрового, серого в яблоках коня, и прищпорит его, пустит вскачь?

— Когда ты собираешься его седлать? В какой день? Скажи, сыночек, чтобы мне дожидаться и порадоваться на тебя! А то ведь мне небось недолгие отмерены дни!

— А чего мне торопиться? — отвечал с улыбкой Шалия...

— Как, неужто ты не торопишься увидеть меня в веселье и радости? В тот день я надену праздничное платье, достану из сундука самый тонкий лечаки с кружевной каймой, повяжу поверх него новый парчовый багдади...

Шалия был из старинного, почти уже прекратившегося рода. Отец его Шермадия провел свои дни в веселье, ни о чем не тужа. Братья и дяди Шалии все погибли — одних убили на войне, другие нашли свой конец в усобицах, от ножа и кияжала, при тяжбах и разделах. Так или иначе, но из всего дома Ласуридзе остался на свете один-единственный мужчина — Шалия. Только на женщинах держался древний, знаменитый род.

Вот почему с такой торжественностью готовилась

родня отметить день, когда Шалия, в знак своего совершеннолетия, опоянется шашкой и оседлает коня. Казалось, даже в могилах изнывали в нетерпении изрубленные и заколотые предки его и братья с дядьями.

Мать валяла для коня Шалии потник, сестра — укрывала чепрак, тетушка Гариела, жена дяди, плела ему хлыст из ремешков.

Искрометный, огневой был парень Шалия — быстрый и ловкий, пылкий и причудливый, ярый и неумный, гордого, привольного нрава и широкого сердца, ищущий имени и отличия среди сверстников. Ради славы он себя не пожалел бы! Ни в грузинской пляске — танцор он был отменный! — ни в вольной борьбе он никому не уступал первенства. Но особенно привлекало его военное дело.

— Всюду знают моего сына! — похвалялась тетушка Чахтаура.

И сейчас стоит у меня перед глазами Шалия — смуглый, проворный, со смолисто-черным вихром на лбу, с блестящими глазами и твердой, стальной рукой, удивительно привлекательный, всеми любимый. Он был лет на пять, на шесть старше меня.

Мать и сестра смотрели на него с обожаньем.

«Ну, кто во всей поднебесной может сравниться с тобой? — ласкала в мыслях мать своего сына. — Жаль только, что один ты у меня, бедняжка...»

Как взведенный курок был этот неугомонный юноша — вернее, подросток на пороге юности; расторопный, озорной, своенравный, до дерзости храбрый, удалец, смельчак... Враг всяческой дряблости и мягкости, он не любил мямлей, размазней и неженок. Всем забавам предпочитал «военные игры» и уж не давал в них никому спуска, разносил нас в нух и прах. Стрелял из лука без промаха, любил верховую езду, скакал на неоседланных лошадях лихо, как черт; и охотник был страстный — облазил все горы и овраги, ущелья и чащобы, скалы и утесы, заросли и болота вокруг нашей деревни. То постреливал дичь, то бродил так, без цели, то искал на лесных опушках тростник для свирелей.

Мастерить свирели Шалия был удивительный искусник. Бывало, вырежет дудочки и раздаст нам, ребятам.

А Чахтаура глянет косо на все эти сонечки да сви-

ристелки, истово снимет со стевы дедовскую саблю, по-  
даст Шалии и скажет:

— Что ты все со свирелями да с дудочками — да-  
лись они тебе! Вот сабля, от дедов осталась. С божьей  
помощью скоро наденешь ее на себя! Братьям твоим  
не довелось ее носить — рано их взяла у меня смерть!  
Даст бог, ты будешь счастливой. Ведь ты не без роду-  
племени — есть еще в живых люди из славного дома  
Ласуридзе! Не можем мы забывать о нашей старинной  
славе. Что за род без славы, без чести?

А Шалия тем временем внимательно рассматривал  
саблю.

— Знаешь, что это за сабля? — спрашивала его  
мать. — Не простая, шахская — твой прапрадед Джал-  
дан сорвал ее с самого шаха в сражении! Все войско на  
нее дивилось, а Ираклий твоего предка в лоб поцеловал.  
Ведь Ираклий никогда не брал с собой саблю в битву —  
сабля сама в бою к нему прилетала!

Ласуридзе давно уже обеднели и жили в скудости,  
но в стойле у них всегда стояла хорошая, породистая  
лошадь, хотя в хлеву не было ни быка, ни буйвола. Сам  
Шалия усердно ухаживал за своим холеным Ветро-  
ногим.

Подошел наконец и долгожданный день его совер-  
шеннолетия. В этот день коня должны были оседлать с  
обрядовой песней. Потом Шалия, с саблей на боку, вы-  
едет на нем за деревню и проскачет по полю, от одного  
края до другого. С этого дня он мужчина, совершенно-  
летний. И, конечно, все сельские красавицы соберутся,  
чтобы полюбоваться всадником, быть свидетельницами  
его торжества. А потом Чахтаура устроит пир, чтобы  
отпраздновать радостное событие. Отныне она уже не  
в долгу перед сыном, расплатилась с ним...

### III

Но вышло все иначе. Как раз за неделю до торжест-  
венного дня Шалия, возвращаясь из леса с пучком сре-  
занных тростниковых стеблей под мышкой, наткнулся  
перед домом на сотского, и тот передал ему «солдат-  
ский билет» — повестку о призыве. Шалия обрадова-  
лся — точно его приглашали на веселое празднество!  
Взяли его в войска. Уехал он, даже не успев отведать  
сладкого сока земли отцов. Дедовскую саблю он захва-

тил с собой... Определили его в кавалерию. Первое время он слал домой бодрые, полные надежды письма. Писал, что стоит у него в ушах рокот иорской волны, что мечтает увидеть снова окруженное горами родное село, просил хорошенько ухаживать за лошадьё! А порой жаловался в письмах — что кровавая гроза разразилась над миром и что земля содрогается от ужаса. Наконец написал, что во сне сломалась у него сабля, чтоб не ждали его, не вернуться ему больше домой. Пусть хоть имя, хоть слава о нем останется! А потом письма и вовсе перестали приходить, и мы узнали, что Шалия пал смертью храбрых в жестокой битве где-то под Варшавой.

О нем сложили песню. Пели ее под задумчивый рокот чонгури. В песне говорилось, что сразился Шалия со смертью на саблях. Девятерых всадников зарубил в стычке, а десятый всадил ему штык в спину — так и умер Шалия в седле, с окровавленным обломком шанки в руке, ни разу не простонав!

Завершалась песня словами:

Голову сложил со славой  
Ты на зависть тем, кто живы!

От Чахтауры первое время скрывали гибель сына — хотя Ферана, полумертвая от горя, плачем своим могла разжалобить само равнодушное небо. Но девушка говорила матери, что видела дурной сон и плачет, предчувствуя беду, — а Чахтаура успокаивала ее, даже корила: «Что ты сна испугалась, пустого виденья? Страшен сон, да милостив бог! Не бойся беды — не про нас она!»

Подступила зима, продали коня Ветроногого — трудно стало его кормить, да и смотреть на него не было сил... Оставили себе только жеребенка. Ветроногого купил пузатый торгош Котоша. Стоило ему показаться на деревенской улице верхом на коне Шалии, как Ферана вскрикивала, разражалась громким плачем и осыпала торговца проклятиями:

— Безбожник! Что ты нам душу растравляешь? Не можешь другой дорогой проехать?

— Опять приходил тот, беспощадный? — спрашивала каждый день Чахтаура.

Эх, пути-дороги дальние!  
Сына в бой послать — не свидеться..

— Кто знает, где разжался орлиный коготь, где об-

ровил кость Шалии обглоданную! На какой вершине древесной она застряла?.. — пробормочут, бывало, соседки и махнут рукой.

Наконец вызвали Чахтауру, кое-как убедили, уверили в гибели сына, втолковали ей, что не вернется Шалия домой...

Ни словечка не проронила она... Молча воротилась домой — сердце в ней словно оборвалось, вся помертвела, в лице ни кровинки.

— Солнце почернело! Сгорело наше счастье — остался один пепел! Разразился гром, рухнула наша крепость! Пресекался наш род, исчезло наше имя... Горе дому без мужчины! — бормотала на пороге своего дома уничтоженная, полубесчувственная Чахтаура.

— Господи! На, сорви с меня и этот старый, пожелтый лечаки! Больше у меня ничего не осталось — отними уж и последнее! — сжигаемая нестерпимой болью, взывала порой, воздев руки, несчастная мать, обрывала на себе кисейный убор, колотилась бессильно головой о дверную притолоку...

— Бросься бы в погоню за смертью, настичь ее, жестокую! Да по силам ли мне, старой, одинокой? Ах, крылатый ветер, пути твои ветровые!

Целыми днями сидела она безмолвно, точно онемев: уже была как бы не в этом мире, ничего о нем не хотела знать. Могила Шалии зияла у нее в душе. Одному только удивлялась — как смогла смерть одолеть ее сына? Или как Шалия не сумел скрыться от нее?

— Да нет, не стал бы он скрываться, не удостоил бы! — отвечала она самой себе.

Даже от смерти не ждала утешенья безутешная Чахтаура.

Лишь иногда, среди ночи, взывала, стеная, к почерневшей старинной иконе:

— Матерь божья, солнце правды! Это и есть твоя правда?

#### IV

Долго после того не встречал я родительницы Шалии, Чахтауры, — избегал ее, не хотел докучать своей жалостью... Да к тому же я ведь учился в городе — и раз только, приехав в деревню на побывку во время пасхальных каникул, заметил ее издали в день «чествования доблестных». А после того я больше ее не ви-

доя — она вскоре умерла, ослепнув перед смертью: горе застлало ей глаза черной пеленой...

В старину у нас в деревне был замечательный обычай: «чествование доблестных», поминание с почетом покойников, чем-либо прославивших себя.

Весной, вскоре после пасхи, на радуницу, все село выходило на кладбище — с хлебом и вином, с убойной и всякой иной снедью, с плачем, слезами и хвалебными речами. Выходило и чествовало, поминало добром ушедших — не всех, а тех, кто оставил после себя добрую славу, громкое имя. А заодно и возглашало здравницу живым героям...

Немало защитников родины взрастило наше село как в старину, так и в наше время. Одни погибли смертью славных на туретчине, другие — в японской кампании, третьи — в первой мировой войне, а иные — овчары из наших краев, чабаны — в стычках с разбойниками, в Трвалетских горах.

Ушли герои, прошумели, как весенняя пора, отбушевали, отгремели, отбурили — и упокоились в глубоких могилах, в последнем своем уединении. Народу кажется, что они еще встанут из гробов, еще обнажат саблю и вскинут ружье, если позовет их родина... Бессмертие стало их уделом! На могилах лиловеют фиалки, а иные заросли полынью, пчелянкой, татарником, новиликой, нефорошью или купеной. Весной ведь столько разных трав устилает луга! Словно на крови героев выросли и расцвели все эти разноцветные звездочки и колокольцы: и словно радуются мертвые в своих могилах, что руки их, потрудившись на славу, оставили потомкам в наследство эту прекрасную землю и дали им право любоваться ее красотой. И в самом деле, если бы наши предки были трусами и отдали нашу землю врагу — не отстояли ее в битвах, а бежали от врагов. — кто знает, где сейчас ютились бы мы, грузины?

Вот старинное сельское кладбище на лесной опушке. Вместо высоких памятников с красиво высеченными надписями — простые надгробья, какие-то скалистые обломки да замшелые валуны. Впрочем, здесь и там попадаются наполовину ушедшие в землю, выщербленные временем плоские плиты с полустертыми буквами. Вон на могиле вытесанная из камня лошадь в сбруе, вон сшиблись лбами бараны со снлетенными гну-

тыми рогами, а вон выбитые на плитах кувшины, роги, чашки, кубки, чиянури, чонгури, пастушьи посохи — герлыги, части плуга...

Мох и переливчатая трава покрывают могилы героев.

А вокруг развернула крылья, шелестит под ветерком весна...

— Славе твоей радуюсь, хваленому имени твоему, сынок! — причитала над могилой старуха Джафараули, вся в черном, и соседки вторили ей протяжным жужжаньем:

— Не в дому дух испустил, а в дыму сраженья, с пашкой в руке!

Окружил народ могилу Хвтисо, опустил на колени, помянул его честью.

— Конец твой безвременный стал твоей победой! Имя свое прославил, спасибо тебе за это! — взывал дедушка Эдишер над могилой чабана Гагни. — Пусть вечный свет воссияет над тобой!

— Сколько их было, двадцать или тридцать, — злодеев, что напали на тебя? И все же ты не сробел, не сдался! Убили тебя на дальних рубежах Тамар-царицы, а ты все же домой вернулся! — голосили, причитали женщины.

Далеко отсюда, на пастбищах горы Джиккани, убили пастуха — товарищи доставили его, изрубленного на части, в хурджунах домой...

— Целый месяц яйца из-под несушек собирала, откладывала, чтобы купить барашка и отслужить панихиду по нем, — причитала мать.

— Славы искал ты, Иорам, хваленое имя было для тебя дороже всего! Что ж, честь тебе и слава! Пусть не переведутся на нашей земле люди, подобные тебе! — столетний Сехния поднял чашу с красным вином; и пошла чаша по кругу — все воздали честь герою Иораму.

Над каждой могилой разостлали скатерть... И снова жизнь торжествовала победу над смертью!

Смешивая слезы с вином, поминали тех, кто пролил свою кровь за родную землю. Весенний утренний ветерок подхватывал и уносил, развеивал над зелеными нивами, над стройными рядами зацветающих виноградных лоз вздохи и хвалебные слова мужчин, плач и причитания женщин. Казалось, в легком тумане этой общей печали распускаются почки лоз и плодовых деревьев. Небо

было чистое, нежное, глубокое — под стать этой излившейся в словах и слезах любви.

Завзвепел чонгури, и заговорили словами песен лежащие в могилах — изрубленные саблями и кинжалами, иссеченные клинками, «напившиеся свинца», не мертвцы, а засохшие капли крови отчизны; слышались проникающие в сердце, потрясающие душу, омытые слезами и все же пламенные, кремненные слова.

Вот воздали честь доблестному Матии, убитому над окопом во время атаки. Могила его была заброшена, потому что вся семья героя вымерла, никого из близкой и даже дальней родни не оставалось в живых. Но таких безродных покойников оплакивали всем миром. Горевать над ними, проливать горючие слезы, было общим уделом, священной обязанностью всего села.

— И поныне пожинаем посеянное тобой! Будь во веки благословенно имя твое! — в один голос крикнул весь народ в могилу знаменитому плугарю Нинии. — Под чьей еще рукой поднимались так горделиво золотые нивы? Руку твою благословляем, славную твою десницу!

Ниния не был воином и богатырем — но тот, кто возделывал поля и выращивал хлеб, тоже считался героем.

— Почему заглохла песня на белом свете? Потому что ты больше не поешь! — причитали над могилой первой песенницы села Марджаны, умершей в молодые годы. «Сгорела Марджана от песни!» — уверяли меня.

Под старым вязом виднелась заросшая мхом могила. В ней покоился храбрец Лагази, умерший дома, своей смертью.

По ночам выходит будто бы Лагази из могилы и тоскует, жалуется: «Тяжко встретить смерть в постели, а не в битве, не в сраженьи!» Так говорили в деревне. Но и Лагази простили, что он умер не с оружием в руках. Простили? Ну да, село наше находилось в минувшие времена на самой границе и часто подвергалось вражеским набегам — боевое, воинское было село. И поэтому умереть в постели, своею смертью, считалось исстари чуть ли не трусостью. Большинство мужчин нашего села было в старину застрелено и зарублено в схватках с врагами. Да и среди живых, по преданию, немало встречалось безногих, безруких, хромых, кривых, исполосованных шрамами, иссеченных калек...

Вдруг раздался отчаянный голос вопленицы:

— Не уходи, не давайся смерти в руки! Пощади нас!



Не жаль тебе сестры? На кого мне еще надеяться, не на родного брата? — голосила, рыдала чернобровая Ферапа, сестра Шалии.

А Чахтаура сидела молча под огромным, раскидистым дубом...

Где, за какими горами и долами развеял ревучий ветер прах Шалии, какая земля прикрыла его кости, — а сестра и мать оплакивали юного храбреца здесь, под этим тихим дубом, будто он спал вечным сном меж его крепких корней... Разложили у подножия дерева «для приметы» шапку, чоху с ахалухом и кинжал погибшего. И жеребенка проданной лошади Шалии привязали тут же — словно бы на могиле. Несмышленный жеребенок скакал, взбрыкивал, бил копытами в землю — словно звал Шалию — и испуганным, круглым черным глазом глядел на печальное зрелище...

— Поднимись, сыночек, дитя мое, сладкое пуще меда, встань, чтобы я расцеловала твои глаза, возвестила тебе твою славу! — устремив взгляд в землю перед собой, негромко причитала Чахтаура; и женщины, толпившиеся вокруг, плакали навзрыд, как в страстную пятницу над плащаницей.

— Горе, горе! Увял цвет юности и мужества! Засох молодой побег, в тепле моей груди возвращенный!

Исходила ягучими слезами на кресте своего горя мать... Горело все внутри... Болели высохшие сосцы... Еле билось, замирало сердце...

— Слава тебе и горе матери твоей! Золотая жила, в земле сокрытая! — стонала Чахтаура.

— Эх, худо матери барса убитого! — вздохнул рядом старый Сехния.

Многие утешали Чахтауру, говорили:

— Судьбы не избежишь! Разве без божьей воли зазеленеет дерево или уронит хоть один листок? Так и жизнь человеческая!

— Не пришлось тебе, бедняжка, сажать хлебы в тона к сыновней свадьбе, — качали другие головами с сожалением.

А тут невец ударил по струнам чогури, затянул песню, раздувая огонь, что сжигал Чахтауру:

Гибель Шалии-героя  
Бога в небе подкосила.  
Звезды меркли и бледнели,  
И луна лицо закрыла.

...Тут словно внезапно очнулась Чахтаура — развела погасшая зола! — поднялась с трудом, медленно распрямилась, сорвала с себя старенький лечаки, растрепала седые свои волосы, расцарапала щеки, так что кровь потекла ручьями, и возгласила:

— Вам завидую, камни и скалы, мертвому вашему покою! Счастливы вы, что не сжигает вас огонь, меня пожирающий!

Но кажется, даже камни сочувствовали тетушке Чахтауре... Бессмысленно, никого не видя, водила она по сторонам ослепшими от слез глазами. Люди сбегались со всех сторон, окружили ее. Славили ее за доблестного сына. Осушили полные чаши. И вдруг Чахтаура утихла, успокоилась... Соседи хвалили ее: «Девятерых перед собой на небеса послала», — вспоминали с гордостью мать из старинной песни. Не оплакивали Шалию, нет — гордились пережившей его славой, ласково повторяли его имя и как бы даже видели его в далекой могиле, засыпанного невянущими цветами...

Чахтаура благодарила соседей.

Солнце стало склоняться к западу. Люди излили накопившие слезы и разошлись — умротоворенные, утихшие...

Медленно струился с горы к деревне людской поток.

Суровые лица виднелись в толпе. И каждое как бы говорило: «Из нерушимых, алмазных скал сложена Грузия — тем и крепка она! Поглядите на нас — сердца наши тоже, как у тех мертвых героев, из закаленной стали; от века стояли мы с мечом в руке на страже родной земли, чтобы никто не смел на нее посягнуть...»

Вскоре редкие капли, словно сеявшиеся с неба сквозь крупное сито, упали нам на головы. Коротко громынуло в вышине. Женщины сказали: «Это богатырь Ростом плачет о своем детище Зурабе». Поднялся холодный ветер. Под облаками потянулись вереницей журавли. «Это души героев покинули землю, полетели в небеса». А там просияла семицветная радуга — вот и отгоревала земля!

Волоча ноги, плелась по дороге к деревне, с пустым кувшином и корзинкой в руках, Чахтаура. Ферана вела на поводу жеребенка. Проходя мимо, Чахтаура глянула на нас, сбившихся в кучку мальчишек, и сказала со спокойной, печальной улыбкой:

— Вот какой у меня был сын! Имя свое просла-

вил — вишь, село его честью помянуло! Вырастите орлами, птенцы желторотые!

А вокруг буйствовала весна, неумная, как Шалия...

...Смятение обуревало нас, ребятишек, оказавшихся зрителями этого странного зрелища. В горниле слез этого дня — дня горя и твердости — закалялись наши сердца, креп наш костяк...

Мы задумывались на мгновение: для чего человеку славное имя? И что нужно, чтобы его снискать?

Славное имя... Память о доблестных... Рассыплются скалы, распадутся крепчайшие камни — но не сотрется славное имя!.. — вот чему учил нас этот день.

И тревожная мысль закрадывалась в сердце: а будут поминать честью потом, в свое время, и наше имя?

Но веянье зеленых крыльев весны и глубокая синева родного неба не давали нам углубляться в эти думы.

...И опять — словно висящая в воздухе над обрывом замшелая крепостная башня и над ней сияющая полная луна в прозрачном небе майской ночи, а внизу, в долине, — цветочные кущи и ряды цветущих лоз в виноградниках, обвивающихся мощными побегами вокруг опор... Пьянящий аромат, разлитый в воздухе, мерцание тысяч светляков, осыпающийся липовый цвет и негромкое журчанье, робкий ропот маленькой речушки...

После гибели Шалии перестал появляться на развалинах крепости призрак Хварамзе. Слезы Чахтауры умиrotворили его — так утверждала столетняя старуха Хванаки, та, что жила под горой, на краю деревни, близ старой крепости.



## ТАМАДА

*Посвящаю Николаю Тихонову*

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

На второй день Нового года пришел к нам в Швлискури житель села Шатровани Таха и пригласил моего соседа Гвинджуа Поголашвили к себе в кумовья.

— Два мальчика у меня родились, двойня. Будь им крестным отцом!

Гвинджуа не стал уклоняться — детей крестить не отказываются, от купели отворачиваться нельзя. Только из вежливости сначала посоветовал поискать кого-нибудь попочтеннее, выбрать кумом более уважаемого человека.

— Ты для меня самый почтенный человек! Уж я некал, выбирал — вот тебя и выбрал. Соглашайся, мирокрещальное не отталкивай! — упрашивал его Таха; потом, изловчившись, выдернул у него из чохи газырь и спрятал к себе в карман. — А вот и залог! Нечего упрямитесь! На крещение пожалуй ко мне в Шатровани, и побратаемся над купелью. День-то ведь праздничный, от дела не отстанешь!



— Ладно, будь по-твоему! — согласился Гвинджуа и, сдвинув на лоб войлочную шапочку, почесал в затылке...

Оба были люди семейные, домовитые, степенные, уважаемые соседями, из сельских старейшин; и по достатку друг другу ровня: оба хлебопашцы и виноградары, обоих радовали высокие, шелковые нивы и тесные ряды лоз, увешанных гроздьями...

Приглашением в кумовья Гвинджуа был в особенности обязан своей славе тамады. Во всей округе славился он благодаря своему крестьянскому красноречию. Были ему ведомы любые словесные крюки и извороты, для всякого слова, сладкого или горького, умел он найти время и место, а иной раз так глубоко метил и так метко попадал, что послушаешь, диву дашься! Важно говорил, с достоинством, не любил болтать пустяки, щекотать слух людям. Не источал меда и патоки — но и грохотом не оглушал. Не по душе ему были высокопарные речи и куцые, бескрылые мысли!

— Слово скажи такое, чтобы в жилах кровь заходила!

Не подумайте, что Гвинджуа был какой-нибудь темный человек — он знал наизубок много стихов Важа Пшавела! И самого Важа встречал — однажды в Тианети даже посидел с ним за чаркой в духане, чем немало гордился.

Ясно запечатлелся в моей памяти Гвинджуа. Рослый, по-медвежьки могучий, с заросшей волосами грудью, с густыми толстыми усами, с крупным носом... Добродушный, нелукавый, смелый и прямой... Силы в плечах хоть отбавляй...

Но кроме красноречия было у Гвинджуа еще одно неоценимое свойство, из-за которого его особенно охотно приглашали в тамады: хмель его не брал, он никогда не упивался до потери разума.

Ни разу он не покинул поля битвы, не доведя ее с честью до победного конца, не встал из-за стола без прощальной, заключительной здравицы, которая обычно увенчивает пир и в которой призывают покровительство «всех святых». Это было его главное достоинство — и немалое! Сколько раз приходилось мне видеть, как слабосильный тамада в самом разгаре веселья, скомкав порядок пира, поднимает гостей из-за стола, и все хлопоты и приготовления хозяев, их заботы и затраты

оказываются все равно что выброшенными в воду! Нет, заполучить нехмелеющего тамаду — это большая удача, важное дело! Для этой последней задравной чаши, «всесвятской», приберегал обычно Гвинджуа самые блестящие перлы своего застольного красноречия. Тут-то он и должен был блеснуть огненным своим словом, окончательно покорить гостей и хозяев и утвердить свою славу мудреца и златоуста.

Эту заключительную здравницу Гвинджуа любил превыше всего — и неизменно старался в ней отличиться. Речь свою он при этом строил хитро, замысловато, подходил к предмету издали, извилистыми стежками — и очень этими тостами гордился.

Знал Таха, кого пригласить к себе в тамады, не ошибся!

Каждый новый пир под главенством Гвинджуа вилетал свежие лавры в венец его славы.

— Тот, кто в грузинском гнезде оперился, не должен вставать из-за стола без прощальной, «всесвятской» чаши. Такой у нас порядок, этим мы землю нашу почитаем! Кто дал нам право нарушать завет отцов и дедов? Не только сыновьям и внукам — самым дальним потомкам должны мы передать этот обычай!

Не столько само вино, как раздолье пира, шум и веселье любил Гвинджуа. Лишнего он никогда не пил.

— Вино в стакане — как цветок! Разве можно подливать воду в вино? Нельзя стакан встряхнуть, чтобы вино не испортилось! Тот, у кого нечистая душа, кто таит злобу в сердце, кто не верен дружбе, кто ест неправедный хлеб, недостойн пить вино! Бог дал нам, людям, вино для веселья, для раздолья, для дружбы, а не для ссор, не для драки и человекоубийства! Вино, как меч грузина, кривде не служит!

Искусство тамады Гвинджуа высоко ценил, считая его большим достоинством, украшением человека.

— Этим я всему свету известен, за это меня всюду привечают! — говаривал он.

— Сколько лет мне жить, сколько я здравниц с чашей в руках произнес! — гордился он собой.

Вот один из его тостов:

— С этим рогом в руке хочу от чистого сердца пожелать тебе долгой жизни! Живи до тех пор, пока в Кахети будет струиться из давлений и бродить в кувшинах вино! Пока твердь земная у нас под ногами не

изотрется так, что не сможет выдержать тяжесть наших шагов; пока не пересохнут все реки, моря и озера и земля не будет сгорать от безводья! И еще скажу — видал, как, бывает, радуга перекинется мостом поперек небосвода и радуется взор своей игрой? Пусть так же радуется и веселится твоя душа!

Никогда не померкнет над землей солнечный луч! И так же пусть никогда не погаснет для нас твое имя!

И пусть враги твои истекут кровью, как истечет вином до последней капли этот рог, когда я его осушу! Век тебе солнцем любоваться, живи тысячу лет! — И, осушив рог, переворачивал его со словами: — До капли! Так же сгинуть твоим врагам!

Так говорил с чашей в руке предводитель и военачальник рогов и чарок Гвинджуа — величаво, торжественно, горделиво.

«Хороший тамада чести дому прибавит!» — думал Таха по пути к себе в Шатровани.

Новоявленный кум Гвинджуа Таха был крепкий, деятельный, бодрый человек с усами и бородой цвета соломы. Нравом он обладал горячим — говорили, что жена ему попалась строптивая, жесткая, да он умягчил ее хворостиной...

Работающий был Таха крестьянин, хозяйственный, погреба у него ломились, амбары трещали. Имел, как говорится, добро и достаток, на что прожить и чем пропитаться. В нынешнем году уродилось у него целое море вина — и так был дом полная чаша, а теперь стало всего через край! Соседи говорили, что Таха — счастливого рода: к его отцу будто бы даже прибегала из лесу ручная дойная лань!

Рачительный хозяин, Таха не был, однако, прижимист. Человек тороватый, он любил гостей и любого принимал с почетом и лаской, как родного отца. И уж ничего не жалел — угощал щедро, все ставил на стол, что только было в кладовой. Недаром жена то и дело бранилась с ним, твердила, что он готов пустить по миру семью ради своего хлебосольства. Любил Таха старинное застолье, любил, чтобы все было по обычаю и по чину, — и потому выбору тамады придавал большое значение. Тамада ведь украшение стола!

«Слово у тамады должно быть меткое, борзое, налитое! — размышлял о будущем своем празднике Таха. — Золотые у него должны быть уста, и чтобы стру-

ился из них нектар, никогда не высыхая! Большой спрос с тамады, много от него требуется умения! Должен он всех гладить по шерстке, избегать шершавого, поперечного слова, блюсти чин и приличие; в любую минуту должен быть готов развеять досаду у гостя, помешать пьяной сваре расстроить веселье, отравить сладость хлеба-соли, покрыть хозяина и гостей позором. Словом, от него зависит честь и добрая слава всего села, всей общины!

Все тосты должен вспомнить, ни одной заздравной чаши не пропустить: «поминальную», «всемирную», «ведренную» и ту, завершение пира, «всесвятскую», ну, и прощальную, посошок на дорогу, «запорожную»... Пир должен довести до самого конца!

Если тамада хорош, то и хозяин в лепешку на радостях расшибется!

...Ну, Гвинджуа — тамада отборный, лучший из лучших: серебряное горло, ума палата, правильный человек! Нет, право, удачный я сделал выбор!» — заключил в мыслях довольный собой Таха.

Настал и праздник водосвятия. Ясный задался денек, настоящая «гостевая», «дружеская» погода.

Знаете, что такое гостевая погода?

Не знаете?

С утра повалит ленивыми хлопьями тихий, сонный снежок, тронет землю легко, ласково, безмятежно, забелит все вокруг, а потом прояснится, и если ты — деревенский житель и урожай у тебя уже убран и размещен по закромам и погребам, что тебе делать дома, да еще в такой погожий день? И вспомнишь ты вдруг, что давно уже не выделся со своими, с близкими людьми — в летнюю и осеннюю страду не было минуты свободно вздохнуть, а теперь самая пора проведать родных, свойственников, друзей, провести с ними часок-другой за беседой. Подумал — сделал: соберешься — и в путь; навестишь, порадуешь друга и сам порадуешься. Вот что такое гостевая погода, день ласки-привета!

Гвинджуа нарядился по-праздничному: надел новый ахалух в крапинку и особенную, для таких случаев припасенную чоху, а поверх чохи закутался в овчинный тулуп, повязался башлыком, как чалмой, сунул под мышку крешкую, кизилую хворостину и пустился в путь-дорогу... Вскоре он уже подходил к дому своего новоприобретенного кума в Шатровани.

Вон во дворе душлистый дуб, заснеженная смоковница... Детвора высыпала навстречу, поглядеть на крестного. Цепной нес в дальнем углу двора полаял, полаял и, поняв, что пришел свой человек, умолк.

Домочадцы Тахи тоже нарядились... Ребятишки были в пестрых ситчиках и бумазее. На голове у хозяйки развевалось девственно свежее лечаки. Кое-где виднелись и старенькие лечаки соседок.

Вот Хатута — махровая роза в соку; вот изможденная вдова Бухрии, в трауре по брату, с распущенными волосами; вот румяная Тавтуха, пышнотелая, как взошедшее тесто; ясноглазая, веселая, как кумач на флаге, Татия, дочка Фурфуты Таш-Дарико; Назика — ославленная женщина, изжелта-бледная Нушо и еще другие, все — дочери матушки-Нори, приглашенные гости или соседки, явившиеся на помощь хозяйке.

Одни накрывали на стол, другие несли от соседей одолженные стулья и трехногие табуреты, чашки, тарелки и иную посуду. Хлопоты были в разгаре — дело непуточное, устраивались крестины, кахетинское щедрое угощенье, с яствами и разносолами, досыта и доньяна, гульба-пированье у доброго хозяина, которому никак нельзя лицом в грязь ударить!

Сам Таха крутился тут же, поблизости, разделявая на почернелой колоде ошпаренную свиную тушу. Во дворе стоял крепкий дух горячего хлеба, поднимавшийся от врытой в землю печи — тонэ. Буйное пламя устроенного рядом очага рвалось к небесам. Большой черный котел на тагане клокотал, бурлил, сходил с ума; другие, поменьше, суженные кверху или подвесные, с дужкой, шипели, вздыхали, шептали и пели, желтая пена поднималась в них и переползала через края. В одних варились куски жирной свинины, в других — говяжки лопатки, в третьих — крупные, янтарные куры; даже широкогорлая глиняная крынка не стояла без дела: в ней булькала сдобренная орехами душистая похлебка... Обе дворовые собаки валялись неподалеку от очага разморенные, одуревшие от запаха мяса.

Крестного Гвинджо встретили радушно, приветливо. По старинному обычаю, повели его сначала в винный погреб — марани, где приятно пахло от больших корзин, доверху наполненных яблоками и айвой. С потолка свисали снизу виноградных гроздьев, ветки с двумя кистями — «акидо», вязки лука и чеснока. Огром-

ный давящий ларь, долбленный из целой колоды, чернел в углу; он уже отслужил в этом году свою службу и был наполнен тыквами и картофелем. Под ногами виднелись обмазанные глиной крышки врытых в землю куври, винных кувшинов, а у стены были прислонены скребки из древесной коры, на шестах, для их мытья. В другом углу громоздились, словно поленница дров, брусья каменной соли.

Красное вино достали из кувшина перед приходом гостя; а теперь при нем распечатали другой кувшин, розового.

Вино в нем было — янтарь с лалом!

— Что это, на меду настояно? Нет, право, — мед и молоко, вместе слитые, — одобрил его Гвинджо, осушив чарочку на пробу.

Вскоре появился и второй крестный отец, богатырь с виду, огромный как гора, топором тесанный, по прозвищу Мгелхара. В косматой, надвинутой на лоб овчинной шапке, с аршинным кинжалом у пояса, он ввалился, сотрясая землю тяжелым шагом, в самом деле похожий на бугая. Гвинджо и Мгелхара познакомились, протянули друг другу медвежьи свои лапы: с этого дня они становились крестными братьями.

— Это вот красное вино — что твое причастие! — сказал Мгелхара.

Тут же в марани, на крышке ларя, расстелили на скорую руку голубую скатерть, сорвали с вертела куски дымящегося шашлыка, отхлебнули вина из чаши-братины в знак дружбы и любви. Недаром сказано: утренний завтрак — душе утеха, желанней богатого приданого!

И Таха, и Гвинджуа, и Мгелхара были твердо убеждены, что в истоке времен бог сотворил крестное братство, кумовство. Так ведь оно и говорится:

Кумовьев и миро  
Создал бог вначале.

Что ж, бог знал свое дело! Как же иначе? На чем бы держался белый свет, не будь между людьми кумовства, священного братства? Не пропадать же миру без божьей благодати! Вот почему так принимали Гвинджуа и Мгелхару, которые, как говорится, вносили миро в дом.

— Мирницей Мцхетской клянусь, пусть меня когда-нибудь тебе изменю! — клялся Гвинджуа новому куму.

— Свидетели мне бог и ангел очага, я тебе брат душой и сердцем! — побожился в свой черед Мгелхара.

— Отныне ваша удача и ваш прибыток — радость для меня; честь и благодать вы принесли моему дому! — ве остался в долгу хозяин.

Наскоро пожелав друг другу здравия, они вышли из марани. Крестных отцов повели осматривать двор и усадьбу. Заглянули и в хлев — похвалили упитанную скотину, буйвола Мзеварду, буйволенка Прему, корову Демфилу...

Во дворе у Тахи собирались гости. Родичи, друзья, приятели, свойственники, соседи, сотоварищи и доброты — все до единого явились поздравить его в счастливый день... Стол у щедрого хозяина ломился от изобилия хлеба, вина, мяса и всякой иной снеди; был здесь урожай года, плоды праведного труда, дары утучненной потом и кровью земли!

Накрывался стол, готовилось угощение, выстраивалась на скатерти рядами посуда... Все на свете имеет свой чин, устав и порядок — а тем более пир и праздник. Взять хотя бы свинопаса Хоталу, что помогал Тахе разделять тушу кабана, — работяга, а дубина, бестолковый малый, все делает вкривь и вкось; не потому ли он остался неженатым, что не знал застольных порядков? Спросите женщин, они вам расскажут, все, как было! Хотале не отдали стоворенную невесту затем, что он будто бы человек грубого нрава, неотесанный, не умеет себя на людях держать! Явился он в дом к своему будущему тестю смотреть невесту, а хозяева посадили его за стол. Подали вареную курицу, цельную, на блюде.

— Ну-ка, разрежь! — сказали жениху.

— А я не умею!

В самом деле — откуда было бедняге свинарю знать, как полагается разрезать курицу? Тесть, добродушный старик, тоже свинопас, подсказал ему шепотом — дескать, сначала ножки отдели; но бестолковый Хотала не понял, что ему говорят, и сам не сообразил; так и не сумел с курицей управиться. Ну, в тот вечер его угощили, честь честью и спать положили, а наутро объявили:

«Нет, дружок, не отдадим тебе девушку, не про твою она честь...»

Так осрамился Хотала, и поделом ему было. Экий недотепа: сдашь ему с рук на руки пятерку гусей, а он умудрится полдюжины потерять! Поручи ему осла на привязи — и того не сумеет уберечь. Откуда ему было знать застольные обычаи?

Солнце уже склонялось к закату... Наконец гости сели за стол — вернее сказать, чинно пожаловали к столу.

Во главе стола усадили родоначальника и старейшину семьи, дедушку Амирана, дремучего старика с белой и пушистой, как вата, бородой, обремененного годами, едва ли не перешагнувшего за столетие! Натрудился, намаялся за долгую жизнь, усердный хлебопашец, радетель и заботник семьи, воспитатель детей, внуков и правнуков... Ныне дедушке Амирану впору было печься лишь о своей душе, и он жил на покое — только, пока хватало сил, возделывал крохотный «номинальный» виноградник, чтобы могли помянуть его после смерти, не попрекнув чаркой вина.

— Как живешь-можешь, дедушка? — спрашивали его, здороваясь, гости.

— Не тот уж я теперь, что раньше, ребятки, жидковат стал, колени подгибаются и один глаз совсем плохо видит; эх, старость — не радость! Уж смерти жду, пригорюнясь, а все мир к себе тянет! — отвечал он, по-сасывая черешневый чубук.

Глянет старый дедушка на уставленный яствами стол, на все это изобилие благ земных, вспомнит о своей немощи, о беззубых своих деснах и вздохнет: «Эх, вот беда — что в охоту, то неумоготу!..» — и размачивает кусочек хлеба в вине...

На тахте сидела, недвижно и дремотно, как сова, супруга дедушки Амирана, мать девятерых детей и бабушка двенадцати внуков Марадия, ветхая, истаявшая, иссохшая от векового труда, состарившаяся вместе с мужем на одной подушке. На коленях у нее лежала мягкая думка. Едва хватало у нее силы сидеть за столом! Она казалась окаменевшей и незрячей, но на деле вряд ли что-нибудь в доме укрылось бы от ее всевидящего, острого взгляда. Со своей тахты она распоряжалась столовыми хлопотами, наставляла хозяек, понукала снох.

Из задверного угла, нахохлясь, как старый голубь-

дутьш, выглядывала другая, младшая бабушка, Тапана, — пасмурная, сумрачная... Слыхали притчу: вернулось солнице к матери ввечеру — а мать спрашивает: «Кто на свете всех жалейчей?» — «Девка-вековуха в родительском доме да теща у зятя!»

Так оно и было...

«Зватый», собиратель гостей, всеобщий сельский бирюч Тлошиаури вчера с ног сбился, бегая по деревне, приглашая соседей на крестины. Впрочем, особенно упрашивать никого не пришлось!

Вот он, познакомьтесь! — служитель брюха Тлошиаури; ненасытно жадный любитель застольщины, охочий до угощения, как ворон до падали! Словно муха на свежне потроха прилетит, появится откуда ни возьмись за любым столом, у кого и где угодно! Неизменный пробовщик и отвеदыватель чужих яств, сытый чужой хлебом-солью, толстый, разжиревший... О Тлошиаури говорили, что он вышел из материнской утробы со всеми зубами во рту!

— Утром, как пройдуся по улице, увижу — дым валит из труб, потяну носом и сразу по запаху определю, что у кого на обед, — хвастался прожорливый Тлошиаури.

Когда этот доброволец рассыльный, вернувшись из обхода, перечислил по именам всех приглашенных, дедушка Амиран отдал приказ:

— Позовите Качу, мы с ним друг другу под стать! Жаль беднягу, живет взаперти, всеми позабытый!

И в самом деле, как не пожалеть Качу — одинокий человек, без роду-племени; всех схоронил.

Был у него сивый, шелудивый осел, чтобы в лес за хворостом сходить или на мельницу, да и тот свалился с обрыва; с тех пор остался у Качи только пес Ботвера, больше ни на кого не мог он рассчитывать на этом свете!

А Ботвера был пес свиреный; попадись только — не уйдешь от его голодных зубов!

Кача жил за деревней, на отшибе; хижина его стояла на самом гребне неприступного скалистого мыса. Отчасти из-за дальней дороги, отчасти из страха перед собакой, те, кому была нужда в Каче, всякие сборщики и деревенские начальники обегали его, и Кача, нищий, жалкий Кача, жил точно в независимом княжестве, один-одинешенек. Толстяку Тлошиаури до смерти не хоте-

лось лезть на крутую гору к Каче, но дедушка Амирам бросил на него такой повелительный взгляд, что малодушный посыльный сразу позабыл все свои колебания и пустился в путь за особо желанным гостем... Шел по узкой тропинке, колыхая выпяченным брюхом и спотыкаясь, Тлошиаури — а перед мысленным взором его стояли жирные свиные шашлыки, что ждали его на крестинах, и он бодрился, шагал без роздыху...

Вот уже и окрестили золотоволосых младенцев поп Охрохина и дьякон Азария... Благословили, освятили стол, но сами недолго оставались: у священника были дома гости, а дьякон не посмел задержаться без начальства. Не беда — Таха послал им на дом целый хурджин снеди и вина и тем обеспечил себе спасение души!

Забыл сказать, что воду для крещения дедушка велел доставить особо из Соколиного источника, чтобы дети выросли с соколиной удаляю; одного мальчика назвали Гелой, другого — Арсеном! Впрочем, дедушка называл их ласково Гринчолой и Кокрочиной.

Кто только не был приглашен к Тахе!

Чуть ли не вся деревня была здесь. И все люди с прозвищами, вряд ли кто собственное крестное имя сумеет вспомнить!

— Дэвкажи — «Кремень-богатырь», Поладгула — «Стальное сердце», кум Мгелхара — «Волк-Бугай»...

Вот косой каменщик Хичала в кожаном переднике, вечно навеселе. Бывало, выведет стену доверху и вдруг закричит с нее: «Сторонись!» И в самом деле, злополучная стена с грохотом рушится людям на голову или заваливается вбок...

Село, однако, уважало Хичалу: и на том, дескать, спасибо, от иных и того не дожدهшься!

Рядом с каменщиком сидел мрачный как туча Чанчуха, мелочной торговец, прогоревший, верно, от покупателя сглаза. Черная тоска глодала Чанчуху, время от времени он горестно вздыхал: «Ох, по миру пойду!..»

Пониже — деревенский цирюльник, надутый бахвал и пустозвон, о котором говорили: когда черти в аду варят шилаплов, он уже тут как тут, перцем пощипает!

Еще ниже: человек добра, всеобщий благожелатель, любого готовый уважить, чистый, как горный ключ, — плугарь Тариман.

Виноградарь Джимшита, от которого не услышишь ни о ком худого слова.

Бердики — отменный косарь и жнец.

Греули — полевод, человек щепетильный и притом легкой руки, удачливый.

Грохия — лесовик, лесной объездчик, дубоватый, топором тесанный, сидит — подремывает, говорит — топчется, тявет.

Стекольщик Клико, покачивающий длинными усами, вкрадчивый, коварный и злокозненный, проводчик и подглядчик, враль и лжесвидетель, зеленоватый с лица — не человек, а паутина, говорили о нем.

Польщик или полевой сторож Круча, «Сонный язык», мямля, похожий на растопыренное дерево! Мшистый, кустобровый, глаза-щелки...

Тохитара — щедедушный человечек, в чем душа держится, без огня, без звезды, без крыл... И сколько еще других? Пожаловал к Тахе и «Надставной» — долговязый, тощий человек, такой вышины, что казалось, на одного верзилу нарастили другого.

Ципруа — хлопотун, припрыга и тороныга, забитый и запуганный бедностью и свирепой женой!

Свинарь и телятник Бачхура, с проломанным носом.

Безъязыкий и бессловесный Косине — дровосек, в рваной чохе.

Не подумайте, однако, что у Тахи в гостях можно было встретить кого попало! Нет, тут были отборные, степенные люди! — Румбия, Хлартия, Боти, Бавджура, Лачина, Клортя, Закута, Одоча, Пумпла, Клицо, Квишрапа, Гинтала, Батата, Хицва, Кбагия, Таракуча, Лопо, Цверикмазия, Литридзира!

И еще: Бачичаури, Титлия, Брацана, Цицлиба — куда уж причудливее прозвища! — гроза стола, знакомый уже нам Тлошиаури и Хотала — от него уж не отвертишься!

Ах да, и еще один, не помню точно, как его звали — Бохо. Хехе или Хохо! И, наконец, какой-то забредший с загорской стороны, выскочивший из дремучих лесов охотник, Годердзи... Ну, и наши деревенские парни, молодцы как на подбор, один к одному.

Понимающий человек, окинув взглядом стол, подумал бы словами песни: «Дэвов свесть, собрать не трудно, как их с миром развести? Взвоят волки целой стаей — недалеко до беды!»

Радовались друзья кубка и рога, обладатели дюжих хребтов и плодovitых лоз, полных по осени закромов и кувшинов в марани!

А в другом конце стола разместились гости поскромней — неимущие крестьяне, те, у кого ни добра, ни скота, ни скопов, ни прибытков, ни проку от трудов, ни в деле удачи; пришибленные нуждой бедняки в заношенных шивелях с солдатского плеча, в залатанных ахалухах, в синих бязевых шароварах и дырявых каламанах... Эх, по правде сказать, не место им было на таком пиршестве!

И они, сознавая это, смущались и робели. Живущим в скудости и недостатке, привязанным у дверей свирепого господина — голода, им было не по себе за этим ломящимся от снеди столом, где масло текло ручьями. Глядя на горы свежеспеченного хлеба, наваленные на деревянных лотках, — все эти длинные шоти, сложенные, как полотенца, тонкие лавашы, сдобные назуки, — они вспоминали черствую ячменную краюху, что ждала их дома, и, подавленные этим изобилием, занятые мыслью о хлебе насущном, жалели своих полуголодных жен и детей.

Дедушка Амиран, человек минувших времен, но со свежей памятью, рассказывал стародавние были, которых сам был участником. Вспомнил он, как некогда Шамиль ворвался в Кахети, и как горцы увели в полон дочерей Давида Чавчавадзе из Цинандали. За похитителями выслали погоню, и дедушка Амиран был в отряде. «Отчаянный я был, все к сабле тянулся», — говорил старик.

Рассказал он, как явился ему перед самым походом в Дагестанские горы дед его деда. Нет, не во сне это было, а наяву. Сидел дедушка Амиран в саду, прощался с любимым своим вековым орехом, думал — придет ли еще его увидеть? И вдруг стало как-то очень светло, разлилось среди дня яркое сияние.

— И вижу, идет ко мне статный, осанистый богатырь, ни молод, ни стар, ни худ, ни тучен, одет в бурую чоху, шашка за ним по земле волочится; шагает — свет струит, а лицо суровое. Подошел, потряс ствол огромного ореха, потом встал передо мной и говорит: «Я твой прапрадед Торели, смотри не осрами меня, парень! Доброе имя дороже богатства, рапы и тяготы почетней гульбы и праздноштанья! Мы врагов отгоняли,

с мечом в руках охраняли отчую землю! Не отступай-  
тесь от Грузии! Поменьше речей, побольше дела!» И  
вдруг исчез, растаял, словно и не было его. С тех пор  
сердце у меня стало железное: ничего не боялся! Когда  
другие уже разувались, я тогда обувался!

— Расскажи, дедушка, как ты с Шамилем воевал? —  
спрашивали мечтавшие о бранной славе ядреные парни.

— На войне мне не пришлось сражаться, а вот в  
погоне бывал частенько. Как-то раз скакал я за раз-  
бойными людьми, а они отстреливались, и одна злодей-  
ка пуля угодила мне в грудь — да застряла в газыре!  
Плоть у меня была точно заговоренная.

Простодушно, без прикрас рассказывал старый де-  
душка, приговаривая то и дело: «Дай бог тебе дол-  
гую жизнь, а мне — спасение души!»

— Скажи, дедушка, что-нибудь такое, чтобы нам  
послушать, поучиться! — упрашивали старика дюжие,  
ражие молодцы, в самом соку — хоть завтра женить!

— Правду, добро, милосердие — вот что в душе дер-  
жите! Веселитесь вволю. Мы уйдем, другие останутся,  
только и возьмем от жизни, что порадоваться успеем!  
Ненасытный глаз с пути собьет. Будьте довольны чест-  
ным куском; труд, пролитый пот, усердие — вот самое  
большое богатство! Отвернитесь от хлеба, коли он чер-  
том испечен!

Развеселившись при виде сытной, обильной еды, кре-  
стьяне перебрасывались шутками.

— Что это с тобой случилось, друг? Прежде ты был  
ростом невелик, а нынче вроде стал повыше! — гово-  
рил Надставному давно не встречавший его знакомец  
из соседней деревни.

— Да как ты не догадываешься? Это его черти растя-  
нули! Эх ты, неладный, нескладный! Эх ты, пустомеля!

— Ах ты орясина, ах ты поросячий хвост! — ласко-  
во перешучивались, толкая в бок и хлопая по спине  
друг друга, старинные приятели.

Тамадой выбрали единогласно Гвинджуа. Он не стал  
отказываться. Все понимали, что так оно и должно  
быть — не было ему ровни и соперника! Душа заглянула  
в душу, сердце сердцу голос подало!

Пир начинался грузинский!

— Тишина и внимание!

Затаив дыхание прислушивались к тамаде. Тихо бы-  
ло, точно в покинутом птицами лесу.

А тамада нанизывал слова-жемчужины! Появилась  
счастья своим крестникам-близнецам и красно обрамил  
свою здравицу: хоть вы, мол, еще малыши, да ведь из  
крохотного желудка вырастает могучий дуб; призвал по-  
кровительство святынь Джварангелоси и Хатицховели  
и благословил заодно с крестниками всю землю грузин-  
скую...

Один из близнецов все плакал, выпростав ручонки из  
свивальных пелен в колыбели. Мать жаловалась — сла-  
бое дитя, ледащенькое, ущербное. А другому сестра от-  
ца, Танушия, дала грудь: известно, если тетка младенца  
покормит, вырастет голосистым певцом.

Бабушка Марадня все дожидалась восхода луны; а  
когда пролилось на землю лунное серебро, приступила  
к сыну: «Вынеси ущербного на двор, крикни луне: ме-  
сяц, месяц, если он твой, забери к себе, а нет — дай в  
тело войти, чтобы налился, как ты!»

Но Таха отказался: «Мы же не старозаветные, тем-  
ные люди, простынет дитя на дворе, еще хуже ему  
станет!»

— Давайте лучше не ребеночка, а Ципруа, бедола-  
гу, выведем во двор, — может, его нарастит, округлит  
луна, а то ведь еле дышит — тощий, тщедушный, куда  
уж ущербный! — пошутил каменщик Хичала и насме-  
шил женщин. А парни хотели уж схватить Ципруа, та-  
щить его на улицу, да не смогли отыскать: залез под  
стол, затаился...

Завязалась беседа, выбежало слово на простор...  
Крепковьиные, заскорузлые, ко всяким тяготам при-  
терпевшиеся нахари, привычные взрезать кременно-  
твердую целину, братались за столом... Все тут стояли  
друг друга — и сидели бок о бок, в ряд, как товарищи...  
Хоть и был каждому первый и главный товарищ —  
труд!

— Уж и наработался я вчера — до того, что дух  
воп!

Бранили нынешний урожай:

— Зерно без наливу, нет в нем тяжести! Мха на-  
пала, да и весной морозец прижал — семя не проросло,  
не успела нива силы, соку набраться. Головня колос  
иссушила, хлеба в солому пошли...

— Заморозки лист придушили, спугнули цветок, об-  
ратно в завязь загнали! А летом даже облака в небе и  
те пересохли!

А шатрованцы хвалились урожаем винограда — суды, мол, не хватило, не знали, куда вино сливать!

Вздыхали, жаловались дети невзгод, пасынки судьбы:

— От бедности даже сна лишились!

Помянули недобрым словом царя — грех, мол, на нем! — осудили его суд и справедливость! Прокляли мучителей, мироедов с тугой мошной, опутавших деревню, так, что не пошевелиться, — самих бы их в кандалы! И заключили: ничего не поделаешь, бедность — от бога!

Всего у них было не вдоволь: хлеба и солища, счастья и света!

— Господи, твоей милостью! — воскликнули алчущие света, жаждущие солища и налегли на вино.

Пенилась в чашах кровь земли, солнцем пронизанная, добытая в поте лица, — иорское вино, сок иорских струй!

С самого начала воцарились за столом душевность, ласка, любовь: речи текли полные сладости, пересыпалось слово самого чистого отсева.

Умягчались, наполнились медом сердца... Река с рекой сливается, душа — с душой...

— Эй, друг и брат, сердцем ко мне прилепись, в душу меня прими! — тянулись, умиленные, друг к другу.

— Сердце за сердце мне отдай, в грудь вложи!

— Друг другом живы будем!

Хлебосольная хозяйка цвела, сияла, радовалась душой. Резные ореховые лотки и блюда так и летали то в дверь, то из дверей... Чаши, кубки, чарки, роги, замысловатые кувшинчики смотрели с полок, ждали вызова тамады.

А тамада сидел степенный, важный, в сознании своей власти и своего долга... Избранный пиром, поставленный во главе стола, помазанный на царство, единый со своей паствой!

Золотоволосые младенцы смеялись, высвободив снеженатые руки из свивальников, тянулись к матери из колыбели.

Вдруг появилась за столом, сияя красотой, как радуга, молодая хозяйская сноха Дудгуба — жена младшего брата Тахи, который отбывал с прошлого лета в России воинскую повинность. Бабушка Марадия держала нисьма своего младшенького, пришедшие с далекого се-

вера, под подушкой и орошала их слезами. А помнила ли о муже молодуха? Не знаю... А только женщины все шушукались: «Негодная!»

Невестка — майский день, смеющаяся весна! Хрусталь и лал! Лицо — кровь с молоком, очи — как темная ночь... Четыре толстые плети-косы — по самый пояс! Ступает как пава, то и дело зардеется как маков цвет. Хороша и лицом и станом, так и пышет — самому солнцу в сестры годится. И знает свою прелесть, чувствует свою силу! «Ну, кто со мной сравнится?» И платье светлое, розовое — под стать самой розе! Все радовались, глядя на нее: стройна, как взметнувшийся тополь, улыбнется — цветок из уст уронит; и стоит стыдливо, скромно... Как велит крестьянская поговорка: «От бабы больше трех слов за день не требуется»... Поступь ее, легкая, фазанья, всех сводила с ума. «Взор мой тебя дождался!» — думали восхищенно, глядя на нее. Но никто, ни один человек не пожелал в душе ее поцелуя: «Всякая красotka — жене твоей сестра!» — этого никто не забывал!

Оправдывал надежды хозяина Гвинджуа, славный тамада! Из уст его сыпалось чистое золото. Океан-море разлилось силой его речей, а через то море он словами мост перекинул, и лестницу воздвиг, и запросто к ясному солнышку в небеса поднимался... И впрямь, несравненный был тамада, всем толумбашам толумбаш! Розы и жемчуга сыпались дождем на пиру у Тахи!

— Что весельем не разыграешь, дом, почтенных мужей полный? — громким голосом вскричал дедушка Амиран, окинув взглядом молчаливых, все еще скованных, стесненных гостей, занятых едой.

Только-только наполнил Гвинджуа первую чашу, как... просунул голову в дверь Глошнаури. Штаны на нем были разодраны, но его заботило другое: как бы не опоздать к началу пира, не лишиться первых, самых лучших кусков мяса! Он гордо показал хозяину и гостям окровавленную ногу: свирепый пес Ботвера вцепился ему в икры, выскочив навстречу из калитки, так и не впустил во двор; не сумел Глошнаури дозваться Качи — пустился наутек, прежде чем его услышали.

— Герой! Вот уж кого послал бы первым в бой царь Иракий! — насмешливо молвил дедушка.

Мужчины всполошились, перевязали посланному ранку чистым лоскутком, приложив к ней наутину, и по-

садили Тлошиаури за стол посередине, поднесли ему чашу вина, полную до краев. Дорвался, наконец, до еды Тлошиаури! Распаленный долгим ожиданием, он остервенело набросился на жирную свинину. От сала у него блестели пальцы и губы. Долго сидел он, углубившись в еду, — глотая мякоть, разгрызая кости, и представьте себе, лицо у него заметно округлилось. Так, прильнув брюхом, к столу, он дочиста прибрал, подчитил все, до чего сумел дотянуться, но никто и не заметил... Потом он пробрался на кухню; здесь, сидя на корточках у очага, он ворочал вертела с шампльками над жаром и с наслаждением прислушивался к шипенью капелек растопленного сала, падавших на горячие уголья, и возбуждавших в нем сызнова охоту к еде...

Вино текло рекой. Выпили уже за все, чем клянется крестьянин: за бога предвечного, за солнце в небе, за щедрую землю — за лоно ее неиссякаемое, за колосющиеся нивы, за матушку-лозу, за урожай садовника, за хребет воловий, за колыбель резную, за мельничный жернов, за початок кукурузный, за барана с витыми рогами, за дары полей, за шелковичного червя, за ветреного коня, за дедовский плуг и за меч предков... И кто знает, за сколько чего еще!

Гвинджуа наполнил чашу и, стукнув ею о кувшин, протягивал Тахе со словами:

— Повинуйся моей воле!

Таха покорно принимал чашу и отвечал:

— Слушаю и повинуюсь!

Со своей стороны, осушив чашу, он снова наполнял ее и передавал другому: «Аллаверды к тебе!» — укреплял стол, поддерживал веселье.

— За счастье того сироты, что останется один в хозяйстве!

— Праху и костям наших отцов и дедов слава! — поднял тамада большой рог, и крестьяне загудели, заволновались:

— Слава!

— За здравие сына орлиного царя! — снова возгласил тамада, и все одобрили его, хоть никто и не знал, что это за орлиный царевич и почему пьют за его здоровье; однако орла в душе любил и почитал каждый...

Огонь трещал в камине, рассыпая искры... Пылал, как щеки молодки... Горели грабовые коряги... Вдруг Ципруа вскричал в изумлении: «Глядите, люди, огонь

смеется! Ей-богу, своими глазами видел — лицо в пламени, смеется, как красавица какая-нибудь...»

Молодая невестка скромно опустила очи.

Все обрадовались счастливой примете.

Обрадованный Таха помешал кочергой в огне; из камина выпала раскаленная головешка, алая, как гранат. Таха отбросил ее ногой.

— Не годится огонь ногами ворошить — на том свете в зубах таскать заставят! — заметила ему старуха мать.

Сидела бабушка недвижно, точно одеревенев, так что казалось — ничего не видит!

Тут показался в дверях щеголь — музыкант Цангала со своим бесценным чонгури, который был ему и вместо жены, и вместо детей, — рябой, с испещренным оспинками лицом, желтый вихор на лбу. Он был уже навеселе.

— Что ж ты, брат? Я тебе особое приглашение послал, а ты опаздываешь! — сказал ему с упрёком хозяин.

— Что ж поделать — и то не пускали, насилу ушел! — оправдывался Цангала.

Он уже успел усладиться у другого хозяина, в Сагареджо, за другим столом!

— Ах, чтоб тебе охрипнуть! — шутливо крикнули в одиный голос застольцы, привечая песенного пастуха.

— Эй, сорока-белобока, язык твой без мозолей — выкладывай, заливайся не умолкая!

Тамада наложил на Цангалу штраф за опоздание — заставил выпить три чаши подряд, чтобы догнать остальных, а потом приказал:

— Ну, давай песен! Складывай и пой, восхваляй нас!

— Я простая певчая птица, пою, как поется, — улыбался хмельной улыбкой Цангала. — Что душа подскажет, то и в песню сложится, а хвалы вам выдумывать мне недосуг!

И вдруг с забившимся сердцем остановил взгляд на красавице молодке Дудгубе:

— Картинка моя, райский цветок! Вскипела в сердце сызнова первая любовь! Наконец-то путь мой с твоим скрестился! Так вот куда тебя замуж отдали — ох и долго же я след твой искал.

— Смотри-ка, где он меня нашел, этот бродяжка-

птицегов, — сердилась жестокая красотка. — Уж и тогда у меня голова болела от его стихков!

Цангала о каждом сложил, спел частушку — шаири, в сердцах терзал он длинную шейку чоңгури:

— Обо всем скажу стихами, чтоб на свете ни случилось!..

— Эх, стихок-другой продать бы, для чего мне, право, столько!..

— Мне соперники — Акакий, брат его Важа Пшавела!..

Но не могла полюбить стихотворца красавица молодка — скорей побелели бы ее черные дремучие ресницы!

Не цело, а стонало раненое сердце Цангалы, оплакивало растоптанную любовь.

Язык у него был подвешен на диво, всем угождал, всех увеселял, но все это краснобайство было лишь внешностью, лишь открытой для всех стороной существа Цангалы; а в глубине крылось совсем другое: душа Цангалы была окутана тоской. Сердце ему терзали память о сиротливом, обездоленном детстве, любовь к безжалостной Дудгубе, обманутые надежды, неисполненные желанья! И обиженный судьбой песенник подсылал рокочущие струны чоңгури посредниками к наглухо замкнутому сердцу своей присухи.

— Хоть бы век не рассветало — ночка сладости полна!

— Молодецкое спой нам что-нибудь, про геройские, богатырские дела! — заказывали певцу со всех сторон.

Цангала собрался с мыслями и запел:

Если молодцу зевнется,  
Значит, жажда одолела.  
А потянет в бой — почует:  
Грудь заныла, заболела.

Охотник Годердзи ударил себя в грудь кулаком — и молодуху потянуло прислониться к этой широкой груди.

В нижнем конце стола, поближе к двери, сидел угрюмый, скучный столяр «Сумерки». Это был знаменитый мастер, золотые руки, и, однако же, бедняк; он никогда не брал работу в соседних деревнях, чтобы не отлучаться из дому, не оставлять наедине свою пышногрудую жену по имени Татлаша. Муж и жена — одна плоть, и

он боялся, как бы кто третий не впутался в это единство... Вечно он хмурился, ходил с опущенным носом, глядел тоскливо, никогда не улыбался... Напрасно упрощивал его Хичала:

— Ну, засмейся, улыбнись разок — барана на радостях зарежу, клянусь памятью отца!

«Сумерки» в мыслях был дома, да и на деле уже раза два улизнул из-за стола, сходил к себе, чтобы проверить, что поделывает жена. Соседи знали его повадки и молчали — отчасти из уважения к нему, а отчасти и из сомнения: кто за женщину поручится, женщина ведь — чертов кошелек, кто из него таскает, где тратит, не разберешь! Когда столяр сбежал в третий раз, дедушка рассердился и сказал:

— Да что это, право... Хоть собаку, что ли, на его месте привяжите!

Хмель разбирал гостей...

Озорной Цангала изливал под ропот чоңгури то, что нагорело да накопело у него в душе.

— Ух, сладость! Мед и сахар! — кричали ему со всех сторон.

— Так, так! Давай погорячей! — подзуживали певца ублаготворенные застольники.

— За славой по гостям хожу, не ради еды и винопития! — хвалился так, чтобы слышно было его зазнобе, Цангала; лицо его сияло, на душе у него было светло, он смотрел то на полную чашу, то на ясный месяц, лицо Дудгубы...

А молодка... не сводила своих черных гишеровых глаз с охотника. Только он один, Годердзи, казался Дудгубе желанным. А простофиля охотник, влюбленный в оленей и медведей, даже не замечал внимания молодухи.

Охотник Годердзи был молодец хоть куда — такой красавец, что, по слухам, женщины тайком разыгрывали его между собой по жребию: богатырские плечи, тонкий стан, большие, жгучие глаза, черные, густые кудри — и впрямь можно было залюбоваться искателем оленьих следов...

На кручи быстрее тура взлетал, взор за ним не мог угнаться!

«Бедняга! С туманами спать ложится в горах, один-одинешенек!»

Жалела его молодуха, а того не знала, что, как гово-

рится, кто на жердочке родился, рад на ней и смерть принять! Охотник с Черной горы рассказывал о своих охотничьих приключениях: о блужданиях в дремучем, нескончаемом лесу, о встречах с медведями; о том, как взбирался на кручи по неверным ступеням скалистых осыпей; как увидел на вершине стадо туров, озаренных сиянием рассвета; как спугнул в лощине оленей и уложил горячей пулей ветвисторогого самца...

Как будто бы не любил хвастаться охотник — а все же твердил: нет такого зверя в лесу, чтобы от меня ушел! Возбужденно тыкал пальцем в сторону окна и повторял со страстью:

— Вон, на Белую гору посмотри, там немало оставило следов мое ружье! А теперь глянь сюда, на Черную гору, — туры тропы там в кровавых пятнах, столько настрелял я дичи!

Пригожая молодка так и тянулась к охотнику, глаза себе скосила, на него поглядывая... А Цангала все глаза проглядел, на нее глядячи, и стихами вознесил ее до небес, чтобы там сиять ей между звездами... Но Дудгуба не обращала никакого внимания на хвалы ненца.

Распаленный любовью Цангала, перехватывая взгляды, что бросала на охотника Годердзи его зазноба, понемногу падал духом. Трудно было вырвать из сердца солнцеекую, досада жгла душу огнем, цвет лица у него стал как налет ржавчины на раскаленном железе! И никто не похвалил его: «Молодец, соловьиный твой язык!», и песен у него больше не просили. Почувствовал Цангала небрежение и нахмурился.

— Слава богу, наконец-то перестала мельница молоть, можно передохнуть! — сказала молодуха так, чтобы слышно было охотнику; но Годердзи не слышал, да и не до того ему было. Ух, сколько уж времени гоняется он за белым оленем на Белой горе! Всего-то дважды его и видел. В первый раз даже растерялся — точно глаза ему застлало; при второй встрече выстрелил — да только рука онемела, промахнулся.

— Может, олень — святого Георгия? — спросил с сомнением дедушка.

— Наверно, черт в оленьем образе! — сказал решительно фуфыря цирюльник, и каменщик Хичала поддакнул ему.

— Какое там! Разве может быть черт такой краси-

вий? Ух, когда-то он попадет мне в руки? — возбужденно говорил охотник, и глаза его, зажженные мечтой, сверкали.

— Завтра чуть свет пойду на Белую гору! Возьму ушлого зверя!

— Не ходи, не надо! Без тебя ветерком развеюсь! В кудри твои вплетусь! Чоху бы тебе соткала, ворот ахалуха расшила, золотой водой ноги бы тебе обмывала! — таяла Дудгуба, чуя огонь в жилах. — Ах, осыпаться бы пылью с твоих бровей, запорошить твои ресницы!

Захмелели гости...

— «Брат любим пусть будет братом так, как Бадри был любим; со скалы свалился Бадри — бросился Усиб за ним!» — вдруг, никем не прошенный, пропел надтреснутым старческим голосом дедушка... Когда-то, как говорили, он числил себя среди невуинов!

— Долгой жизни всем вашим братьям названным и друзьям сердечным! — сказал дедушка Амираи. — Всем, какие есть, — горским и долинным, с верховьев и из низовьев, заречным и залесским — счастья и здоровья!

И, опорожнив бычий рог, поднялся, кряхтя, с места.

— А теперь — прощайте, и спасибо вам всем, а мне больше немоготу с вами сидеть!

Внуки подхватили старика под мышки и повели его к постели.

Цангала спел ему вслед вполголоса: «Стар ты, дядя, обезножел, меч не вытянешь из ножен».

Бабушка Марадия снова задремала.

Молодка-красотка почувствовала себя привольно; двигалась смелей, белой шеей поводила горделиво, сияла, как роза в солнечных лучах...

Речи тамады и румяные щеки Дудгубы придавали пиру цвет и красоту. Никто из сидевших здесь не слыл особенно речистым — но сегодня все вдруг стали знатоками! Хозяин ничего не жалел для своих гостей — хоть сыру из птичьего молока, и того готов раздобыть!

Щеголиха-молодка, хлопоча по хозяйству, внося и вынося посуду, то и дело подбегала к зеркалу в соседней комнате, вертелась, охорашивалась перед ним; но от острого глаза свекрови ничто не могло укрыться: насквозь видела она свою невестку! Строго глянула она на молодуху, убедилась в справедливости своих подозрений и разъярилась.

— Полюбуйтесь-ка — привела мне дружка сердечного прямо в дом! Сказано: женщина — чертов птенец! — вспомнилось ей слышанное не раз... И даже почудилось старухе, будто охотник сказал Дудгубе умоляюще: «Эй, красавица, сладкое твое имечко, золотая шейка, иди сюда, поближе, дай край твоего платья поцеловать!»

На сморщенном лице бабушки Марадии задвигались складки.

— Посмей только! Посмей! Оттаскаю тебя за косы, негодница! — выдохнула она со злостью. — Бедный мой мальчик! Бог ведь как ему тяжело приходится в солдатчине, а эта бесстыдница кривляется тут, с мужчиннами перемигивается! — Душа у нее болела за младшего сына, за несчастного, что тянул солдатскую лямку где-то вдалеке... Хлестнула бабушка сноху словом-хлыстом, и Дудгуба всем телом почувствовала ожог, сразу оробела, примолкла, содрогнулась, вообразив завтрашнюю ссору со свекровью...

Разгулялись гости, разыгрался пир... Всех больше веселился сам Таха.

— Раз уж тратишься без счета, что сидеть насуня брови! — шутил он, посмеиваясь над собой.

Громкие голоса, смех, гомон, вырываясь из дома, разносились далеко вокруг. Грянула песня:

Мальчик у отца родился,  
Враг же думает: девчонка!..

Гудел, гремел стол, и ворковал, вторя песне, камин.

А на дворе залиристо лаяли, брехали, тявкали собаки, и разноголосый этот лай примешивался к раскатам песни.

Напрасно гневалась бабушка на безвинно заподозренную Дудгубу!

Вовсе не думала о плотских уладах злополучная молодуха. Нет, ею владела лишь бесплотная, тщетная мечта! Вырвалась на простор, взлетела ввысь скованная волна, взыграла разок по своему хотению, да и то лишь в тайне сердца... Помните:

Десять усачей удалых  
Жгучим взором я сразила...  
Уж потешила я душу —  
Только и корысти было!

И больше ничего, бог свидетель!

— Не для тепла мы носим лечаки на голове, невес-  
тушка, а для чести! Не забывай этого! — как сови-  
ный красный глаз, как раскаленная головешка, свергал  
гневный взгляд свекрови.

Головешка обожгла, ужалила, крапивой по белой  
коже стрекнула красавицу сноху...

— Мир сему дому! — злым ветром ворвался, а вер-  
нее сказать, ввалился нетвердой походкой незванный-не-  
жданый Катата, уже где-то нагружившийся, насосав-  
шийся водки, пышущий винным перегаром.

Вот уж не хватало головешки в адском огне!

Длинный, тощий, как вертел, нос, словно петуший  
гребень, — сизо-красный, обсыпанный крупными бо-  
родавками-сливами; на чохе, у самого плеча, большая  
зеленая заплата; таков был Катата — наглец, бездель-  
ник, выжига, задира и забияка — с буйволами на до-  
роге готов бодаться! Давно уж всем намозолил он  
глаза.

— Не просили милости — сам пожаловал! — встре-  
тили его смехом крестьяне. — Никак тебя не вразу-  
мишь — хоть кол на голове теши! Нужен ты нам сей-  
час, как лисице дым, когда ее охотник из норы выку-  
ривает!

Соседи сторонились его и никогда не звали в гости:  
боялись, что затеет ссору и отравит все веселье. К тому  
же стоило только посадить его за стол — потом уж ника-  
кими силами не поднимешь, хоть упрашивай, хоть под-  
талкивай! Вот потому и обегали его за версту. При-  
гласишь разок — повадится, отбою не будет.

— Не уйду, пока не буду пьян, — хоть силой в дверь  
меня гоните! — Да только напоить Катату было не про-  
стое дело! Вечно ему не хватало вина.

С кинжалом набрасывался пропойца на бурдюк, ес-  
ли струя из ножки казалась ему тонка!

— Ох, мала ты, козья шкура, лоини, кто тебя сди-  
рал! — И не раз случалось ему испороть брюхо бур-  
дюка.

Вот и сейчас он набросился на вино, как голодный  
теленочек на долгожданное материнское вымя!

— Тот молодец, кто всласть выпьет! — Но тамада  
не дал ему своевольничать:

— Постой, дай нам с тобой познакомиться, кто ты  
такой есть! Я тут тамада, так что уж послушай меня,

как отца и брата. Пить без спроса и позволения у нас не полагается!

Катата глянул на него с удивлением:

— Это еще кто тут на меня тень наводит?

— Вышей за крестников! — строго сказал тамада, протягивая ему полную чашу.

— А если меня на крестины не приглашали?

— Все равно вышей! Добрый камень из стены не вывалится!

Тамада усмирил невзвужданного, дико ржущего коня. Следом за первой чашей на долю Катата досталась вторая.

— А это за здоровье хозяина. Вышей, догоняй нас. Катата взял протянутую ему посудину.

— Эх, нет у меня счастья, опять не рог, а чаша! Что ж, выпью, как в Евангелии написано!

И в третий раз подал ему чашу тамада:

— А это за крестных!

Катата взял и эту чашу.

— Пусть три Евангелия вас милуют, а четвертое сверху глядит! — этим он хотел сказать, чтобы ему дали выпить и четвертую.

Но строгий тамада заставил его ограничиться тремя. Катата рассвирепел и злобно уставился на него.

— Чего тебе нужно? — спокойно спросил Гвинджуа.

— Чего? Да чашки, полной саперави! Дайте мне выпить добром?

— Пока довольно с тебя, что поднесли!

— С чем тебя едят, я знаю, мята, — вся ты предо мною! — пригрозил тамаде Катата.

— Что ты хорохоришься? Думаешь, все снесешь, как горный обвал? Такой же ты смертный человек, как все, завтра в прах превратишься! Завтра тебе земля цену звать будет! — говорил тамада.

— Налей ему, пусть хлещет! — упранивал его Таха. Но тамада не согласился.

— Ладно, пусть будет по-твоему! — хихикнул пронырливый Катата.

Одержал верх тамада, поставил на место наглеца, положил конец своеволию!

Все позабыли короткий их спор. Пир продолжался. Чаши и роги летали по кругу... Гости хмелели... Гревели несни — «Оровела», «Урмули»; снесли и «Семерых

гурджаанцев»... А Катата разохотился, разошелся, пыхтел, молот без умолку:

— Я почему пью? Потому что вчера дедушка покойный во сне мне явился и просит: скорей, внучек, помяни, отмоли, выпей за упокой моей души, а то дунат меня земные грехи, ведь я на селе старостой был и уж нагрешил всласть... И то, говорит, ты опоздал с поминовением. Так уж поторопись! Да к тому же и фамилия у меня такая — Зедашидзе<sup>1</sup>, так что как мне не помянуть деда, не выпить? Вот почему я пью — а иначе не стал бы пить, разве мне до вина?

Шумел, болтал, гомозился пьянчужка, бездонная пасть, незваный гость; разгоряченный, налегал на вино, осушал чашу за чашей, всех затолкал, кто сидел рядом.

Наконец снова вспомнил про тамаду, спел ему: «Дай нам не вино, так воду, иль хоть снег принеси!»

И добавил назидательно:

— Кувшин никогда не должен высыхать!

...И вливали влажные кувшины, бутылки, хелады и гозаури, опорожнялись, булькая, роги и чаши...

Хозяйская невестка метала искры, сверкала черными озерами-глазами — дескать, поспорю прелестью с самим солнцем... Молодые горячие парни с трудом заливали вином попавшие в них искры ее глаз — не ровен час, сгоришь вместе с чохой и ахалухом, даже горсточки пепла не останется...

Только было поднес Тлошиаури горячий, еще шипящий свиной шашлык на вертеле разошедшемуся тамаде, как Катата, внезапно разъярясь, грохнул изо всех сил кулаком об стол и заорал:

— Переменить тамаду! Отставить! Сместить!

От его ослиного рева проснулась даже дремлющая бабушка Марадия.

— Этот еще откуда, на грех, объявился? Ах, сгори твоя колыбель! Кто его выпустил, сучьего выкорымыша? Бегал бы собачьими тропками, божий отверженец! Тьфу, сгореть тебе в огне и огня наглотаться! — проклинала задиру старуха — а, впрочем, в душе, пожалуй, и обрадовалась, что разбудили ее: можно было возобновить наблюдение за охотником и Дудгубой...

Три слова проревел Катата, но слова эти могли сокрушить скалы! Тамаде показалось, что с дома сле-

<sup>1</sup> Зедаше — вино, которым поминуют покойника.

тела крыша, что небо свалилось ему на голову! **Что?** Что сказал этот бездельник, чтоб ему рассыпаться в прах? В самом сердце уязвил тамаду!

И Гвинджуа повесил седую голову. Пал духом гордый тамада! Так у оробелого коня, бывает, ослабнет становая жила...

Гвинджуа не верил ушам, так неожиданно было то, что он услышал. Дерзость, непочтительность! Выходка Кататы перевернула ему душу. Он готов был занузить в наглеца тлеющей словешкой.

В самом деле! Всю жизнь восседает во главе стола, на месте тамады, Гвинджуа, а такого оскорбительного, неподобающего слова никто еще не осмелился ему бросить! Да еще так явно, во всеуслышание! Вот в чем горе! Вот что безбожно!

Отравили душу человеку среди блаженства! Тамаде, баловню пира! Подумал было Гвинджуа водворить мир тихим, обдуманым, осторожным словом — дескать, труда и усердия я не жалел, на ласку и любовь не скупились... Но потом все же решил промолчать, сохранить достоинство. Да и зачем идти против своей охоты?

— Сместить тамаду! Такое мое желание! — кричал, надрывался разъяренный его враг, черно-багровый от вина Катата.

— Почему это? С какой стати? — возразил было Тлошнаури, уютно и увлеченно управлявшийся в уголке со свиной головой, но тут же оборвал — мясистая челюсть хрюка целиком занимала его...

— Как можно? Ты, что ли, его выбирал? Сиди, немалкивай!

— Тебя-то кто спрашивает? Явился незванный и еще распоряжается! — гаркнул Хичала и потянулся к смутьяну жилистыми руками.

Овчар Мгелхара улыбнулся...

Пьяному Катате не хватило прыти сцениться с каменщиком; он только приподнялся, пробормотал: «Эх ты, укроп с огородной грядки!» — и осел обратно на скамью... умолк... Долго он еще тряс и толкал соседей, но никто ему не поддакивал, и он, обессилив, захрапел...

Тамада сидел некоторое время молча, словно утратив дар речи, потом наконец пришел в себя, сам наполнил свой рог и произнес нетвердо:

— За дружбу и за согласие!..

— Братства сень, укрой и защити! — говорил дро-

жащим голосом вымученные, насильственные слова Гвинджуа — чуть было не осужденный, спасшийся на волосок от позора, но ободренный поддержкой застольцев тамада...

Но стыд ведь — камень, огромный, тяжелый! И камень этот навалился ему на сердце. С этой минуты Гвинджуа был уже не тот, что прежде. Поникло гордо развевавшееся знамя его души! словно ему подрезали крылья — куда делись давешние его охота, готовность, властность? И уж не перебирал он легко жемчужины-слова, а вытягивал их из себя силком.

— Смотри, как он под меня подкопался! Экую свинью подложил! Нет, довольно! Подниму прощальную, всевятскую и уйду, брошу все... Для людей ведь стараюсь, ради них труды мои, мученье — а то какая мне корысть? — скорбел Гвинджуа.

В самое сердце поразили тамаду!

Осиротел стол, остался без заботника и радетеля, исчезло благочиние, потускнело веселье. Ни порядка, ни приличия! Вокруг галдели, горланили, как на мельнице; точно, перекликаясь, искали друг друга в Хархатском лесу!

— Пейте, братцы, пейте вволю, заиграй гульба-веселье! — орал Ципруа.

Богатырская кровь растекалась по жилам! Оживился стол, забродило, запело, загудело в крестьянах вино. Появился и разогретый над пламенем, увешанный погремушками бубен... Выскочил вдруг на середину комнаты охотник, прошелся в степенной грузинской иляске и поклоном пригласил молодку. Та точно только этого и ждала: рванулась с бьющимся сердцем, раскинув руки, гибкая как плеть, всех чаруя, все взоры к себе приковывая... Летала по кругу, едва касаясь пола... Весь свет попрекала своей красотой огненная жарптица...

Бубен еще пуще разгорячился.

— Хороша ты, фазаниха, хороша — на загляденье! — хлопали в ладоши гости.

Как она была счастлива!.. Но счастьем вдруг настал конец, когда вместо охотника появился перед красоткой овчар Мгелхара, затоптал неуклюже, по-настушьи, загрохотал, как горный обвал, пол под ним заходил ходуном.



— Вот встрял перед глазами, будь он не ладен!  
Словно ночь мне солище затемнила!

Таракуча, Ципруа и Тлошиаури затеяли общий пляс, чехардой, — потоптались, шатаясь и сталкиваясь, да ничего у них не вышло: так и вернулись на свои места.

Тамада сидел в стороне, в обиде — воин, покинувший поле битвы!

— Наддай, наддай жару, тамада! — теперь уже застольцы упрашивали его, но Гвинджуа погрузился в глухое молчание; словно перекрыли мельничный ручей в истоке!

— Вот так оно бывает — одна паршивая мышь упадет в вино, целый кувшин сорокаведерный испоганит! Что ты слушаешь этого обалдуя? У него мозги набекрень — море пашет, сеет песок! Что поделать — не могу же я его выставить за дверь! Ну, а завтра увидишь, как я с ним расправлюсь! — молил тамаду Таха...

А тамаду разбирала досада: почему хозяин дома тотчас же не схватил безмозглого Катату за шиворот, не вышвырнул его в скошко? И почему все остальные не восстали как один человек, не напустились на наглеца, не затоптали его ногами?

— За цветущий колос, за пшеничный цвет дайте мне выпить! — просил захмелевший плутарь Тариман, но никто в этой неразберихе не обращал на него внимания.

— Знаешь, кто я? Дэв, Анхафуз-великан! — хвалился Ципруа, тараща глаза и вытягивая тощую, как у лисицы весной, шею...

Задуй ветер посильней — и, пожалуй, свалил бы этого великана!

— Пей до капли! Не отставать! — гудел Мгелхара.

— Пей, вино молодцу впрок! — упрашивал кто-то соседа.

Таракуча вызывал Ципруа «на аллаверды», оба пили, целовались, мусолили друг друга.

А тамада, обесцененный тамада, сидел, замкнув свое сердце... Таха уговаривал его, просил развеселиться:

— Что это тебе щелчок пинком показался?

А тамада явственно слышал, как покатилося с грохотом с пьедестала и грянулось оземь его величье...

Кто поднимет из пыли упавшую славу?

— Нет, уйду, сложу с себя тяжелое бремя! Теперь с меня спросу нет: пусть пьют как хотят!..

Хозяин заметил, что тамада, отъединившись от стола, задремал, — и сам, налив чашу, стукнул ею о кувшин, протянул тамаде:

— Повинуйся моей воле!

— Нет, не могу! Вот подниму прощальную, все-святскую, и пушусь в путь-дорогу, да и пора уже, небось, дома меня ждут не дождутся! — говорил Гвинджуа хозяину и тер себе изо всех сил глаза, отгоняя дрему.

— Никуда я тебя не пуцую! Вон стужа какая, камни трескаются!

— Испортилась погода! — качала головой хозяйка.

— Ничего, не беда! Мне ненастье не страшно!

И Гвинджуа поднял было рог, чтобы призвать благословение всех святых, но тут ему закричали со всех сторон:

— За купель и миро! За кумовьев дай нам выпить!

Выпили и за кумовьев! Тут же Гвинджуа перебрал в уме, построил в боевые порядки самые свои глубоко-мысленные слова, чтобы наконец перейти к прощальной здравице, но... опять прервали его: почему не выпил за женщины? Без них мы ни на что не годимся, женщины и детей растят, и хлеб в tone лепят, и в доме день-деньской крутятся! — ласково и растроганно твердили захмелевшие крестьяне.

Пуганный тамада собрался с духом и решил свершить еще один застольный подвиг, — а там он скажет заключительную речь, выпьет напутную, посошок, и пойдет восвояси...

Гвинджуа поднял вместительный ковш, полный вина, и длинно, красно воздал хвалу женскому полу: пожелал здоровья всем присутствующим женщинам, опорожнил посудину до половины и передал ее хозяину... А уж Таха осушил ее до дна.

Да только беда, говорят, — что перепелка: выскочит перед тобой, когда ее не ждешь! Проснулся сварливый Катата — точно бешеный конь с привязи сорвался! Взглянул на тамаду, стоявшего с ковшом в руке, и заорал хрипло:

— Опять этот речи говорит? Гнать его! Отставить!

Шумел спяну Катата, — и на этот раз вторили ему

и другие, его одночасники, недопившие, мучимые дой из-за долгого молчания тамады.

Озверело слово; взволновалась, заколебалась морская гладь. Изменчиво лицо мгновенного мира!

Не мир, а меч заговорил за столом!

— На том свете тебя ищут, должник преисподней! — смело ринулся в бой против Кататы Ципруа. — Разве подобает нашему почтенному тамаде выслушивать такие слова? Но такой уж ты злыдарь уродился!

— Молчи, сквалыга! Небось сам-то гостя сроду в дом к себе не зазывал! Молчи, гнойные глаза! Вон перец у тебя стручьями из-под век лезет!

— Эй ты, шкуродер блошинный! Послушайте, чего он тут начекотал!

— Ах ты угольщикос осел, ах ты несий клык! — И Катата вдруг налетел на Ципруа, обхватил, стиснул его...

— Пустите меня, я ему покажу! — требовал Ципруа, вырываясь из жилистых рук пропойцы.

— Ну, уважь свою саблю! Ну, попробуй! — насмешливо говорил ему Катата, не разжимая своих железных объятий.

Тлошиаури, весь лоснящийся от сала, с трудом приоткрыл один глаз, но тут же снова закрыл его в сладкой дремоте...

Сценились пьянчужки, ухватили за вихры, пошли трысти, таскать друг друга. Разгромили стол — загремела в дальнем конце посуда, полетели на пол черепки, все смешалось в силошном крошеве. Те из гостей, что поосторожней, решили лучше убраться от греха подальше и — в дверь гурьбой! Заторопились так, словно украли деньги и боялись попасться на месте преступления.

— Господи Иисусе, распятый и воскресный, спаси от напасти! — стонала в ужасе хозяйка, прикрывая рукой глаза, чтобы не видеть всего этого разгрома; потом бросилась расталкивать дремлющего мужа, но никак не могла привести его в чувство.

— Нет, нет, больше не могу! — бормотал сквозь дрему Таха; ему казалось, что это встал над ним тамада с полным рогом, заставляет пить!

Тогда хозяйка беспомощно взглянула на кума Мгелхару, который сидел на своем месте спокойно, невозмутимо... И кум Мгелхара поднялся неторопливо и с силой, не щадя, двинул в ухо сначала Катату, потом его

противника; одного налево отшвырнул, другого посла направо вверх тормашками...

— Спасибо молодецкому плечу! — не скрыла радости хозяйка.

Разоренный стол... Луки вина на скатерти, на полу...

Цируа нырнул в какую-то мышиную норку, убрался подобру-поздорову. А смутьян, баламут, разоритель пира Катата валялся на полу, весь залитый вином... И все пакости, которые он натворил, и затрещина, что отвесил ему Мгелхара, и оскорбление успели уже присохнуть на нем, как кровь под ухом... Он словно ничего уже не помнил, ухмылялся насильственно и егосил: «Снедите мне остаточков из кувшина, а то не встану!»

Молодуха стояла во всей красе, точно как в алмазной росе, но никому уже не было дела до ее прелести в этой суматохе — все словно ослепли и вовсе не замечали ее быстрых, как молния, обжигающих взглядов. И красотка, забытая и брошенная, досадовала и сердилась. В душе у Дудгубы была пустота — точно в амбаре у бедняка...

А тамада?

Свесив голову, далекий и безучастный, сидел медоуст, золотослов... И не было ему дела до того, кто прав, кто виноват...

Заметно не хватало его за столом — не было больше лада и мира, не стихал гомон, не слышалось дружеских слов, смолкли ласковые беседы. Куда делись единение и взаимопонимание тамады с его паствой?

— Эх, где найдешь родную душу, Гвинджо? О чье плечо можешь ты опереться? Сердце засыпь золой, загаси!

— Стар ты, стар ты стал, соловушко! — твердил он, печально поглядывая из-под бровей.

— Эх, язык золотой, зря ты потрудился! Сахарные речи, в воду вас выбросили! Никто не оценил слово мое могучее! Эх, неблагодарность человеческая! Не жди спасибо ни от кого!

И кто же поверг в пыль величие Гвинджуа? Кто выступил против прославленного тамады? Бесстыжий бездельник, безмозглый пьянчужка, мелех и пустобай Катата! И все его приспешники немногим большего стоят! Зобастый цирульник — вот кто еще подпевал Катате! А этот пустоголовый, ничтожный Бачхура, с носом как пест! Утереть себе этот самый нос не может,

а туда же, пристал к задире, орал во всю глотку: «Смирить! Отставить!»

— Рассудите, люди! Выслушайте всеми уважаемого человека!

Но кто выслушает, кто рассудит? Эх, надвое разорвали сердце тамаде, да и только!

— Стоит ли ссориться, браниться, да еще за столом? Ешь, пей, радуйся, наслаждайся! — проповедовал, отрезвившись на минуту, Гвинджуа, к миру призывал, тишины просил: — Не будем разум терять, гневить ангела очага!

Наставление-то он прочел, попытался людей вразумить, но... тут же снова смежила ему веки дремота. Выбил тот последний ковш чашу из рук и у хозяина, и у тамады! За столом здесь и там дремали гости, свесив тяжелые головы, как созревшие колосья в поле.

Таха, как и Гвинджуа, клевал носом. Скоро оба уплыли далеко по сонной реке, в сонное море...

Эх, разве могло бы вино одолеть Гвинджуа, если бы сердце ему не затуманила обида? Уязвленного человека ведь, известно, хмель разбирает быстрее! А Таха из уважения к Гвинджуа тоже пожертвовал собой. Сказано: «Если дом твой горит, хоть руки погрей!» Но Таха не выдержал, выбился из сил! Да и впрямь: сколько было трудов и хлопот, пока готовили угощенье, — не мудрено и с ног сбиться!

Оба сидели как одурманенные. Гвинджуа развалился, словно обнимая жаркую подушку, — так что и руку, угревшись, неохота вытащить...

Хозяйка с большим трудом подняла с места сперва сонного Таху и отвела его спать на кухню: ложись, мол, здесь, пьянчужка! Потом вернулась за тамадой, потрясла его за плечо: «Пожалуй и ты со мной, крестный, отдохни вместе с Тахой!» Умная женщина видела, что плохой из него теперь тамада...

— Нет, спасибо, кума, не могу! Пойду я домой, а то уж мои там тревожатся, меня дожидаются! Вот уймутся, успокоятся за столом — я и подниму последнюю чашу, всесвятскую... Без нее нельзя уйти... — И Гвинджуа попытался было подняться, потянулся за чашей, скованный теплом, борясь с дремой, да нет — все тот последний ковш виноват! — не смог руку поднять, ногу распрямить и снова погрузился в блаженное, дремотное забытье.

Молодуха упрасивала его погодить — не без задней мысли, в надежде, что, может, и охотника попросят остаться ночевать: куда вам, дескать, спешить, на дворе мороз, отдохните, отогрейтесь в постели, а наутро уж как изволите... — и так ласково, так нежно проговорила все это, что, наверно, волосатое ухо Гвинджуа сроду не слыхало такой музыки...

— Нет, милые мои, нет... Еще одну, прощальную, и — кличет путника дорога!

В огонь все подбавляли и подбавляли грабовых коряг; тлеи раскаленные головни, жар в камине таял, как мед; от гудящего камна и от выпитого вина уютное, сладкое тепло разливалось по жилам тамады, а на дворе между тем ясное, окванное золотыми звездами небо вдруг заволочлось тучами, почернело...

Дверь распахнулась, ворвался колючий ветер, разметал по комнате охапку снежных хлопьев, нарушил блаженный уют.

Повеял из дверей холодок, коснулся горячего лба тамады, и тотчас же рассеялся туман, клубившийся у него в голове; он схватил шапку, башлык и во мгновение ока очутился у дверей, но тут какой-то сцепившийся с соседом драчун огрел его случайно кулаком по голове. Колотушка эта совсем отрезвила его.

— Помогай тебе бог! — пробормотал он сквозь зубы и выскочил во двор, во мрак кромешный, пошел вперед без пути-следа — радуясь, что унес ноги, распрощался со своей неблагодарной паствой! Никто не заметил его ухода.

Время тянулось... Гульба, веселье, забава — переходящи. Опустея и ларец раздора... Разгромленный стол недолго еще продержался — все разошлись. Стихли гам и гомон.

Молодуха подбирала с пола черепки и осколки.

Хозяйка сетовала и сокрушалась, поминала старинную братско-сестринскую любовь, взаимную ласку и уважение, хулила изменника, осквернителя хлеба-соли, нарушителя дружеской верности.

— У нынешних мужчин душа перцем набита! — говорила она.

Дубленный и вымоченный в вине Мгелхара налегал теперь на джонджоли<sup>1</sup>. Вся давешняя суматоха, на его

<sup>1</sup> Джонджоли — маринованные побеги растения того же названия.

взгляд, не стоила пустого ореха, червивой сливы! Он плеснул себе в чашку вина из кувшина, огляделся и, увидев, что пить больше не за кого, кивнул кошке, пробиравшейся по столу, среди всего этого разгрома и разора, и мурлыкавшей в предвкушении сытного ужина:

— Эй ты, крысоловка, за твое здоровье, хорошенько за домом смотри!..

Дедушка и Таха давно уже хранили наперегонки — кто кого заглушит.

А на дворе разыгрывалось ненастье; тучи мешались в небе, ветер воевал с деревьями...

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Гвинджуа шел по проулку, между двумя плетнями; потом плетни остались позади, он очутился в поле и твердо зашагал по запорошенному проселку.

— Ну, теперь меряй дорогу! — сказал он себе.

Так шел он вперед, довольный, что убрался ввремя, спасся от этой суматошной гульбы... И было ему так хорошо, точно он прохаживался по весеннему, медовому полю или по саду среди зарослей роз. Он и не замечал, как разыгрывалась непогода, как громоздились, наползая, тучи на черном небе. Вокруг клубилась мгла; завывая, налетел ветер. Вдруг, подхваченные им, задвигались, поползли, закружились клочья промозглого тумана. Белесое облако то вставало прямо перед путником, то подбиралось сбоку, то льнуло к нему, обвиняло его, как влюбленная женщина, то окутывало ледяным саваном...

Миновав сухую лоцину, что отбегала вбок у верховья ручья, он пустился в гору, по крутому, овражному подъему. Да ведь подъем — ветровое гульбище! Вдруг откуда ни возмись, скатившись с горы, выскочил из лесу ярый, ревучий ветер, заплясал с визгом и воем; колючие алмазные снежинки хлестали в глаза Гвинджуа, буря, метель, вихри летучего снега не давали ему дороги...

— Господи, поддержи путника в пути!

Вдруг повалил крупный град ивериями; словно кто-то отвесил Гвинджуа горячую оплеуху, да, сверх того, замелотил по нему кулаками.

— Кто это? — обернулся в изумлении Гвинджуа и угрожающе замахнулся хворостиной.

— Это я! — расхохотался ветер-озорник, с разгона грохнул его каменным турьим лбом и схватился с ним врукопашную — тряс, валил его, нырял ему под силки, бросал через плечо, подламывал под себя, подсекал подножкой — и швырнул-таки оземь, но Гвинджуа не сробел, тотчас вскочил и встретил буяна грудью: «Не испугаешь, видали мы таких!» Фыркая, отбивался, кружил на месте, напирал плечом, рассекал воздушный поток, рвался вперед стойкий, несгибаемый Гвинджуа — разгоряченный вином, обожженный студеным ветром.

— С цепи, что ли, сорвался? — дивился он, качая головой. Но самое жуткое было то, что по пятам за ним — а может, бок о бок — крался кто-то невидимый, неотвязный. — Кто это? Злой дух? Божий есаул? Бес или какая лесная нежить? Или ангел ветра? — спрашивал Гвинджуа себя в смятении, и волосы у него на голове вставали дыбом.

— Ох, хоть бы волк, что ли, из чащи выбежал, пристал в пути — все не так одиноко! — И выговаривал себе, подбодряя: — Держись, приятель!

Вокруг — ни тропки протоптанной, ни стежки толоченой. Не было путнику пути!

И все же не остывала у него в душе надежда.

— Недолог путь впереди! Вот этот вот косогор, потом сухой лог Грдзела, озернице Натбеура, кизильник Шиндавакэ, а там и дом мой покажется внизу... Ступишь вверх — гора, шагнешь вниз — долина! — взбодрил он себя.

А вокруг ярилась и бушевала метель. Ветер ветровой вздымал снежные вихри, бесился, скрипел зубами, как гиена, щелкал бичом... Острые алмазные иглы и снопы раскаленных искр со своего кресала швырял в глаза давешнему тамаде!

— Не осилишь, нечисть! Прямыми путями хожу — правого бог хранит! — и грудью рассекал вьюгу... Между небом и сушией стерлась черта, исчез кругозор; ничего вокруг — ни светлого, ни темного, не на чем остановиться взору; все покрыл белый мрак. Смутно помнилось только Гвинджуа, что впереди, на горе, громоздился белым чудищем снежный сугроб.

Кругом, казалось, носились со ржанием бешеные кони: а порой слышались как бы волчий вой, лай и визг собачьей своры, временами же — звон бубенцов. На



миг перед ослепшим взором путника как бы распустились диковинные цветы, потом уши ему наполнил грохот вздувшейся Нори, властвуя над всем этим адским шумом, — словом, ничего не разобрать!

Завывание и вопли снежной бури разносились над горами, грохот, хруст, звон стоял в полях; взметая глубокие сугробы, залегшие в расщелинах гор, в извилистых лощинах, буран забрасывал путника снежной крушой.

Весь съездившись, задубевший, заледенелый, брел он вперед, проваливаясь в забитые снегом расселины, наткаясь на занесенные кусты, на пни и коряги, цепляясь за разлапые ветви, чтобы удержаться на ногах. Пот прошиб его с патуги, в коленях не стало крепости... Буря таскала, трепала его за загривок — чуть что не оторвала! Он уже выбивался из сил, но, изнеможенный, загнанный, не терял духа, не сгибался, не сломился перед бедствием. Снова он упал, провалился в снег, снова налетевший ураган стал швырять его из стороны в сторону... Колени у него подламывались, кругом царил кромешная тьма... Вой и визг ветра или бесовской силы оглушал его, трескучий мороз забрался под тулуп и ломил кости. Разъяренным барсом носилась буря, визжала, шинела, рычала на него, бесновалась, осыпала его свирепой бранью и угрозами, и Гвинджуа уже вообразил себя мертвым, заочневшим в снежном сугробе, уже привиделась ему на мгновение свеча, горящая над его гробом... «Эх, бедолага, вот и черный твой день — вот где довелось пропасть ни за грош!»

— Господь, сотворивший твердь земную, наложи замок на звериные зубы, ослепи глаз ворона-стервятника!

Но какой зверь высунет нос из берлоги, какая птица вылетит на охоту в такое ненастье?

Эх, и чего ему приспичило уйти из гостей?

«Да нет, лучше с выюгой бороться, чем сидеть за столом с пьяными скотами, любоваться на их свинство! — говорил кто-то в душе у Гвинджуа. — Когда ручей замутится, из него и буйвол пить не станет!»

Ну, так держись, терни свирепый мороз, выюгу, что носится в ярости по заледенелой земле!

Буря схватила его за горло, сценилась с ним в рукопашной, подмяла его, уже почти придушила — куда уж больше?

Вихревой ветер хлестал бичом все сильнее, все бо новатей, колол иглами — точно всю зиму собирался с силами, чтобы нынче наброситься на тамаду! Вокруг намело высоченные сугробы. Верх и низ, небо и земля перемешались, переболтались между собой — и где-то между ними брел, кружил, как отверженный дух Гвинджуа. Он уж думал, что попал на самое дно преисподней. Ничего не разглядеть — ни горы, ни дерева, ни куста вокруг, не то что живого, движущегося существа!

— Господи! Дай мне узреть еще раз мир поднебесный, солнечное око!

Тут уж окончательно убедился Гвинджуа, что случилось великое потрясение земли; что затормошился в море-океане кит, на котором стоит земная твердь. Кое-как окоченевшей пятерней перекрестился он и попросил помощи у святого Георгия, обещав ему взамен заколоть упитанного тельца: «Спусти с неба цепь, Победоносец, выведи меня из этого ада!»

А бешеный ураган готовил путнику гибель; гудел, ревел, скликал свои несметные полчища, чтобы похоронить его вичком!

Еще раз налетел вихрь, обскакал его кругом, расквасил ему лицо, размолотил нос, засыпал снежной пылью глаза.

Весь заледенел бывалый тамада — мороз точно набил на него железные обручи. Посмотреть на беднягу — не сразу догадаешься, что человек идет: усы заиндевели, да что усы — ресницы и те превратились в длинные белые иглы. Так он и брел, позванивая и потрескивая ледяными сосульками.

— Будь ты проклят! — взвыл Гвинджуа в сердцах, провалившись снова в какую-то яму или рывину, на этот раз по самую шею; снегу ему набилось за пазуху вдоволь! Тут только сообразил Гвинджуа, что, спасаясь с пира, второпях забыл застегнуть ворот, так и остался с распахнутой грудью. Разгоряченный, хмельной — мудрено ли не заметить, да еще при поспешном бегстве? А теперь он ничего уж не мог поделать: пальцы одеревенели, никак не управиться с пуговицами!..

Твердь и хлябь, суна и вода — все вокруг было оледенелое...

Но неукротимый тамада все шагал, шел вперед... Крепкий, как кряжистый дуб... Нет, не шагал, а продвигался...

гался кое-как, вслепую, полз, как дубовый корень, медленно и упорно, стойкий духом, твердый, как стальная кувалда!

Метель еще раз обрушилась на тамаду, осыпала его колотушками, как кулачный боец, да с таким ожесточением, что, кажется, живого места на нем не осталось! То, казалось, засасывало его в трясину, то он не мог вытащить ногу из груды скалистого щебня, — точно тысячи бесов вцепились ему в щиколотки и в колени! И еще раз вынырнул из сугроба Гвинджуа, еще раз храбро пересек снежную целину, исхитрился протиснуться, пролезть сквозь извилистые ущелья вьюги, заглянул в глубокие ледяные пещеры, преодолел вздвигнутые ветром и обвалом белые крепостные стены, перелетел со своей хворостиной через высокие снежные башни... Ковылял и переваливался, вприпрыжку и кувирком, вздымая белую пыль, оставляя косолопные медвежьи следы. Попадись он на глаза какому-нибудь бродяге-охотнику, тот, наверное, принял бы облепленного снегом тамаду за косматого лесного зверя и всадил бы в него горячую пулю — нечего и говорить!

Все снежило и снежило, крупные хлопья сыпались густо с неба, и ветер подхватывал, кружил их... Белые мраморные глыбы и брусья громоздились вокруг... Навалы, наметы...

Похожий на белый стог, шагал закованный в морозную броню, крепконогий Гвинджуа. Шел, падал и снова вставал, и так сотни раз — заледеневший, со скованной челюстью, не чувствуя ушей, измолоченный до полусмерти, изнемогший... Словом — на грани беды и гибели!

Чуть было не вышибло из него дух! Налетал норья буря, тряс, ломал, гнул, швырял ошалелого тамаду, мороз все теснее сжимал свои тиски; на шее — пудовая цепь, на ногах — жесткие оковы: ну как, и теперь не сломинься? Не сдаешься, Гвинджо?

Но Гвинджуа встречал бурю грудью, как скала... Боролся, стоял насмерть... И вдруг, остановившись перевести дух на каком-то пригорке, по поясу в снегу, увидел вдалеке мерцающие, слабые огоньки, брезжащий свет среди мрака, и удивился, что снова узрел поднебесный мир.

Да это же его село, Швлискури! Ну да, вон впереди Махарикина гора, а у ее подножия деревня! Значит,

не обмануло его чутье, значит, он шел-таки правильно, хоть и не по дороге, а рядышком, по гребню вдоль лощины! Всем вам порадоваться так, как обрадовался Гвинджуа!

Внизу, в котловине, ночь была смирна, как ягненок, стояла хрустальная тишина; туда не доносился с вершин гул ветра, ропот стихии! Гвинджуа поглядел сверху на родное селение, занесенное снегами, и рванулся к нему всем существом, словно после долгой разлуки. Ему даже казалось, что он может отыскать взглядом свой дом, осененный высоким тополем. Спросить Гвинджуа, так он заметил даже тусклый свет коптилки, выбивающийся из его окна! Не спит, видно, жена! Крутит веретено в чашке, коротая часы ожидания! Едва ли не мерещилось ему, что он различает сквозь окно живой жар у себя в очаге, тлеющие уголья...

Язык снова стал ему послушен... Он сразу наполовину позабыл войну с ветром и стужей, яростную спибку с метелью; и широко раскрыл наконец неколотые ледяной остью глаза.

— Молодец, брат Гвинджуа, хвалю! Нет, не свалится дерево от одного толчка!

Гордый своей победой над ураганом, стоял он, присанившись, уперев широко расставленные ноги в твердую, прочную землю, и улыбался, утешенный, услаженный... Перед его взором предстал брошенный им пир во всей его пестроте — первое сегодняшнее поле битвы! — Таха, гости-сотрапезники, Катата — вот кому материнское молоко пошло не впрок! Но теперь, после жестокой битвы с вьюгой, буйство Кататы вызывало у него только улыбку...

Еще раз окинул он мысленным взором праздничный стол, вспомнил все свои заздравные речи и остался доволен собой... Да, да, ничего не скажешь — помучила его буря, лютее казни не придумать, чуть не вышибла из него дух, — а все же он добрался до своего дома!

— Вон Евстафий-угодник, а вон, на севере, — Георгий Победоносец, — узнавал он на окрестных холмах привычные очертания часовен. — А вон внизу старинный храм божьей матери, — горделивые развалины приковали его взгляд. Сколько сказано им здравниц в завершение пира, во имя пресвятой и всех святых!..

Вдруг он вздрогнул, потрясенный, онемеленный;

что-то взбаламутило его, привело в ужас. Какая мысль обожгла внезапно его мозг?

— Госноди, как это со мной могло случиться? — Гвинджуа стоял, словно пораженный громом; хотел было ударить себя в раскаянии по коленям, да не было сил пошевелить рукой...

Ветер все не унимался, налетал на гамаду, дразнил и изводил его — но теперь Гвинджуа было не до войны с ветром! Он внезапно принял какое-то непоколебимое решение, с трудом подобрал с земли окоченелой рукой свою хворостину, сорвался с места и... повернул назад, вповь, как волк, нырнул в белую вьюжную кутерьму...

Буря, обрадовавшись, наскочила, набросилась на него с утроенной яростью. Казалось, сорвались со скал снежные обвалы и низвергаются в долину, чтобы похоронить Гвинджуа!

Вьюга ликовала: заманила путника, добравшегося было до спокойных мест, назад в свое царство! И на радостях ревела, отводила душу, звонила на весь свет о своей победе.

— Нет, теперь уж меня не одолеешь! Теперь я знаю, в чем причина! — кричал ветру Гвинджуа.

И стремился вперед, обрета твердость стали, бесстрашный и необоримый — встань у него на пути железная гора, и ту, кажется, прорубил бы насквозь! Он как бы чуял в себе новый, крепчайший спинной хребет!

Не раз спотыкался Гвинджуа, порой и не удерживался на ногах; проваливался в заснеженные лоцины и с трудом выбирался оттуда, чуть не задохшись... И наконец, когда зазвонили рассветные колокола в Шатровани, Гвинджуа бодро толкнул калитку, пересек двор Тахи и громко, не чинясь, постучал в белую, занесенную снегом дверь своего кума.

— Кто там?

— Плотник, Ноева ковчега строитель! — неуклюже пошутил Гвинджуа.

И тотчас же отозвалась Ноева голубица:

— Кто, кто?

Молодуха Дудгуба, все еще нежась в сладком полусне, угревшаяся, убаюканная мечтами об охотнике Годердзи, стояла, с шалью на голых плечах, за дверью и, вся трепеща, спрашивала нежным голосом: «Кто там,

кто пришел?» — надеясь, что случилось чудо и вернется тот, кого ждало ее сердце.

— Это я, Гвинджуа, ваш кум, крестный ваших двоюшек!

Молодуха, хоть и не разобрала слов — путник едва шевелил замерзшими губами! — все же приотворила дверь, словно хотела дать проскользнуть в щелку, впустить тайком своего желанного и прильнуть к нему, прилепиться, как распластанный ком хлебного теста пристаёт к накаленной стенке топэ!

— Это я... я!

Перед молодой, все еще скованной дремотой, стоял белый, изукрашенный инеем, обвешанный сосульками стог, снежная гора. Стоял и... разговаривал человеческим языком! От страха у молодой подкосились колени.

— Да не бойся ты, сестрица! — уговаривал бедняжку растерянный снежный человек, помогая ей подняться.

— Скажи, кто ты такой? — спрашивала, придя в себя, перепуганная насмерть молодуха. — В самом деле не злой дух? Не оборотень?

— Да нет, какой же я злой дух? Именно что не злой, а добрый, с крестом и миром в ваш дом вошел!

Наконец-то молодуха пришла в себя, взяла в толк, кто перед ней... И ей даже стало стыдно за свои страхи.

А Гвинджуа тер пальцами заиндевелые усы, облупливая и обламывая на себе ледяные сосульки, и бормотал:

— Это я, сестрица, Гвинджуа, ваш кум... Крестный... Грех такой вышел — забыл прощальную чашу поднять, всесвятскую... С Махарикиной горы вернулся — тяжёлый божий долг! Не обессудь, вынеси мне чашу или рог, чтобы я мог бремя сбросить с души!

— Пожалуйте в дом! Извините, что не сразу признала... За нечистую силу, за бесовское наваждение приняла! — сокрушалась Дудгуба.

— Нет, что ты! Я домой спешу! Дома обо мне тревожатся...

«Вот еще ненасытный! Экой ведь падкий на вино — откуда пазад прилепился ради одной чарки!» — подумала разочарованная, обманутая в своих ожиданиях молодуха и принесла тамаде оба сосуда — и рог и чашу.

наполненные вином до самых краев, так что даже несколько капель пролились ей на сорочку.

Гвинджуа набросился на вино так, словно изнемогал от жажды, — прямо-таки вырвал чашу и рог из рук Дудгубы.

— Награди тебя бог! Вот теперь я очищу свою совесть перед богом и людьми!..

— Пресвятая мать божья, спаси и помилуй, прости за то, что убежал без прощальной чаши, всесвятской! То-то меня закружила выюга, засыпали снега! Слава тебе, царица небесная! Не по злой воле я так поступил — печаянно вышло... Прости и помилуй, даю обет — больше со мной никогда такого не случится!

Молодуха смотрела на него с изумлением: что это он несет, чудной человек!

— Прогневил я бога, невестушка, пошел ему наперекор, вздумал с ним шутки шутить по глупости! Знаешь, что он со мной сделал? Еле ушел я от смерти, на зубах у нее уже был! Небось всякий меня осудил бы и на смех поднял, кабы я сюда не вернулся! Помогай вам все святые и угодники! Да будет их благословение над этим домом! — произнес Гвинджуа благоговейно. — Все, какие ангелы действуют в небесах, со времен Адама и Евы, да будут покровителями Тахи и его очага, моих крестников, всей вашей земли грузинской и всего христианского мира! И тебе помогай бог, невестушка! Господи, прости мне мое недомыслие! — радостно закончил свое благословение Гвинджуа и единым духом осушил рог и чашу, так что не оставил в них ни одной росинки. Потом сложил оба сосуда аккуратно на пороге — вручить их было некому, так как молодка тем временем ушла в дом — и, освобожденный, с легким сердцем, поспешно зашагал домой, к жене и детям...

Молодка скоро снова показалась в дверях с тарелочкой в руке: принесла гостю кусок холодной свинины и хлеба на закуску, да никого уже не нашла перед домом, а пока оглядывала двор, споткнулась о рог, лежавший под ногами на пороге, испугалась, выронила тарелку и бросилась в комнату.

Долго она дрожала в постели, накрывшись одеялом с головой, не решаясь глянуть в сторону окошка.

— Нечего и думать, это был оборотень, нечистый! Но ведь черт не пьет вина?..

Долго она ломала голову, строя догадки, и наконец

заклучила: «Наверно, это была душа голодного, **бездомного** человека! Кто знает, как ему приспичило, как захотелось вина отведать! Трудно ведь грузину без вина — даже на том свете! Вот он и встал из мертвых — ускользнул ненадолго от смерти-караульщицы, принял обличье Гвинджуа и заявился сюда — выпил и назад улeгся снова в могилу, чтобы костлявая не заметила!»

А Гвинджуа, взбодренный, оживший, бодро шагал по направлению к своей деревне. Красное иорское вино растеклось теплом по его жилам, согрело его, распалило, заставило сердце биться сильнее!

— Не осилили меня ни дьявол, ни вьюга, ни Катата! Пусть теперь попробует сместить меня, знаменитого тамаду! Бог теперь на моей стороне. Оправдался я, замолил грех! Между мной и богом теперь мир и согласие! Кто скажет, что не так? Почему же погода переменилась? Почему улeглось ненастье?

Буря утихла, бешеный ветер унялся, в мире воцарилось спокойствие — и все потому, что Гвинджуа искупил свое прегрешение!

— А как разгулялась буря, как бунтовала, как озорничала! Оттого, что я бога прогневил!

Снежные, алмазные, искристые, обрызганные жидким серебром горы одобритeльно кивали оправданному тамаде, явно довольные им.

Утренний дух разлился в воздухе.

И тут-то за горой показался краешек солнца...

На заборе заливался петух: «Кукареку! Это я солнышко на небо привел!»

...И все ему верили!



## ТЕТУШКА МАИКО

Молоденькая мать, недавно овдовевшая, возилась под цветущей яблоней со своим малышом, ласкала, миловала его в колыбели, а белые лепестки яблоневого цвета осыпались на колечки и завитушки шелковистых ребячьих волос.

— Что тебе шепнули роза и фиалка, ладошки-лапушки, цветики матушке? — приговаривала она, склоняясь над младенцем.

Дитя смеялось, гугукало, ворковало...

А мать целовала, щекотала его.

— Смейся, крохотный, смейся, сердечко! Засмеешься — тучи разойдутся, сдвинешь бровки — снова набегут, небо затемнят. Смейся, лапушка, разгони пенасть!

Это была тетя Маико, сестра моей матери.

Говорят, от тетки матерью пахнет. Чистая правда! Никогда не забуду любовного взгляда тетушки Маико.

Она выросла дома, нигде не училась, но ум имела живой и развитый. А уж мастерица была на красные речи, крылатые слова... Любил я слушать ее в долгие зимние вечера, под жужжанье веретена! Немало сохраненного памятью от тех вечеров священо для меня; многое из того, что узнал я тогда, стало потом мне руководством в жизни...

Навсегда запечатлелись в моем сердце, например, такие слова тетушки Манко:

— Если с утра к тебе в душу не заглянет солнышко, трудно будет весь день! Тот первый утренний луч должен позолотить твои мысли и остаться с тобой, а ты иди, куда он ведет, не теряй его из виду... И увидишь — никогда не смеркнется у тебя в душе!

Иногда она вдруг замолкала — словно оторвется от здешних мест и перенесется в другие миры.

Спрашивали ее: где была?

— За ветерком-бродягой погналась!

— Зачем?

— Чтоб шепнуть ему словечко.

— И что же, догнала?

— Настигла кое-как.

— И словечко шепнула?

— Успела.

Или:

— Ах ты радость моя!

— Кому это ты, тетя Манко?

— Видишь — во дворе липа, как пышно раскинулась, как зеленест!

— Красавица ты моя, желанная, чудо мое распрекрасное! Хрустальным лучом вспоенная-расцвеченная! — приговаривала она, лаская алую розу на окне, брызгая на нее водой...

— Хорошенький мой, словно на картинке нарисованный! — улыбалась она телянку и целовала его в грустные глаза.

— Куда это ты забралась, неугомонная? — И, осторожно подобрав пчелу, бившуюся в окно, открывала форточку, выпускала ее на волю. — Лети на простор, резвись — там тебе место!

Язык птиц и ничуг был ей понятен.

— Слышь, как там, на изгороди, пестрогрудка балагурит с хохлаткой?

Или, бывало, услышит иволгино «Бичо, Гогия!» и крикнет в ответ:

— Ну, чего зовешь? Не пришел еще из школы мой мальчик, бичо Гогия.

И сейчас явственно слышится мне задушевный голос тети Манко. Удивительные она умела выдумывать ласкательные слова:

- Ты мой огонек, я твоя бабочка.
- Цветочек мой, фиалка, росой умытая!
- Трепетное мое сердечко!
- Любовь моя, гордость моя!
- Лекарством для тебя истолкусь, прильну к тебе целебным снадобьем.
- Солнце юной жизни моей, горяшко твое мне развевать!
- Мне твои беды, твои невзгоды!
- Дыханье жизни моей!
- Вокруг коленей твоих обовьюсь!
- Ветерок мой прохладный!
- Желанная моя вишенка-гроздочка!
- Красивый мой, расписной!
- Матери шандал золотой!
- Вам меня оплакать, красивые глаза!
- Твоим рукам меня землей засыпать!
- Чтобы не жить мне без тебя ни одного дня!
- Спасибо тому месту, где я тебя вспомню!

И сколько еще других — да всех и не припомню! Где они, в какую пропасть канули? Почему забылись все эти ласковые присловья, которые знали у нас в старину тысячи матерей и тетюшек, таких, как Маико?

Почему не выражаем мы нынче ласку и нежность так, как умели это делать они? Почему и нас никто так не ласкает, не голубит? Почему мы ограбили, оголили себя? Ведь стынем мы, зябнем без тепла этих любовных слов!

Почему не слышат их наши малыши — дети наши и внуки?

Почему отвергли старинные грузинские ласковые словечки наши женщины? Неужели онемели, умерли, сгнили эти легкокрылые слова? Почему забыли их сегодняшние грузинские матери?

Совсем молодою овдовела тетушка Маико, осталась с тремя сыновьями-сиротками на руках. Целый день она хлопотала, кружила по дому без устали и отдыха, как трудолюбивая пчелка-медуница. Тысячу домашних дел переделает — и все напевая, с улыбкой, с ласковой прибауткой...

— Боже милостивый! Как это ты сумел создать всю эту красоту? Ясное утро, улыбочное синее небо, золотистое, рассветное веянье, пивы в шелестящем солнечном платье, розы, всего мира украшение, высокие, весь

белый свет озирающие тополя, сладкий дух цветущих лип... Студеные ключи и хрустальный ветерок...

— С ясным солнышком, с восходящим! — поздравляла она меня поутру и добавляла: — Когда солнце расцветает, как алая роза, — разве ты не радуешься? Вдохну утреннюю сладость — и выдохнуть неохота!..

— Если с самого утра не вспыхнет в небе солнечный луч, останешься в проигрыше. На тот первый луч должен ты нанизать целодневную свою жизнь! Вбери глазами и душой золотое сверканье и радуйся! Доверься тому лучу, иди за ним — и он будет указывать тебе путь весь день.

Так учила меня тетушка Маико, развешивая белье во дворе... С утра до вечера в хлопотах, натруженная, усталая, с лицом, пылающим от жара, и капельками пота на лбу, всему дому заботница, — она была все-таки свежа и красива, как утренняя роза, и весела, как ласточка.

— Птичий щебет разносится, мой мальчик, — брось свои книжки! Цветок раскрывается, зовет тебя. Не теряй этого пестрого, золотого дня! Беги к солнцу и к ветерку, к небу глаза подыми, вниз на землю посмотри! Вон как нива поднялась, маки в поле заалели, персик в снегу, роза в завязи просыпается. Довольно тебе читать, глаза проглядишь, беги на двор, солнышко уважь! Книга всего лучше — да только всему ведь свое время. Гляди, любуйся — вся природа перед тобой. Что за безмерная краса! Что за благодать! Не все тебе над делом надрываться, — так наставляла меня, выговаривала мне тетушка Маико, когда я дни напролет корпел над книжками...

— За утренним лучом поспешай, дружок! Не то жить трудно будет! Верь прежде всего в солнечное сиянье — и будешь счастлив на земле, — все повторяла она, неустанно внушая мне свою веру...

Такова была тетушка Маико — друг ветра, наперсница цветов...

— Ну, погляди — разве не чудо, в самом деле, эти цветущие, словно пламенем охваченные деревья? Разве золотые косы Тамар-царицы и это пышущее жаром персиковое дерево не одно и то же?

Но стоило показаться на улице маленькому обрванцу-пастушку, как тетушка Маико тут же забывала о красоте природы.

— Пстой, мальчуган, куда ты? Иди к нам! — подзывала она паренька и выносила ему из дома целый круглый грузинский хлеб, да еще обильно намазав его медом... И продолжала:

— Ты знаешь, что говорит солнце, когда распускается махровым розаном на небесном хрустале? Знаешь? Нет? А я знаю! Я даже слышу запах его сверкающего луча! — говорила тетя Маико с любовью.

— Гляди на мир глазами малых птах, поговори с солнышком, прежде чем уйдет в свое гнездо, беседуй с брызгами водопада, с прозрачными струями, с шелестящей нивой, с летучим ветерком.

— У зяблика спроси совета, у подснежника или персикового цвета — и будешь богат...

— Ладунки матушке, листочки мои, цветочки! — ласкала она колокольчики выюпка, обвинившегося вокруг столбов галереи, и глаза ее светились нежностью.

Помню, однажды в студеный зимний день тетушка Маико вышла на балкон. Дул резкий февральский ветер. Тетушке Маико казалось, что она одна, что никто ее не видит.

Она поглядела вдаль, на белые зимние холмы, на заснеженные овраги, приложила руку ко лбу и позвала:

— Приходи скорей, весна красна, торопись, а то уж нам невтерпёж, надоела зима, и хлеба не стало у людей в ларях... Приходи скорей!

Так она запросто, по-домашнему, звала весну, упражняла ее, словно была ей своим человеком — подружкой или родней!

Вдруг она увидела меня — и смутилась, стала оправдываться, словно в чем-то была виновата:

— Что делать, Гогия, мой мальчик, — не могу я без солнышка, паскучила мне зима. Ах, кабы вечно солнце светило, кабы всегда все цвело вокруг!..

— Считаю это ясное небо, это цветущее дерево за бесценный дар, за божью милость. Наслаждайся ими, радуйся — а иначе какая цена всей твоей жизни?

— Не надо забот — отбрось их, ну хоть из любви ко мне. Забота сушит, забота старит! Работай с улыбкой, делай дело смеясь — и день пройдет так, что не заметишь. Жизнь зовет нас не к мученьям, а к радости. Пой всегда — от песни свет в душе разливается.

— Боже милостивый! Сколько ты создал прекрасного на свете — но никому и взглянуть недосуг! Вон идут

по дороге путники — посмотрим, заметят они белые цветы, что облепили изгородь и свешиваются с нее, почувствуют их запах? Небось не заметят, не почувствуют. Бедняги!

Но путникам и в самом деле было не до белых цветов и их аромата. Это были родичи тетушки Маико; они возвращались из города с дурными вестями — в тот день была объявлена первая мировая война.

— Ох, ослепни мои глаза, горе нам всем, несчастным! Несметные тысячи молодых жизней угаснут во мгновение ока, сгорят, как солома! Сметет пожаром, смоем потоном с лица земли то, что создавалось в поте лица, тяжким трудом... — говорила в горе тетушка Маико: душа ее была уже как бы окутана пороховым дымом и мглой войны.

Умолкла, точно онемев, Маико. Глаза ее уже не видели красоты мира, уши не слышали сладостного голоса природы, сердце закрылось для радости. Уже и собственный двор был ей не мил. И с гостями она была сдержанна, как никогда, — точно не родственников принимала, а чужих людей. Вместо того, чтобы броситься, как обычно, навстречу тетушке Джерапе с любовными словами: «Вокруг шеи твоей обовьюсь, колени тебе расцелую, к груди твоей прильну!» — она сухо расцеловалась с нею при прощанье, как бы по хозяйской обязанности...

— Эх, сколько молодых зря пропадет! — хлопала себя в отчаянье по коленям Маико.

Старый дядя Лашихя успокаивал ее:

— Ну, что поделаешь? Зато какая молодежь наука: закалится, окрепнет... Нельзя без войны, что это будет за жизнь?.. Ничего, не беда! Конь обьеженный и молодец обстрелянный дорожке ценятся.

Простой и грубоватый дядя Лашихя смотрел на войну глазами человека времен царя Ираклия, когда могучие богатыри, сшибаясь в рукопашной схватке, саблями решали свой спор, свою судьбу...

Но Маико словно и не слышала. Она как бы уже видела свой цветущий, напоенный запахом роз двор разоренным, истоптанным, спаленным какими-то ворвавшимися жестокими насильниками...

Опечаленные гости вскоре ушли — они торопились в свою деревню. Началась война, каждый спешил к своему гнезду. Мы проводили их до калитки.

— Жизнь в этом мире на ниточке висит... — со слезами в голосе проговорила Маико; потом взяла нас, детей, за руки и быстрым шагом повела домой, под крышу, словно спеша укрыться от грозы.

— Слышите лай? Это смерть спустила своих собак. Давайте убежим, спрячемся от нее!

— Что тебе мерещится, дочка? — увещевала ее старуха свекровь Нануа. — От смерти и от солнца, пока жив, никуда не спрячешься! Как все, так и мы! Чему быть, того не миновать.

— Прощайте, птички, цветы! Кровью залется лицо земли, стоном наполнится высь небесная. Погаснет солнце, пожухнет зелень, затмится круг земной!

— Что толку в горьких словах? — качал головой дядя Ланхия.

Тетушка Маико молчала, подавленная... Точно кто-то внезапно затмил, разрушил ее полный радости мир.

Смеркалось. Спустилась тьма — словно шерсть на спине у ночи встала дыбом. В этот вечер в нашем доме легли рано. Мы, дети, прижались друг к другу, притихли, дрожа от страха...

Началась война 1914 года. Алчность, жадность, ненасытность вырвались на волю...

— Только стыд и удерживает небо — не то обрушилось бы нам на головы! — говорили пожилые люди. Забрали в деревнях молодежь в солдаты.

Разверзлась пасть могилы.

По ночам падали звезды...

— Ну, всё — настали последние времена, конец света. Покатилась земля в тартарары, — жужжали старухи.

— Мы теперь должны крепко за ум взяться: наш народ ведь — горсточка, грузинская земля издавна и копьём и мечём в клочья изодрана. Господи, спаси и помилуй! — снял шапку старый Цицикорэ.

— Святой Георгий, победитель вражеских сил, вступишься за нас! Матерь божья, пожалей тех, кто единственного проводил! Дай нам силы вытерпеть муку, как твой сын ее терпел! — истово молилась, опустившись на колени перед образами, моя мать.

И снились нам сытые, наевшиеся мертвечины вороны и коршуны.

Деревенские мальчишки рыскали по полям и лесам,

истребляя воронье. «Дожидаются, когда отцам нашим глаза выключут!»

Помню, как пьяный Читура брел перед отправлением на войну, пошатываясь, по улице и приставал к девушкам:

— Дайте разок себя поцеловать, девоньки! Может, я не вернусь домой. Может, расклюют меня, поделят мое тело меж собой вороны и ястребы. Кто знает, где, в какой земле оставлю свои кости? Сделайте такую милость, девушки, дайте вас поцеловать!

Перепуганные девчата разбегались в разные стороны — хоть и чувствовали, что была правда в словах Читуры.

Печальные дни настали в деревне. Отовсюду слышались плач, вздохи, причитания... И ко всему прибавилась невиданная жара.

Затихли деревенские закоулки... В лунные ночи не слышалось смеха веселящейся молодежи. Девушки, приуныв, ткали паласы, на которых красными, желтыми, голубыми нитками выводили имена своих женихов:

«Гвития, возвратись со славой!»

«Пусть повергнется враг перед Леваном!»

Вскоре на страницах газет появились витые вздернутые усы Вильгельма Второго, а еще раньше иконописно приукрашенное лицо «нашего государя». Замелькали доселе неизвестные слова и названия: «шрапнель», «цепелин», «Макензен», «Гинденбург», «Карпаты», «Сарыкамьш»... Газеты как бы источали кровь. И каждая звезда в небе, казалось, была заминирована — вот-вот взорвется, разнесет весь мир в пыль...

— Под пули отправила я своего мальчику, — голосила в проулке бабушка Мариам.

То ли при втором, то ли при третьем наборе забрали на войну и сына тетушки Маико, Вахтанга.

Вскоре дворы и проулки нашего села огласились плачем и причитаниями; вздохи, стоны, вопли и громкие рыдания слышались со всех сторон. Трещали лечаки, обрываемые на себе матерями и женами. На каждом шагу можно было встретить женщину в черном, с залитым слезами лицом, всхлипывающего ребенка, онемевших от горя, убитых родителей...

С присмиривших быков, со всех этих Белолобых и Краснобурых, сняли бубенцы и колокольчики, чтобы звон их не напоминал горюющим о тех, кто подвязы-



вал эти погремушки и кому уже никогда не взмахнуть на арбе хворостинной...

У меня весь день не переводилась работа: надо было читать то в одном, то в другом доме письма с поля битвы и тут же писать под диктовку ответы — многие у нас в деревне не знали грамоты... Писали вонны домой такие слова:

«Не горюйте, не оплакивайте...»

«В память обо мне берегите моего Зурико...»

«Об урожае беспокоюсь, как там наши хлеба?..»

«Виноградник мой не загубите...»

«Присматривайте за моим конем...»

Но притом и ободряли домашних, утешали жен и матерей: не бойтесь, дескать, не поддавайтесь печали! Вернемся домой целы-невредимы! Успеем друг на друга порадоваться — только бы вам выдержать до нашего возвращения.

О погибших складывали стихи и напевали их под чонгури; на каждом слове вздыхали и стонали — душа у всех горела от горя, слезы подступали к горлу.

А там — в Карпатах, на галицийских полях, под Варшавой, в Эрзеруме и Эрзинджане, в белорусских болотах — умирали люди, и гибель их крапивой обжигала сердца — у брата обламывала десницу, отца подкашивала под колени, друга наполняла горечью, мать старела и сушила... От слез, ручьями стекавших на чонгури, размокали струны. У многих, многих ягодки-жены и малые дети остались сиротами. И оставшиеся дома, вечно трепещущие, снедаемые тревогой, обещали сельским святыням пудовые свечи и обильные жертвы, лишь бы угодники привели ушедших домой с миром...

А «странствующие вдаль с миром» жаловались в письмах на свою тяжкую долю, на повседневные мучения: товарищи гибнут на глазах, безжалостная смерть подстерегает на каждом шагу, в окопах грязь, сырость, непросыхающие лужи; еда — черный, черствый хлеб, твердый, как кирпич...

«Некому нас оплакать, не будет родной души у нашего изголовья в смертный час, ни одна живая душа не уронит слезу на гроб погибшего! Одни вороны кружат над нашими головами. Деревянный крест и чертополох на могиле — вот наш конец, — писали шны, бессемейные, друзьям и доброжелателям. — С чашей вина помяните нас, братья... Видел я во сне, сорвалась звез-

да с небосвода, покатилаь вниз, ударилаь оземь. Не вернуться уж мне домой!..» И по большей части не возвращались «кровавой брагой опоенные»...

Тетушка Манко утешала убитых горем, вместе с осиротевшими оплакивала утрату, и сердце ее неходило всеобщей болью. Ведь она и сама жила в нескончаемой тревоге и, зампрая от страха, ожидала вестей от сына. Тот писал ей с войны бодрые письма, поддерживая в ней надежду, — но слезы, что лились вокруг, жгли ее душу. Сколько почей она провела без сна!

И вот в один прекрасный день благая весть наполнила радостью дом Манко. Война отпустила на короткое время Вахтанга. Раненый в бою, он лежал в госпитале, выздоровел и получил разрешение съездить домой на побывку.

Это был праздник для всех соседей. Тотчас же сбегались отовсюду люди, тетушка Манко устроила на радостях угощение. Щеки у вырвавшегося из когтей войны солдата горели от поцелуев...

На душе у Манко точно рассвело после долгой ночи, заиндевелое сердце ее оттаяло... Лицо озарилось сиянием — взошло наконец для нее солнышко!

— Ну-ка, покажись! Еще, еще! Дай цаглядеться на тебя, взор мой услади! — И тетушка Манко без конца кружила около сына, то смеясь, то плача...

Вахтанг был совсем не тот, что прежде. Он разучился улыбаться, лицо у него стало суровое, казалось, он не с нами, а где-то далеко отсюда. Говорил он сбивчиво:

— В орудийном пламени мне ничего не было видно... Снаряды выли, точно роженица в муках... Грохот был такой, что я ничего не слышал... Как только не оглох?..

— А я-то решил, что хлеб-соль уж больше не для меня... Неужели я опять сажу за столом?.. Бывало, проглотим кашу второпях и скажем: тот не человек и не грузин, кто, вернувшись домой, если выпадет ему такое счастье, не помянет с чаркой в руках погибших на войне! Многие отчаивались: доведется ли нам когда-нибудь вернуться в свою страну, отведать нашего вина? А я говорил: ворочусь, как же иначе? И вина вдоволь вышью? Ну, вот я и дома!

Вахтанг поднял законченную глиняную чашку и в первую голову вспомнил оставшихся на поле битвы: «За

тех, кто кровь свою пролил, чтобы сохранить нам эту небогатую хлеб-соль».

Женщины, сбившись в кучку, вытирали слезы... спрашивали:

— Как ты уцелел?

— Ускользнул от смерти! Святой Георгий подсадил меня к себе на коня и умчал оттуда прочь. А больше ничего не помню! — говорил Вахтанг.

Тетушка Майко крестилась, возносила хвалу святому Георгию, поминала лик господен... И натягивала старенькую шаль на худые плечи, зябко куталась...

— Говори еще! Как там все было, на поле битвы? — просили Вахтанга; и он рассказывал негромко, спокойно — словно человек, вспоминающий поутру свои ночные видения.

— Поле битвы!.. Счастье ваше, что вы не видели его. День, солнце на небе, а мы все время в сумраке: от разрывов, от дыма орудийного мгла кругом. Кровь льется рекой. Грех какой! Что они творят, эти цари-государи, будь они прокляты!

Женщины вздрогнули — странными показались им эти смелые слова.

— Да, Сандалу разорвало снарядом — сошел в могилу так, что ничья слеза на грудь ему не упала... Вырыли огромную яму посреди поля и всех, кто воевал на этом месте, схоронили в братской могиле. И останки бедняги Сандалы зарыли вместе с тысячами других.

Женщины оплакивали гибель молодого соседского парня, причитали негромко, выли вполголоса, царанали себе грудь, били себя в голову...

— Никогда еще не горел мир в таком адском пламени! — твердили женщины.

— Что ж он такое, этот мгновенный мир? Дым, ничто! — добавил кто-то.

— Когда тебе на войну возвращаться? — спросили Вахтанга, после того, как наговорились всласть.

— Нет, нет! Живой, по своей воле я туда не поеду! — вскричал Вахтанг в волнении. — Уйду в леса — не все ли равно, дикие звери меня разорвут или бомба на войне? Пусть хоть родная земля грудь мне засыплет...

— Не отпущу, даже если сам царь явится за тобой! — обняла, закрыла его собой тетушка Майко, и лицо ее выражало страх, тоску и материнскую нежность.

— Не поедет, не позволю! — решительно заявила она, подняв руку, но потом вдруг уронила ее без сил, пронзенная внезапной печалью: — Эх, сколько их там, под пулями, таких, как мой сын? Разве все они не такие же мои дети? Вот что разрывает мое сердце! — заключила она, помолчав. — Что ж, пусть мой Вахтанг и останется дома, разве миру от этого станет легче?

Соседи, да и сам Вахтанг смущенно глядели на тетушку Майко, поникшую, обуреваемую черными мыслями, точно окутанную вьюжной ночью, непроглядным ненастьем. И нигде не видно было просвета...

Прошло время. Вахтанга снова увезли на фронт — пришлось подчиниться. И мать с сыном покорились...

Что же еще оставалось несчастной матери? Только ждать, тревожиться, цепляться за надежду. И она жила — нет, не жила, а существовала кое-как между жизнью и смертью, в вечной неизвестности и тревоге.

Пролились новые моря крови, погибли тысячи и тысячи людей. Вахтанг попал в плен и уже не вернулся — видно, погиб где-то в дальних краях, на чужбине...

А тетушка Майко все так же трудилась, хлопотала на пасеке и на огороде, вела дом, управлялась с хозяйством — в вечной маете, с патруженными руками, с капельками пота на лбу, с пылающим лицом... трудилась и незаметно таяла. Солнечный луч уже не радовал ее, она больше не ухаживала за цветами. Закрыла свое сердце тетушка Майко, ушла в себя, мир внушал ей страх и недоверие, жизнь представлялась обманом. Так она и ходила с тех пор до конца своих дней в черном и никогда уже не надевала кружевного лечаки с цветочками: вся земля, вся природа казались ей охваченными горем.

Она ведь понимала язык природы, постигала все ее тайны! И теперь, когда небо хмурилось и накрапывал дождик, тетушка Майко говорила с сожалением:

— Разве не слышите, как плачут отцы по убитым сыновьям?

А когда с гор напозлали туманы и стлались по земле, тетушка Майко вздыхала и качала головой:

— Знаешь, откуда встали эти туманы? От слез материнских, от плача вдов и сирот!

Снова и снова захлестывал май землю весенним

благоуханием, но для Маико мир был отныне окутан копотью и дымом... Ни к чему не лежала ее душа — только в пору кормления птиц она выставляла пернатым кашку, размазанную по щечкам. Этим и ограничивались теперь ее беседы с птицами.

Блещет бирюзовое небо. Дерево окутывается сиянием, перекачивается волнами в поле трава, ветерок приплясывает в метелках тростника, осины серебристо шелестят, сладко пахнут липы, журчит и плещет вода в речном рукаве, хрустальный водоскат рассыпается алмазной пылью. Дух жизненный встает во всей своей непобедимой силе, жизнь поет! А тетушка Маико замкнула свою душу, точно вдруг ослепла, и стали незримы для нее солнечный мир, голубой небесный простор, шелковая мурава, горы, доли, сады... Точно ничего больше не говорят ей тучные поля, шатры дремучих лесов, зеленые купола гор, цветенье виноградных лоз, все это веселое, яркое, пестрое буйство листьев и лепестков, сверканье утренней росы — и это сладкогласие, гомон пернатых, желанная песнь природы...

Что сделалось с нею? Точно задули пламя — погасили ее светлый дух! Даже в первые дни своего вдовства она столько не горевала! Любой отголосок войны — известие о чьей-нибудь гибели — ранил, терзал, разрывал ее любящее сердце.

Долго дожидалась сына тетушка Маико, вся — огромное, беспредельное ожидание. И наконец, источенная горем, заболела и ушла за своим Вахтангом, по затерянным его следам...

Нет больше на этом свете тетушки Маико, но и сегодня так же, как при ней, цветут деревья в ее дворе, так же перевешиваются через изгородь гроздья белых цветов, — и мне чудится, что улыбка тетушки Маико живет в этих цветах, взывает ко мне из белоснежных, душистых лепестков, твердит о всеильной любви к жизни...

Проходя по улице близ дома тетушки Маико, я неизменно убыстряю шаг — точно надеюсь, что она сама выйдет вдруг из калитки, поспешая мне навстречу; и когда в покинутом ею дворе лицо мне обвеваает ветерок — чудится, что это тетушка Маико привечает меня обычной своей лаской...

Другие живут теперь в доме тетушки Маико, другие ходят по ее двору — но грядки ее огорода по-преж-

нему зеленеют, дышат, радуются жизни. Жизнь не останавливалась ни на мгновение, она не может быть побеждена — жизнь идет, продолжается со всей своей кутерьмой.

Все так же сияют ясные и пежные, разубранные цветами и лучами, улыбочивые утра; по-прежнему отсвечивает темным изумрудом листва. Все так же сверкает зеркальная озерная гладь, искрятся луга, обрызганные росой, — точно младенческие губы, влажные от материнского молока...

Жизнь бессмертна, непобедима! Недаром говаривала тетушка Маико:

— Нет, не будет никогда жизнь у смерти в рабстве! Никогда!

Цветики матушке!



## НА ДЕРЕВЕНСКОЙ УЛИЦЕ

Пылающий полуденный зной сковал деревню. От однообразного, докучного стрекота сверчков точно еще глуше безмолвие. Спят проселки и проулки.

Бывший семинарист, «анархист» Иорам шагает по деревенской улице.

На нем синяя сатиновая рубаша, подпоясанная шнурком с кистями.

Зимой он ходит в пальто с поднятым воротником, на голове — неизменная черная шляпа.

Разговаривая, снимает шляпу и отбрасывает со лба густую черную гриву.

Часто доводилось мне видеть:

Навстречу Иораму, с противоположной стороны, лениво бредет немолодой, но бодрый священник, отец Сирах, в сопровождении дьякона, по прозвищу «Свехвост».

Батюшка имеет привычку поглядывать исподлобья, за что именуется в деревне Косым.

«Анархист» Иорам преграждает путь священнику, и густой бас его отдается в дальнем конце деревни:

— Эй, преподобный, скажи, откуда мир взялся?

— Господь бог его создал! — запальчиво отвечает

священник. — Кто, как не он, одел небосвод облаками и окружил сушу морем? Кто мог измерить взглядом простор земной и глубь океана, если не всеяильный господь?

— Прекрасно! Ну, а теперь скажи мне, служитель господа, кто создал нищету, грязь, лохмотья, чахотку? Небось все тот же твой всеяильный господь бог, не правда ли?

— Не греши, не хули господа, адово исчадие! Довольно тебе играть с огнем, сеятель пожара! — вешивает священник.

— Прощай, отче, и да увижу я вскорости твою натлатую голову под топором гильотины! — сняв шляпу, с язвительной улыбкой раскланивается Иорам.

Раздосадованный священник также не оставляет его без злобного напутствия:

— Дай тебе бог дожить до вашего обетованного царства, с молочными реками в кисельных берегах!

Анархист откликается издали, обернувшись:

— А тебе — поскорее дожидаться гильотины! Будь осторожен! Назревают великие перемены, близится победа народов! Тиранам уготована могила.

— Хоть перед властями страх имей, антихрист, ежели совести у тебя нет! — кричит вслед ему поп.

— Готов первым принять бой за свободу человечества! Собственноручно сброшу со скалы в пропасть самодержавие! — повернув вдруг назад, догоняет его анархист.

— Нашелся вояка! Не слишком ли на себя надеешься, Иуда Искарот?

— Сильный человек знает меру своего мужества, ты, порождение тьмы! Верой своей я способен горы сокрушить! — И, вновь круто повернувшись, Иорам уходит прочь.

— Скудоумный маньяк! — кричит вслед ему священник, и слова его тем смелей, чем дальше от него анархист.

Бывало, соберет Иорам ребятишек в переулке, где поглуше, и заставляет их повторять под свою диктовку: «Долой царя, господ, попов, полицейских!»

Священник ни разу не слышал этого, но всем своим существом чувствует в Иораме опасного врага.

— Погоди, — брюзжит он про себя, — и тебя пове-

множку засосет трясина, скует одурь деревенской жизни! Потерпи немного — ты пока тут новичок!

Дьякону, вечно обделенному и обиженному под тяжелой рукой жадного попа, унижение начальства доставляет неподдельное наслаждение. Со льстивой улыбкой кадит он священнику:

— Да, отче, да, благодетель, нельзя нынче ждать ни от кого учтивости и уважения! Что за дерзкие речи он себе позволил!

— Ну и что? Меня от этого не убудет! — бормочет, пылая от стыда, осмеянный при подчиленном священник.

— Что вы! — смакуя удовольствие, подливает паточки дьякон. — Что вы, ваша слава всюду гремит, до самого неба достигла. Я и то, глядя на вас, неизменно думаю: «Недостойн! Господи, недостойн!» А этого неверного разве мыслимо с вами равнять? — нескончаемо курит фимиама пону дьякон — рваная ряса...

— Опасный он человек, дьякон! Бомбы изготавливает тайне, взорвать весь свет собирается! Я человек много семейный, сам знаешь...

Анархист и в самом деле был человек опасный. Очень уж горяч — бешеного нрава.

Еще семинаристом он закатил пощечину отцу ректору и был за то исключен с волчьим билетом из пятого класса.

— Ух, одолела меня жажда свободы, к горлу подступает! — объявлял вдруг Иорам, и глаза его метали молнии.

Однажды, помнится, сидел я на балконе с книжкой. Был яркий знойный полдень. Вдруг взбегает ко мне на балкон Иорам, возбужденный, с расширенными зрачками, и кричит:

— Слышишь? Слышишь или нет?

— Что такое?

— Из-под земли гул доносится! Ну-ка, спустись, приложи ухо к земле!

И он насильно стащил меня вниз по лестнице.

— Приложи ухо, прислушайся — как гудит! Ты понимаешь, что это значит?

— Ну?

— Это она! Идет... приближается...

— Кто идет?..

— Надвигается... С гулом, с громом, во всей своей  
мощи и силе... Революция!

Я смотрел на него в изумлении.

— Неужели не слышишь? А я слышу: пошвист бури, шум грозы, грохот горного потока! И в воздухе порохом пахнет.

Полуденный зной палит деревню; немолчный стрекот сверчков разносится в неподвижном, безлюдном воздухе.

Все старались избегать беспокойного, яростного анархиста и боялись его «бомб». Шел слух, что он тайно изготавливает их по почам в саманнике за гумном и в любую минуту, если только захочет, может взорвать всю деревню. Женщины, когда им случалось повстречаться с ним по дороге, проходя мимо, тайком крестились.

— Боже всемогущий и милостивый, упаси нас от беды!

В самом деле, страшен был Иорам — впору испугаться! Не раз я видел его стоящим на берегу Иори в дни весеннего половодья — и именно в эти минуты постиг его неукротимую, мятежную душу.

...Катит с грозным львиным рыком свои тяжелые волны вздувшаяся по весне, бешеная Иори, кружит вырванные с корнем деревья, огромные лесины и колоды, волочит мельничные жернова, мчит обломки изгородей, размывает берега. Несется с диким, тревожным ревом, черная, мутная, пенная, страшная...

А на берегу стоит Иорам, насквозь промокший, и наслаждается зрелищем... Его бурливая душа сродни этой яростной, буйной, крылатой, бьющейся в берега реке.

Притоки Иори, все эти обезумевшие речушки в оврагах и балках, вылетают свои голоса в оглушительный гул и грохот реки, обрушиваются в нее с размаху, клопоча и пенясь, терзают ее взволнованную грудь...

О, как радовало Иорама зрелище бурливой Иори! Он чувствовал себя поистине в своей стихии.

— Посмотри — Иори развернула крыла! Как она сейчас хороша! Как сверкает взглядом, как трясет косматой гривой, — радовался он бешенству потока, не вмещающегося в берегах, размаху его могучих крыльев, все сметающему напором высоких волн.

По правде сказать, я изумился, когда увидел Иорам<sup>1</sup> ма, стоявшего в одиночестве на иорских берегах и беседовавшего с яростной рекой:

— Так, так! Вздымай, громози свои волны! Ненавижу стоячие лужи и болота! Так! Сокрушай грудь врагу, дろби ему челюсти! Сметай гнилье, освежай воздух! О, каким живым духом веет от тебя!

— Огороды разорила, кукурузные посевы смыла, погубила виноградники, затопила луга! Не оставила нам ни единого фруктового дерева, ни одного виноградного куста — ограбила нас, обчистила, но миру пустила, а тебе и горя мало! — выговаривал сосед-крестьянин восхищенному Иораму.

А Иорам все не мог отвести взгляд от взвихренной речной глади:

— Так, так, бушуй, ярись, тигрица! Дай мне радость жизни изведать! Ух, могучая, хорошая моя!

А когда вода в Иори спадала, река смирялась, входила в берега и дикий рев ее сменялся журчанием прозрачных струй, Иорам, хоть и был ненавистником всяческой чувствительности и поэзии, обращался к ней с ласковыми, поэтическими увещаниями:

— Выходи опять пастись на луга, олениха! Покажи мне снова свои крылья, хохлатая голубка!

Одно печалило Иорама: он был проповедником без паствы.

Если ему удавалось заполучить двух-трех слушателей, застигнув их около сапожной мастерской или сельской лавки, — а слушали его больше из страха, опасаясь выказать неуважение, — он возбужденно твердил им:

— Единственное наше спасение — в анархии! Мы должны разжечь в мире всеобщий, всежигающий огонь великой мысли! Столкнуть Черное море с Каспийским! Надо немедленно взорвать, уничтожить старый мир — чего мы еще ждем?

Никто не смел ему перечить — все были уверены, что карманы у анархиста набиты бомбами.

— Довольно, перестань, советую тебе как брат! Что ты заладил — «взорвать» да «разрушить»! Нашел о чем толковать! Разве время нынче? — качал головой его старший брат Дзундзгли, единственный, кто осмеливался ему возражать.

Это был человек немолодой, смирившийся, опустив-

ший руки, словно побитый градом, скучный, как зимняя слякоть.

Между братьями часто вспыхивали споры и перепалки.

Оба были холосты и жили вместе, проедаая наследство, оставленное им состоятельным отцом.

Иорам а исключили из семинарии, а Дзундзгли окончил ее тридцать лет назад и с тех пор не высовывал носа из деревни. Вечно сидел, уткнувшись в книги, а анархист готовил бомбы, чтобы взорвать вселенную.

Старшему брату дороже всего на свете был спокойный, безмятежный сон; он ложился спать чуть ли не вместе с курами, любил свежие, белоснежные простыни. Бывало, раскроет постель, сложит одеяло конвертом, нырнет внутрь, подоткнет край и, нежась в тепле, с улыбкой крикнет брату в другую комнату:

— Не люблю бродяжничества и смуты! Право, нет ничего слаще собственного дома, тихого своего пристанища! Вот устроюсь уютно в уголке, погружусь в воспоминания — и ничего мне больше не надо, жизнью кланусь!..

— Когда-то и я читал Герцена, Спенсера, Кропоткина, но... ничего из этого не вышло! Эх, лучше так, как есть, право! Двадцать пять лет лежу на этой тахте, бог мне свидетель! И ничего другого не желаю. У каждого из нас свой бог. Я в своего бога верю.

— В юности мечта о свободе была моей путеводной звездой. Я искал бури, хотел жить среди гроз! А теперь... теперь мне нужно, чтобы в камине трещал огонь. Небо расколосось, провалилась земля — а камин наш остался! Камин и двое около него. Только двое — третьего не надо, третий нарушит наш покой!

И в самом деле, ничто не нарушало его покоя — ничто, кроме мерного тиканья часов. Камин ворковал, как голубь, на стенах играли отблески огня...

Брат отзывался из соседней комнаты:

— Покой только на вершине Эльбруса! И разве ты сам не метался раньше, не рвался с привязи, как горячий конь, что роет землю и трясет гривой? Не ты ли шел под гитару:

За волю смерть принять готовы  
Мы — листья дуба векового!

— Ну, и что ж из того? Теперь я — опавший лист! Кто осудит палый лист за то, что он не шелестит лунными почками? Мне, братец ты мой, нынче никакого дела нет до революции! Да и тебе советую не тратить годы своей жизни понапрасну. Живи тихо, мирно... Люблю тишину и покой — в своем доме, возле своего очага! Люблю свой двор, свои деревья, винный дух в своем марани... Люблю запах чабера, что доносит с огорода ветерок... Люблю клокотанье похлебки на огне, лобио, заправленное кинзой и сушеным кизилом... И головку маринованного чеснока к нему... Что может быть лучше? На что мне крик, шум, драка, переполох, бои, погромы, кровопролития? — твердил Дзундзгли. — Все равно ведь уплывет с водой все, что добыто трудом, потом, заботой человеческой! А разве земле легко? И земле ведь тяжело приходится!

— Значит, борьба за свободу народа, по-твоему, ничего не стоит? — гневно накидывался на него Иорам.

— Вот именно! Никогда не сровняются горы и доли!

Иорам взмахивал рукой:

— Но Каит, Милль, Спенсер, Плеханов, Кропоткин...

— Прибавь еще, если угодно, Иисуса, сына Сирахова, царя Соломона, Экклезиаста... Все равно, «все — суета сует», братец ты мой!

Но Иорам бушевал, он готов был сложить голову за свою веру. Он не желал считаться даже со своим старшим и глубоко уважаемым братом. Родственные чувства, братская любовь — все отступало на задний план.

Старший брат погружался в сладкий, блаженный сон... Доходил в тепле, иснекался, как хлеб в печи. Небо сияло синевой, сиреневый куст издавал оняняющее благоухание. А Иорам ходил взад-вперед по балкону в полном одиночестве. Вокруг, медлительная, разморенная, ворочалась и потягивалась жизнь...

Скрытый, замкнутый в себе Иорам полюбил тихой и нежной любовью дочь старосты, высокогрудую Мерцию.

Мерция была веселая, шаловливая, полная жизни и страсти девушка — земная и плотская. Она вечно носилась, как форель в горной речке, любила песни, пляски и хороводы.

Иорам питал к ней чистейшую нежность, возвышенную любовь.

«Человек, подвластный страстям, разумом не проницателен», — сказано встарь.

Помню, в июньские лунные ночи мы, сельская молодежь, шествовали гурьбой по проулкам, между изгородями, предводительствуемые Иорамом, и пели:

Отречемся от старого мира...

На гумвах просынались люди, усталые от целодневного тяжелого труда, но не сердились за то, что сон их был нарушен, и с удовольствием прислушивались к нашему пению.

Потом мы затягивали «Взвилось знамя Тамар». Эта песня была запрещена нам Иорамом, потому что в ней поется о царях и царицах. Но стоило ему заслышать звонкий голос Мерции, как он терялся, размякал и готов был, кажется, выбросить «бомбы» из карманов.

Единственным убежищем Иорама была сапожная Гарсии, неизменное его местопребывание после полдника. Сапожная была клубом Иорама, его форумом. Здесь он проповедовал, здесь свирепствовал и бушевал. А Гарсия, человек городской, бывалый, искушенный, его единственный, первый и последний ученик, с восторгом ловил каждое слово учителя.

У Гарсии была только одна нога — другую он потерял в войне с Японией. Вернувшись с войны, он научился сапожному ремеслу и работал в Тбилиси на фабрике Адельханова. После забастовок 1905 года его сослали в Сибирь — он бежал из ссылки и выбрал себе пристанищем нашу деревню...

Гарсия был человек приветливый, обходительный. В деревне почитали его за честность и бескорыстие. Он был любитель пошутить. Бывало, спросят его — когда будут готовы башмаки? — а он отвечает:

— В поросячий четверг!

Здесь, в мастерской у Гарсии, читал я в детстве крестьянам Илью Чавчавадзе, Акакия Церетели, Важа Пшавела, Казбеги и Игнатия Ниношвили.

— Напейся досыта солнечным светом! — говорили мне обычно после чтения слушатели с такой неподдельной, горячей благодарностью, точно я сам написал все эти книги.

Но вот однажды я закончил чтение — это была по-

весть Казбеги «Элгуджа». Несколько мгновений царил одобрительное молчание, а потом Гарсия поднял голову, поглядел вокруг, смерил присутствующих взглядом и вдруг ударил желтой медной токмачкой по куску подонвы:

— Кого греют солнце и месяц — почему об этом ничего не скажешь? А ну-ка, если ты такой молодец, почитай нам про «гильотину»!

Я изумился. Правда, слово «гильотина» было мне известно: незадолго до того я как раз прочитал повесть Феликса Гро «Марсельцы», из времен французской революции... И все же я никак не мог понять, какую такую книгу «о гильотине» Гарсия имел в виду.

Я прочитал после этого в сапожной мастерской «Марсельцев» и еще кое-что о французской революции — к великому удовольствию Гарсии, который с восхищением повторял крылатые выражения революционной эпохи:

— Пока король жив, мы задыхаемся!

— Дерево свободы должно быть полито кровью тирана — иначе оно не пустит корней и не расцветет!

Лютой ненавистью ненавидел сапожник Гарсия Николая Второго. Была у него маленькая вертлявая собачонка — он называл ее «Николашкой».

...Мерция вышла замуж за стражника...

Иорам это сразило — он весь как-то одряблел, утратил бодрость и стойкость.

Мир превратился для него в ад.

«Вредун Вануа», стражник, приглядывался теперь к Иораму с удвоенным вниманием: как к «бунтовщику» и как к бывшему сопернику.

А Иорам вконец разочаровался в жизни. Раньше он хоть читал газеты и тем развлекался в деревенской глуши, а теперь забросил чтение.

Однажды Иорам отшвырнул на глазах у меня газету, обнаружив в ней стихотворение одного из наших тогдашних знаменитых поэтов:

— Аполлоновы лилицуты! Кому какая польза от их короткоумных мыслей?..

— Ты только посмотри! — пожаловался он мне с горечью. — Какой у него язык, что за слог, какие мысли! Не мысли, а брызги грязи!..

— Присвоили Ницше, наложили лапу на Шопенгауэра, а ослепленный читатель верит всему на слово!..

— Да и что у нас за страна? Волчье царство, филистерский рай — при пустом брюхе! Ох, не могу, не могу больше здесь жить!

...Осенний дождик сеет упрямо, однообразно... Пол на балконе — в грязных брызгах. Это отряхнулась мокрая собака. В двух шагах ничего не видно — густой осенний туман стелется по земле. Зарывшиеся в глину по самую крышу землянки. Бедняцкие конурки с обшарпанными, в потеках стенами. Жалкая, бездарная действительность. Впереди — ничего радостного, никакой надежды на обновление... Вокруг — стоячая вода, сонное существование, гнилое болото, затхлый воздух! Что, кроме бомбы, может нарушить эту спячку, зажечь огнем эту безрадостную, бескрылую жизнь — нет, не жизнь, а бессмысленное прозябание?

А дождик все сеет... сеет... сеет...

Иорам готов выскочить во двор и, схватившись за волосы, кричать:

— На помощь! Помогите!

Наконец нет уже его мочи, иссякает терпение — он бросается бегом с горы, в нижние виноградники, и напускается, словно безумный, на лозы — ломает кусты, вырывает подпорные колья, крушит все вокруг, точно схватившись с кем-то невидимым... Он и сам не знает, что за бес в него вселился, так, просто отводит душу!

А туман, ползучий осенний туман, подступает со всех сторон, крадется по виноградникам. Еще немного — и уже не видно ни Иорама, ни виноградных лоз. Все окутано серым туманом.

И... вот он здесь, Иорам, лицом к лицу с недвижной, как туман, серой, праздною жизнью! Ни одной сочувствующей души! Единственный близкий человек — родной брат — и тот чужд его образу мыслей!

Нет, только бомба! Да и того мало для этой стоячей, болотной жизни!

— О, как отвратительна нищета!.. Это болото... Эти покосившиеся хижинки... Искривленные мозги!.. Откуда она взялась, такая жизнь? Кто ее выдумал? — спрашивал в сердцах Иорам, но ниоткуда не было ему ответа.

Не слышно было больше и подземного гула.

И Иори стала мелководной.

Что ему было делать?

Случалось иной раз даже так, что анархист и поп в

эту морось, когда на душе так же пасмурно, как на улице, заключали на короткий срок «перемирие» и принимались за «совместное питание». Начинали с «утренней чарки». Пили с охотой, без удержу.

Поначалу поп, из страха перед «бомбами», не решался перечить анархисту, но потом, после четвертой примерно чарки, смелел и рвался в спор.

Иорам выходил из себя, метал молнии, вращал белками глаз, но тут вдруг горькая мысль о бесцельности и бесплодности словесных битв с попом вспыхивала у него в мозгу, он бессильно откидывался, прислоняясь спиной к грязной стене духана, готовый схватиться за волосы и закричать:

— Помогите!

А на дворе по-прежнему моросило, моросило бесконечно, безутешно, безнадежно — мгла, тучи и туман затемнили весь белый свет.



## ЦИЦИКОРЭ

Будешь старший над селеньем,  
Дел вершитель многотрудных,  
Первый в тяготах и бедах...

Народное

Плачут женщины в деревне:  
Смерть к старейшине пришла.  
Смилуйся над ним, создатель,  
Не осироти села!

Народное

По деревенской нашей улице шагает степенной бодрой постуью рослый, статный, осанистый сельский старейшина Цицикорэ — седоусый и благообразный, в длинной черкесской чохе, с неразлучной своей длинной, суковатой палкой в руках.

Эта палка была как бы предводительским жезлом Цицикорэ. Рассердившись, он грозно потрясал ею, а убеждая собеседника, с силой ударял об землю в подтверждение своей мысли.

Молча шагал Цицикорэ по улицам, — и всякий, даже не зная его, понял бы при первом же взгляде, что перед ним не простой человек.

Увидев меня после долгого отсутствия, он искренне

радовался; бывало, вернусь летом, на каникулы, в деревню, попадусь ему где-нибудь на глаза — и он скажет мне, ласково улыбаясь:

— От встречи с тобой прибавилось мне три года жизни и одна неделя! Учись, учись, старайся, может, такие, как ты, ученые земле нашей счастье принесут!

А однажды он хлопнул меня по плечу и проговорил торжественно:

На самом Светицховели  
Имя выбито твое!

Почему мое имя могло быть начертано на стенах древнего храма, я не понял и не осмелился спросить, но мужественный этот комплимент очень мне понравился.

...Не было детей, продолжателей рода у дяди Цицикорэ.

— Для чего мне дети? И без них есть о ком позаботиться, вся деревня у меня на плечах!

Правду говорил Цицикорэ! Сказано: мир да село, а мир-то кто — один человек! Целый день крутился он, радея о сельских делах, и даже ночью думал о том, как бы принести людям посильную пользу. Но не любил хлопотать зря, тратить труды свои понапрасну Цицикорэ, старейшина, предводитель и законодатель села! Всех он наставлял и вразумлял, и все стонали под его непрощеным игом. Да, Цицикорэ был заботник, радатель всей общины, он ревностно пекся о селе — хоть люди частенько и говаривали с улыбкой, что, собственно, никто его не поставил над селом, ни царь, ни бог, ни народ. Возможно, причина крылась в том, что прадед Цицикорэ Иотам был во времена царя Ираклия сельским старостой и Цицикорэ чувствовал себя главою села как бы по наследству.

Так или иначе, а Цицикорэ от своего не отступался.

Обвиняли его люди в гордости и высокомерии, говорили, что очень уж он заносится, много о себе воображает. Конечно, суровый Цицикорэ поблажек не давал никому; но была в нем настоящая человечность и отзывчивость, и судил он справедливо. Для друга и доброхота Цицикорэ был, что называется, душа человек.

Всему свету была известна пронизательность Цицикорэ; душевная его зоркость. Умел он взглянуть в глаза прямо, строго, испытующе — железо, кажется, рас-

плавилось бы под его взором. Разве такой человек мог унизиться до лжи?

Деревня питала к нему глубокое, непререкаемое доверие. При разделе двора, недвижимости, рабочей и убойной скотины неизменно звали Цицикорэ, как наиболее надежного, всеми почитаемого посредника и судью.

Ранней весной, как только, бывало, оттает, задышит земля и выглянет на свет, зазеленеет первая травка, незваный, непрошенный наставник и пастырь обходил деревню дом за домом, советуя, поучая, остерегая...

— Не выгоняй лошадь на подножный корм на луг Кориану — тамошняя трава, надо тебе знать, для коня смертельна! И сена, скошенного там, коню не давай — падет твоя животино. Так и знай!

— А какая тому причина?

— Причина?.. Я думаю — на том поле ведь разыгрались в прежние времена кровавые бои... И врагов там пало несчетное число! Вот вражеская кровь и кусается доныне, не унимается, действует и сейчас нам во вред! Казалось бы, уж высохла та кровь — а все еще вскипает в земле, пропитала почву ядом, жжет нас, борется с нами из глубины, вот коней наших убивает. Да кабы мы сами ели траву, она и нас бы истребила!

Таково было наблюдение и рассуждение Цицикорэ. И сельчане в самом деле сторонились Корианского луга.

— Что ты бродишь среди ночи? — говорил, встретясь с Цицикорэ на дороге или в проулке, какой-нибудь пожилой крестьянин, из тех, кто был с ним на короткой ноге, — другой бы и не осмелился лезть к нему в шутками!

— Надо обойти всю деревню, чтобы не прокрался к нам коварный враг или насильник; ведь какой нужен догляд, чтобы людей уберечь! Десять пар глаз надо иметь и десять пар ушей: нелегкое это дело — быть за все село в ответе! — отвечал Цицикорэ.

Цицикорэ Бакрадзе считал себя отцом и опекуном нашей деревни; он был непоколебимо убежден в каком-то важном своем предназначении, в том, что ему предстоит свершить великое дело. Он вмешивался во все, что бы ни происходило в селе, и считал это своим прямым долгом.

Влияние его на людей было велико. Никто не уди-

вился, когда однажды привели к нему из соседней деревни больного ребенка для исцеления.

— Помогите нам, вечно болеет дитя, и притом не растет, точно заклятие на него положено! Возили мы его по докторам, да никто не мог разобраться...

— А от меня чего вы ждете, я-то тут при чем? Отвезите мальчонку в город, и пусть там кто-нибудь из рода Багратионов отвесит ему три оплеухи; вот тогда выправится ваше дитя, пройдет его хвороба.

— Так уж ты сам и ударь, благодетель! Лишь бы только поправился малец... — взмолился отец ребенка.

— Как можно! Тут нужен Багратион, Ираклия потомок, — а я, кто я такой?

— Чем твой род хуже Багратионов? — польстил Цицикорэ отец больного.

Цицикорэ принял лесть, но дать ребенку пощечину все же не решился...

В июле, в страдную пору молотьбы, на рассвете слышались из деревенских дворов сердитые голоса ссорящихся женщин. Свекрови расталкивали, тормошили, поднимали заспавшихся снох-молодок: «Вставайте, надо коров подоить да в стадо выгнать, птицу покормить, сноны развязать да по гумну рассыпать...» Помните деревенский стишок: «Будь ты проклят, день батрачий, летний сон снохи короткий, как поднимут спозаранок, нос распухнет у молодки!..»

Тут-то и появлялся Цицикорэ — миротворец, укротитель свекровей и невесток. Сперва молодуху примется увещевать:

— Перестань, успокойся, что ты плачешь-горюешь, ведь со смехом-радостью в дом пришла! Девять свاخ к тебе засылали, насилу заполучили — утихни, утихни! — Потом повернется к свекрови: — Что ж ты так, добрая душа, — это ведь твоего сына венчанная жена! Желанная! Так уж и ты держи ее в почете! — И тут слегка повысит голос: — Не век ей быть под твоим надзором! Дай ты ей вольно вздохнуть, пусть и она свету божьему порадуется! Ведь какую невестку заполучила — всем хороша, и в работе, и на племя! Род ваш увеличила, за три года трех внучат тебе родила! Мало ведь нас, грузин. надо нам плодиться, размножаться! Хвалю, хвалю ее за щедроту материнскую!

Потом обращался к обеим вместе:

— Вы должны ковром друг перед другом стлаться!

Слово сказать — розу с фиалкой из уст уронить! Живите в любви, в доброхотстве, во взаимной заботе!

Так, бывало, утихомирят спорщиц — а заодно и отведет душу — непрошенный наставник деревни и пойдет дальше своей дорогой, со своим неизменным посохом...

Повстречает на улице смелых, дерзких деревенских девок, покажется ему вольной их повадка — и гаркнет:

— Полюбуйтесь! К лицу ли девушке так себя держать? Надо взор потушить скромно и прошелестеть мимо чуть слышно, провеять, как ветерок! А не глазеть во все глаза на встречного и поперечного!

Бесстрашный был человек Цицикорэ, единственное, чего он боялся, — это всяческого нарушения порядка и приличия. И оттого неустанно пестовал и воспитывал всех и каждого. Да, любил Цицикорэ наставлять и враумлять — в особенности женщину. «Дай только волю женщине или коню, как закинута да как понесут — до самого Стамбула не остановятся!»

Встретив человека без огня, с погасшим взглядом и опущенной головой, Цицикорэ напускался на него: «Чего ты в землю уставился, чего нюни распустил? Успейшь в земле налегаться, придет еще время — а пока что вверх гляди на небеса, на солнце, радуйся жизни, светом божьим любуйся, добрый человек!»

— Иной и из могилы, как царь Иракий во Мцхете, источает елей и благовоние, а ты живой смердишь, бесполозный человек! — расналившись, пробирал Цицикорэ какого-нибудь вялого, дряблого, бесхребетного человека...

Трудолюбивый, хозяйственный, он не выносил лентяев, бездельников, отлынивающих от дела. Стоило ему увидеть в рабочую пору крестьянина, разлегшегося в тени, как он яростно накидывался на лежебоку:

— Ах ты ржавчина, соня, ленивец, дармоед! Ах ты рохля, мертвечина! Не знаешь разве — мир для рывых и прилежных создан?

Иной раз чья-нибудь верная жена пыталась защитить мужа от гнева Цицикорэ:

— Сам ведь знаешь, деверь, мой муж — работающий человек, честный труженик, безгрешный!

— Как же, как же, безгрешный — словно бабочка-шелковница, когда из кокона вылупится! — насмешливо говорил Цицикорэ. — На том свете ему место, среди мертвецов, а живым он в тягость!

— Что ж ему делать — недужный он, хворь одоле-  
ла, — не сдавалась жена Киндзуры.

— Недужный? Большой? Так корми его белой каш-  
кой на молоке, чтобы челюсть от жвачки не устала! —  
так уничтожающе высмеивал Цицикорэ ленивого Кинд-  
зуру, который в разгаре работы сбежал из виноградни-  
ка домой, соскучившись по ласкам своей жены.

Таких, как Киндзура, он сурово осуждал!

Справедливый и щепетильно честный, Цицикорэ не-  
навидел проныр и пройдох, а в особенности людей лжи-  
вых и лстывых. Претили ему извилистые речи, затей-  
ливое празднословие, не любил он длинных, неутоми-  
мых, безостановочно мелющих языков. Сам он был хоть  
и немногоречив, но за словом в карман не лез.

— Слово должно предшествовать делу — вот когда  
оно хорошо!

— Что проку в сахарных, медовых, елейных речах!

Здравницы он любил короткие: пожелает долгих дней,  
здоровья и благополучия, прибавления семейства, доб-  
рых сыновей, урожая хлеба и вина, приплода скотины,  
изобилия фруктов в саду — вот и все!

Важность, неспешность подобают старейшине села.

— Кто не суетится, в том больше весу, — говори-  
вал он.

Были, однако, у Цицикорэ и исключения. Не всем  
ленивцам был он врагом. Взять хотя бы длинноусого  
Фадлауру. Для веселья, застольства — незаменимый  
человек! А какой певун — даже долгая кахетинская за-  
стольная «Мравалакамиер» казалась ему слишком ко-  
роткой! Услышав его пеньё, бывало, я невольно вспоми-  
нал слова мудреца: «Иногда человек уподобляется бо-  
гам».

И мать у него тоже, рассказывали, была певица. По-  
ди и не верь поговорке Цицикорэ: «Что всосешь с моло-  
ком матери, вместе с душой из тебя уйдет».

А вместе с тем Фадлаура был неисправимый лентяй.  
Оживал он только за столом, а в остальное время все  
равно что не существовал. Сидел, подремывая, под те-  
пистым деревом во дворе, и если его спрашивали: «Как  
поживаешь?» — отвечал:

— По-старому. Не стал ни короче, ни длинней.

Так у него и велось: от свадьбы к свадьбе, от крестин  
к крестинам... Пил и пел, пел и пил, ни одной гульбы не  
пропускал...

Кого-нибудь другого с такими повадками Цицикорэ уничтожил бы, смешал с грязью, но Фадлауру он глубоко уважал за песню, за редкостный певческий дар. Однажды, когда в сельской цирюльне болтливый брадобрей Лочо прошелся насчет Фадлауры, Цицикорэ повернул к нему намыленное лицо и спокойно возразил:

— Фадлауре бог дал чудесный голос — и мы должны его за это уважать. Он песней, голосом своим служит людям — чего тебе от него еще нужно?

Бодро переступал Цицикорэ через порог, входя в дом, в дверях срывал с головы шапку и громко восклицал:

— Мир сему дому, бог в помощь!

И сейчас, почти через полвека, стоит как живой у меня перед глазами Цицикорэ, статный, рослый, чисто выбритый, громогласный, стоит, опершись подбородком о свой длинный посох...

Если кто-нибудь не слушал его советов или отвечал обидным словом, Цицикорэ горестно вздыхал, приговаривая:

— Ох, мир! Ох, люди!

Однажды пастухи из пограничных степей угнали скот наших крестьян. Село снарядило погоню. Вышли почти все — а на тех, кто отстал, кто долго копался и опоздал присоединиться к отряду, Цицикорэ обрушил громы и молнии:

— Бабы! Трусые! Вам ли укрепить и оборонить нашу отчую землю!

Сам он был всегда готов ободрить, вдохновить любого, поддержать в нем твердость духа.

Никогда не забуду, как однажды в трудную минуту Цицикорэ пришел на помощь ко всем, кто нуждался в поддержке и ободрении, в том числе и к нашему семейству.

Была ненастная, черная, страшная ночь. Повалил крупный, с голубиное яйцо, град, ободрал и облупил все вокруг. Дворы были залиты водой. Деревня как бы погрузилась в море. Суеверные люди решили, что начался потоп, пришел конец света. Но вот буря чуть умерила свою ярость, ливень хлестал не с такой буйной силой. Тотчас же в проулке показался Цицикорэ — он шагал по колено в воде, накрывшись ковровым мешком, останавливался перед каждым домом и взывал к закрывшимся в нем встревоженным людям:

— Бодритесь! Не бойтесь ничего! Пройдет нечас-  
ть! Не такое видывал наш народ! Не пугайтесь!

Вот тогда я понял, что Цицикорэ — прирожденный народный вождь! Своим горящим взглядом он поистине напоминал библейского пророка и предводителя.

Так он переходил от соседей к соседям и в первую очередь обошел вдовьи, сиротские дома, где не было мужчин, — чтобы страх не одолел слабых!..

Вот какого духа, какой силы был человек!

Упрямый и своенравный, Цицикорэ часто проявлял нетерпимость к мнениям других людей.

Однажды в самом разгаре какого-то спора Цицикорэ задал собеседнику неожиданный вопрос:

— Есть такая птица, иволга, — знаешь?

— Знаю.

— Голубя видал?

— Видал.

— А цаплю?

— И цаплю.

— А об ишхваре слышал?

— Нет.

— Как же так — не слышал об ишхваре и берешься со мной спорить! Узнай сначала, что такое ишхвар, а потом уж приходи, будем разговаривать!

Так уничтожил противника Цицикорэ!

Что это за «ишхвар» и почему Цицикорэ придавал ему такое значение, я и сейчас не знаю. По-моему, никакого «ишхвара» нет в природе. Возможно, Цицикорэ имел в виду птицу «шхеро» — разновидность рябчика или лесной курочки... Но почему он требовал к этой невзрачной птице уважения, точно к царю пернатых, и почему считал зазорным ее не знать — никому не ведомо...

Сторонние люди говорили о Цицикорэ смело: новистый человек, несговорчивый, упрется — не сдвинешь, легче камни голыми руками крошить, чем с ним разговаривать! И как только вы его терпите, упрямец меднолобый?

И в самом деле — своенравный человек был Цицикорэ, упорный: что скажет, с того не сойдет.

В нашей деревне ни у кого уже не было старинного, по пояс врытого в землю дома — «дарбази». Один Цицикорэ обитал в дедовском, полутемном жилище.

Это был, кажется, единственный такой дом, сохранившийся в селе.

Я рад, что мне довелось в детстве видеть настоящий грузинский дарбази, с ласточкиным гнездом в бревенчатой кровле, уходившей шатром ввысь над очагом.

Я рад, что видел своими глазами украшенный резьбой опорный столб с изображенными на нем солнцем, месяцем и ветвистым деревом, с расплюснутым об него красным пасхальным янчком; с прибитой кизиловой веткой, на которой развешаны чистые шерстяные носки хозяина. В ветровом окошке под кровлей, летней порой шелестел ветерок, зимой завывала буря, но хозяевам было все нипочем: большая коряга уютно потрескивала на огне, черный от копоти котел, висевший над очагом на толстой цепи, шипел и бурлил что было сил...

Жена Цицикорэ, Кония, баловала нас, ребятишек. До сих пор помню вкус и пряный запах кушаний, которыми она потчевала нас, — кушаний, приготовленных ее собственной рукой: кизиловой, щарелевой похлебки, луковой с орехами — «хирхито», крапивы и спаржи, травы «бурбура» в маринаде, на масленицу — кисловатого «махохи», супа из отрубей...

В дарбази у Цицикорэ было темно, мы входили, шаря перед собой руками, и долго еще не могли ничего различить в этом сумраке.

— Что ты роешься под землей, словно крот! Ведь ослепнешь! Выйди наверх, на солнышко, поставь себе высокий дом со светлой горницей! Чего скупись — человек ты бездетный, какие у тебя траты? Для кого копил? — говаривали ему соседи.

— Мне в моем темном дарбази приятнее жить, чем в этих ваших солнечных горницах! — таков был неизменный ответ Цицикорэ, а жена поддакивала ему:

— Нет, милые мои, тут мы весь свой век прожили, тут и померем! Что ж нам суетиться, перетаскивать скарб на старости лет — срам один, что люди скажут?

Цицикорэ в самом деле мог по своим средствам построить себе каменный дом, но старозаветный дарбази был дорог его сердцу.

— Нет, мне без моего дарбази не житье! Пусть кому охота, тот и живет в новых домах!

Да, очень уж он любил свое земляное жилище! Если к нему приходил гость, Цицикорэ никогда не забывал

провозгласить тост за свою хижину, подневая с чапшен в руке:

Кто хоромы строил,  
Тесом крыл дубовым?  
Пусть их поминают  
Виуки добрым словом!

Чистота в дедовском дарбази Цицикорэ царила изумительная. На полках выстроилась рядами старинная посуда — простая и муравленая, глиняная и фарфоровая; в углу стоял большой пестрый сундук, в котором привезли когда-то приданое жены Цицикорэ, Конию.

Станный был обычай у Цицикорэ: во время болезни ни за что не ложился в постель, как бы ему ни было худо.

— Да что я, женщина, чтобы нежиться на мягкой перине? С ног свалиться — врагов обрадовать!

Болезнь, по его мнению, была чем-то постыдным, заторным. Бывало, в лихорадке, в жару, нахлобучив на глаза мохнатую баранью шапку, обходил он деревню твердым шагом — все равно, зимой или летом, чтобы показать всему свету, что он здоров и бодр, как всегда, чтобы враг не обрадовался его хворобе. «Никому не доводилось барса хнычущим увидеть!» — говорил он самому себе, и верно, дух в нем был несгибаемый, под стать барсу или льву.

Не подумайте только, что бездетный Цицикорэ был бездельным человеком, что это он от скуки и праздности навязывался всем и каждому со своими советами и наставлениями! Нет, Цицикорэ всегда работал, труд был ему усладой. Любил он возиться в огороде, в маленьком «придомном» винограднике. В них одуряюще пахла всякая зелень, наливались огурцы и кустилась фасоль, выглядывали из пышной листвы лоз тугие виноградные кисти. Не раз видел я Цицикорэ в рубахе, прилипшей к потному телу, усталого, умаявшегося и радостного, довольного...

Жена его Конья славилась своим женским умом и чутьем. Она была щедра на ласку и к каждому добра. Сердце имела жалостливое, голодного готова накормить, голого — одеть...

— Какие нынче правда да правосудие, пусть сгорят его перо и книги! — говаривала старуха, свидетельница повседневных притеснений народа.

В молодости, по словам людей постарше, она слыла красивой. Да и сейчас заметны были на ее лице следы былой красоты. Она отличалась удивительной чистоплотностью. «Спрятность — красота старости», — любила она повторять.

Во дворе перед домом у нее росли розовые кусты.

Неусыпный, заботливый глаз Цицикорэ давал себя чувствовать и в хозяйственных делах сельчан. Ранней весной, раньше любого другого крестьянина, обходил он деревенские поля, осматривал посевы, любовался зелеными, оценивал озимые всходы — и приносил вести их хозяевам.

В страдную пору, во время жатвы, он часто навещал соседей в поле. Жнецы подносили ему сноп, встречали честью, как дорогого гостя.

Цицикорэ внимательно рассматривал колос, глядел через его ость на свет и сразу угадывал, какого надо ждать урожая. Он никогда не говорил неправды, чтобы сделать приятное хозяевам. Нет, оценивал он всегда верно, любил прямоту и радовался сам, если мог обрадовать людей, возвестить богатый урожай, награду за труды...

Ложь, увертки он ненавидел.

Свято верил он в праведность труда и в справедливость его вознаграждения.

— Каждая капелька честного пота оборачивается жемчугом — отрубите мне правую руку, если это не так! — часто говаривал он.

Предводитель села, полный бескорыстной, отеческой заботы о нем, он объявил беспощадную войну торговцам, барышникам, мироедам и всякого рода иным пиявкам, присосавшимся к трудовому крестьянскому люду.

Торгаш Пинчух вечно обмеривал покупательниц, ловко протаскивая аршин вдоль кромки ситца. Не раз ловили его с поличным, да никак не могли исправить мошенника. Но стоило Цицикорэ сказать ему, строго нахмурив брови, несколько внушительных слов, как Пинчух бросил навсегда свои плутовские повадки.

Цицикорэ боролся и с суевериями — по мере своих сил и возможностей.

Помнится, рыболов Бохвера влюбился в девушку с нашей улицы, которую звали Нинуца. По ночам, когда Бохвера ходил на рыбалку, мерещилась ему в волнах Иори его присуха. Вытащит рыбак сеть из воды, а из сети

выскочит с хохотом Нинуца и — в реку, да на прощанье еще порвет ему снасть.

Простоватый Бохвера несколько не сомневался, что красавица русалка, являвшаяся ему ночью на Иори, была именно Нинуца. В это он верил твердо, непоколебимо — и на другой день, остановив девушку где-нибудь на улице, у плетня, говорил ей со смехом:

— Слушай, Нинуца, отвяжись, оставь меня в покое!

Нинуца улыбалась...

— Чего тебе от меня нужно, девчонка? Что ты любезничаешь со мной по ночам на реке?

Нинуца хихикала...

А Бохвера сердился, выходил из себя... А втайне был полон радости.

Но вот дошел слух до Цицикорэ... И старик при первой же встрече с рыбаком отчитал его на людях:

— Эй, парень... Как же тебе не стыдно, простофиля? Ты в самом деле думаешь, что Нинуца заплывает по ночам к тебе в сети? Эх ты, темный человек! Да это ты сам запутался у нее в сетях! Не срамись перед людьми, пошевели мозгами! Разве можно глупостями голову себе забивать?

Так пристыдил Бохверу сельский старейшина!

И конечно же немалой победой Цицикорэ было то, что Нинуца с тех пор больше не мерещилась в обличье русалки простодушному рыбаку... Зато осенью того же года пошла с ним под венец:

Велико было влияние Цицикорэ в нашей деревне — зато не обошелся он и без недоброжелателей, а то и врагов. Таков уж нрав и обычай человеческий — никому не правилось жить по чужой указке, подчиняться чужому слову, ходить за поводырем по протоптанным путям... И кременная воля самозваного старейшины нередко высекала из его пасты искры возмущения — искры, впрочем, сразу развеиваемые и затухавшие...

Были такие, что роптали втихомолку, негодуя на тиранство Цицикорэ. «Да откуда он взялся? — говорили такие люди. — Сел нам всем на голову без спроса!» Но никто не дерзал открыто выступить против старика — разве что один-два смельчака...

И вот однажды...

Был в нашей деревне зажиточный крестьянин по имени Саватели. Он несколько не считался с Цицикорэ, и

такой независимости, такой непокорности Цицикорэ не мог перенести.

— Что ты нос передо мной задираешь, толстосум, мироед, — оттого что золотым кушаком подпоясываешься? — грозно обрушился он однажды на Саватели, шедшего навстречу ему с гордо поднятой головой.

Саватели не остался в долгу, излил на Цицикорэ желчь, которая переполняла его, и еще раз попытался помрачить славу старейшины:

— Эх ты, самозванный мудрец! Вечно копаешься в чужих делах, суешь нос, куда не просят! Всех поносишь, всем наставления читаешь! С каких это пор мы состоим у тебя под началом? Кто тебя поставил нашим настырем? Привык помыкать людьми — из страха перед тобой парень не смеет с девушкой заговорить, девушка на парня глаза поднять, мужчина — чарку вина выпить по своей охоте, женщина — засмеяться, ребенок — пошалить! Только и не хватает нам что денег с твоим именем, твоего чекана!

— Ну вот, уязвил, ужалил меня ядовитым языком и рад! Эх ты, тюрьма по тебе плачет! — ответил ему Цицикорэ и спокойно прошел мимо.

«Кто мне поручил печься о деревне? Да как кто? Совесть моя и честь! Господи Иисусе! Самим богом я заботиться о ней поставлен, понимаешь ты или нет?» — спорил в душе Цицикорэ с послушником Саватели.

Да и не с одним Саватели!

На что уж жалкий и забитый был человек Джаунари, а и он как-то раз осмелился восстать против Цицикорэ! Видно, в его давно погасшем, затоптанном сердце еще теплилась искра свободолюбия!

— Вечно повторяешь: «Веди нас, старец Миндия»... Ну, а ты-то кто такой, чтобы народ за собой вести? Видишь, как мир плохо устроен, сам господь бог не сумел его наладить... А ты хочешь сразу в нем порядок навести? Э, нет, не тут-то было, парень! Не много ли на себя берешь — всему свету, земле и небу, законы предписывать? Стоишь у нас вечно над душой и проповеди читаешь! — так обличал однажды на чьих-то поминках старого Цицикорэ распаленный хмелем Джаунари.

— А знаешь ты, что не всякий человек достоин называться человеком? Иных птиц едят, а иных мясом кормят! «Не ровня друг другу люди, пропасть, бездна между ними», слышал, несчастный? Эх ты, пустой кувшин!

Трясущегося Джаунари подхватили под руки и увели, но за дверью он обернулся и крикнул еще раз на прощанье: «Кто его произвел в начальники?» А Цицикорэ смеялся.

Людам было приятно, что неприкосновенность старейшины нарушена хотя бы на мгновение, что суровый пастырь и наставник подвергся поношению и поруганию — хотя бы и столь робкому...

Однажды вступила в бой с Цицикорэ и бабушка Марадия: «Что ты вечно бушуешь — или никогда не знает покоя твоя душа? Человек жив лаской и добротой, мир и тишина ему нужны — а ты все мечешь громы и молнии! Думаешь, ты один на свете, все люди, кроме тебя, — не люди?»

Эх, разве под силу было кому-нибудь проникнуть в думы Цицикорэ, постичь его цели? Кто, кто мог охватить умом денную и ночную его заботу о селе и общине, измерить глубину его мысли, подняться к ее вершинам? Никто!

Цицикорэ был и тайновидцем нашей деревни.

Так, узнав, в какой день родился человек, он мог сказать, написано ли ему на роду счастье. Знал он также, в какие дни надо сажать фруктовые деревья, чтобы они хорошо принялись и выросли раскидистыми и плодоносящими.

Умел он также заклинаниями и молитвой положить замок на волчьи зубы, охранить от хищного зверя скотину. В этом искусстве у него не было равных. Если у кого-нибудь скотина оставалась ночью на дворе — в поле или в лесу, тотчас же звали Цицикорэ, и после его заклятий, по убеждению сельчан, животным не грозила уже никакая опасность — ни от волка, ни от медведя, ни от воров. Словом, таинственные его заговоры замыкали зверю пасть, а вору связывали руки.

Цицикорэ были ведомы и все тайны лошадиной природы — он знал, как вывести коня из конюшни во время пожара так, чтобы он не испугался, не стал биться да вскидываться, не изломал себя и хозяина. Оказывается, надо петь в это время только отпевальные да погребальные каноны, и лошадь будет смирной и покорной, под эти похоронные песнопения ее легко вывести, а иначе она заартачится, вырвется из рук и сгорит в пламени пожара.

Царя Ираклия он почитал — за геройские дела, за

подвиги. Николая Второго презирал, считал ничтожеством. Девятьсот пятый год раскрыл ему глаза на этого самодержца.

В бога он верил.

— Нет бога? Да как ты такое выговорил, несчастный? Темный человек, неприкаянная душа! Да какой я после этого грузин, ежели скажу, что нет бога?

— Бога нет! А по чьему велению солнце сияет? Отчего луна не свалится с неба?

Бывало, выберет Цицикорэ спокойное местечко, на солнышке, поблизости от играющих детей, присядет у плетня и, старательно обтачивая перочинным ножом какую-нибудь палочку, напевает как бы про себя — однако так, чтобы его было слышно:

Тому, кто без страха, аранано,  
Броней рубаха, таранано;  
Кудри над челом, аранано,  
Ему как шелом, таранано.

Так он напевал тихонько, но и эта его песенка была с тайным смыслом, имела воспитательное значение, богатырские стихи незаметно запечатлевались в нашей детской памяти, хотя старик и не давал нам почувствовать, что предназначал их для поучения...

Он любил наставлять, пестовать детей.

— Послушай-ка, что я тебе скажу! Девять ворот у нашей земли, и для всех нужны стражи и караульщики. Вот ты и смегай!

Цицикорэ проявлял и полководческие таланты. Он нередко вмешивался в наши ребячьи сражения и давал нам советы, объяснял боевой порядок:

— Стройте войско так: во главе — передовые, а позади их — главная сила; по бокам с обеих сторон — летучие отряды; они должны постоянно беспокоить врага своими наскоками. Ну, а замыкает порядок арьергард, тыловая охрана. Прямо обрушивайтесь на врага, не бойтесь ударить в лоб! Надо учиться нападать, а не только отражать натиск! Сделай все, что в твоих силах, не жалей старания — а победа в руках божьих! Одного только не забывай: в бой надо идти с песней! А заденет пуля или клинок — не горюй!

Цицикорэ, как всякий грузин, выше всего на свете ставил доброе имя, славу.

— Бойтесъ имя уронить, замарать свою добрую славу, — говаривал он нам, молодежи, с заботой. — Позор — это камень тяжелый, придавит — не встанешь, не выберешься из-под него!

Однажды Цицикорэ напустился на песенника, сидевшего на пенечке и перебиравшего струны своего чонгури:

— Поешь что поцало, без толку, без смысла! Хвали удальцов, про молодецкие дела стих сложи, чтобы трусам стыдно стало, чтобы и они духу набрались! Бренчишь на своей бренчалке, а того не знаешь, что и песни складывать надо с умом да с понятием! Не для того стих слагается, чтобы пустыми речами время протянуть. Невежественный ты, пустяковый человек! Мало ли у нас таких, кого стоит славить да восхвалять? А ты только девчонкам любовные песенки поешь! Геройское, богатырское что-нибудь спой, чтобы рука сама к сабле потянулась, чтобы конь сам, без плетки полетел как на крыльях! Доброго молодца хвали щедро, не скупись! Прославляй его хоть выше меры. Он того стоит, он всему народу честь принес! Тогда и те, что поплоче, стараться будут! А ты попросту рад язык почесать. Слово — это ведь не просто зуд в языке, слово нам богом дано! Нельзя тратить этот жемчуг впустую! Большая сила в слове! — строго пробирал он балалаечника. — «Не сложу стихов, смолчу, коли мне не по плечу!» Твое ли это дело, мозгяк, ползаешь по земле, точно гусеница! Кому нужны твои вирши, да еще любовные! Брось сейчас же свой чонгури и не смей больше с ним на глаза мне показываться.

Невец в самом деле бросил чонгури и пустился наутек...

Вот какую силу, какое воздействие на людей имел Цицикорэ!

Однажды на масленицу подвыпивший Цицикорэ выхватил чонгури из рук у бездарного певца Лететы и запел странным, глуховатым голосом:

Вызвал смерть на бой Георгий,  
Сталь, как молния, сверкает.  
Замахнулась смерть, десницу  
У героя отсекает.  
А взмахнул мечом Георгий —  
Смерть на части рассекает.

Помнится, особенно радовала меня в песне Цици-

қорэ победа человека над смертью. Ничего похожего я никогда до того не слышал, и Цицикорэ еще более возвысился в моих глазах.

В юности наш Цицикорэ, оказывается, объезжал диких коней и был знаменитым охотником.

— Сколько оленей ты убил на своем веку, Цицикорэ? — спрашивали его друзья.

— И не сосчитать! Пострелял я их на славу, — хохорился Цицикорэ. — Тот свалился со скалы, другой повис, зацепившись рогами, над обрывом, а иной полетел в пропасть, затерялся в таких глубоких расщелинах, куда и свет солнечный не проникает! Сколько их уложило мое ружье — кто знает... Радуются олени, что я состарился, могут теперь спать спокойно!

Степennyй Цицикорэ Бакрадзе был хвастлив, как все охотники.

Сосед наш Цоцрэ как-то обмолвился на людях: дескать, Цицикорэ сроду не видал ни одного оленя — ни живого, ни мертвого!

Цицикорэ узнал об этом и был глубоко уязвлен. Некоторое время он молчал, сдвинув брови, потом спросил, стараясь казаться спокойным:

— Кто это выдумал? Чьи это рассказы?

Тут голос у него задрожал, и, не в силах сдерживаться, он выдохнул в гнев:

— Я расправлюсь с этим негодником, вырву у него змеиный язык!

И все — больше он не добавил ни слова. Однако для Цоцрэ и этого оказалось достаточно. Бедняга, как говорили, ночей не спал от страха перед ожидающим его грозным возмездием. Нежданно-негаданно появилась у человека забота!

— Знатная была оленья охота в бескрайном Бокочинском лесу, — рассказывал Цицикорэ, собрав нас под большим вязом, возле мельницы на Иори. — Чтобы не распугать оленей ружейной пальбой, мы стреляли в них из лука. В молодые мои годы, скажу вам не выдумывая, немало оленей бегало по лесам с моей стрелой в загривке или хребте! А чтобы я когда-нибудь промахнулся, не попал в зверя — этого никто не слышал! Думаете, хвалюсь, неправду говорю? Так почему же про меня песня сложена:

Говорил олень оленю:  
Радуйся, Бакрадзе болел!

Но лесам палбы не слышно —  
Может, он уж похоронен.

Тут из чащи грянул выстрел,  
Пал олень, ломая ветви.  
Кто всадил мне в сердце пулю,  
Коль Бакрадзе нет на свете?

Нам всем, так же как и самому Цицикорэ, отлично было известно, что стихи эти — о другом Бакрадзе, прославленном охотнике. Но Цицикорэ, так сказать, присвоил их, воспользовавшись совпадением фамилии, и мы не спорили, не уличали его — знали, что он славолюбив, и прощали старику невинный обман...

Охотники, рыбаки, мельники, поэты иногда не прочь переплавить действительность в горниле своей мечты, и не надо с них строго за это спрашивать!

Если кто-нибудь очень зазнавался, задирает нос, то, какой бы это ни был хваленый и избалованный человек, Цицикорэ, бывало, разок глянет на него и скажет наставительным тоном: «Не заносись!»

— Об Ираклии Втором, герое грузинском, слышал? Ну так вот: с Ираклием тебе все равно не сравниться! И вот что я тебе еще скажу: разве только те были опорой и защитой родной земли, кто меч в руках держал? А почему ты не вспоминаешь о матерях, что вскармливали героев? О них тоже мы не должны забывать! Что проку только лишь саблей размахивать? Особенно в нынешние времена, когда никакие враги уже не грозят нашим границам и никто не грабит наших сел? — так говорил он возгордившемуся овчару-самохвалу, который прославился тем, что однажды в Триалетских горах, где он пас свою отару, обратил в бегство целую шайку грабителей, и притом троих зарубил в рукопашной схватке. — Не заносись!

— Чего ты кичишься, перед кем нос задираешь? Выше всех себя возомнил? Может, самому богу ровней хочешь быть? — напускался он, как коршун на цыпленка, на какого-нибудь встречного молодца, если тот с независимым видом проходил мимо, не воздав Цицикорэ дани должного уважения учтивым приветствием, не сняв шапки. Изумленный этим неожиданным натиском крестьянин обычно смущенно сторонился, чтобы избежать гнева Цицикорэ...

— Редко нынче встретишь настоящего, степенного человека! — вздыхал Цицикорэ. — Да и как по наруж-

ности его разгадать? Все равно что по скорлупе определить, какое ядро в орехе!

Родину Цицикорэ любил глубоко и нежно, великой, негасимой любовью.

Однажды я прочитал ему строчку из письма поэта Григола Орбелиани: «На всей земле только одна Грузия, и она — наша».

— Молодец! — по-русски выразил свое восхищение и высказал похвалу покойному поэту Цицикорэ.

— Прекрасно сказано! Мудрый человек тот, кто это сказал, честь ему и слава! — часто впоследствии вспоминал он Орбелиани.

Цицикорэ не выносил разделов, розни, распада семьи.

— Не тяните каждый к себе, не говорите: «Это моя доля!» — «А это моя!» Нераздельная, неразлучная семья крепче всех. Будем едины, и никто нас не одолеет!

Этот простой, неученый человек был поборником народного единства:

— Нет, не надо нам розни, обособления! Пусть никто не говорит: «Я имеретин», «Я кахетинец», «Я мегрел!» Все мы одной материнской грудью вскормлены. Народ должен быть спаян, слит воедино! Братьям надо жить в неразделе!

Строгий, суровый, порой резкий и даже грозный, Цицикорэ был человеком большой доброты и редкого трудолюбия.

Увидит, бывало, человека, работающего вяло, с неохотой, и вырвет у него из рук лопату или мотыгу, примется сам за дело: вскопает чужой огород, скосит или сожнет полосу, а то и за плугом пойдет, если решит, что плугарь плохо нашет.

— Давайте работать на совесть, чтобы в селе достаток не переводился!

Случалось мне в детстве видеть и такую картину: кто-то оставил свою скотину без присмотра, и Цицикорэ пасет чужих быков на лугу за деревней, чтобы они не забрались в поля или виноградники, не потравили нив, не испортили кустов.

Особенно запомнился мне один случай.

Дело было во время первой мировой войны. Однажды среди дня на деревенской улице показалась старуха Тубалаури, чей единственный сын и кормилец был взят на войну и чье поле, за отсутствием работника, остава-

лось несжатым. Старуха шла по улице вся в слезах, вертя в руках серп и громко причитая:

— Заржавел твой серп, сынок, не нашла я нигде подмоги, пересохла, сгорела в поле твоя пшеница! Все ушли на войну, жнецов не осталось!

Старуха причитала, завывала, обливалась слезами. Сын на войне, под пулями, несжатое поле... Горе жгло ей душу.

— Хлеб стоит в поле, тобой посеянный, осыпается колос, не жалко тебе? На кого ты нас оставил, мать-старуху, жену да ребятишек? С кем ты воюешь? И зачем тебе война? — голосила в отчаянии старая Тубалаури, и плач ее разносился по обезлюдевшей деревне.

Вдруг появился на улице Цицикорэ со своим неизменным посохом.

— Позор на нашу голову, мир, люди! Что ж это — или в деревне человека не осталось? Значит, я уже и не мужчина после этого?

На другой день Цицикорэ отправился с раннего утра в поле старухи Тубалаури, прихватив с собой целую ораву ребятишек. Он жал, а детвора вила связла и вязала снопы. В пять-шесть дней Цицикорэ управился с полосой Тубалаури и несказанно удивил своим поступком всю деревню. А уж старуха была ему благодарна — нечего и говорить!

Уместно вспомнить и то, что жал он сиротское поле с песнями и гиканьем, как это велось в старину...

Помнится мне, как Цицикорэ провожал с кувшинчиком вина в руке мобилизованных, отправлявшихся на фронт в начале первой мировой войны.

— Бодрей, ребята, не вешайте носа и смерти не пугайтесь! Кто погибнет — помянем честью, а на его место другие придут! Зато слава наша разнесется по всему свету, и врагам неповадно будет! Так и знайте — кого пуля поцелует, тому особый паек от Тамар-царицы полагается!

Такими словами напутствовал он своих духовных сыновей, уходивших на войну, а потом, запрокинув голову, отпил из кувшина и передал его рекрутам. «Счастливого вам пути и возвращения с победой!» — сказал он им бодро, и это в такой час, когда все обливались слезами, а от женского воя и воплей некуда было спрятаться...

Никто никогда не видел слез на глазах у Цицикорэ.

Лишь однажды, когда маленького пастушка Батулу загрызли волки, говорили, что кто-то встретил Цицикорэ в лесу — старик ходил один, закрыв глаза своей войлочной шапочкой, и плакал.

Смерть Батулы так сильно подействовала на Цицикорэ, что он отказался от своего последнего барана.

Баран этот был обещан Георгию Победоносцу — Цицикорэ собирался зарезать его весной, в день храмового праздника. Но, зная, что у немущих родителей Батулы нет ни одной овцы или иной скотины для поминок, он отвязал свою животину и отвел ее к отцу погибшего пастушка.

— Вот вам баран, нарежьте его для поминовения Батулы, за упокой его души! Так-то оно лучше будет!

Но оставим это... Сейчас мне отчетливо вспоминается другое. Этот обломок народной старины, Цицикорэ, сам был предан только старине, тому, что привычно от века, а всего нового боялся и чурался.

Бывало, идет Цицикорэ по дороге, мимо виноградушков, и увидит крестьянина, работающего в поте лица в саду: ходит хозяин между рядами лоз с опрыскивателем на спине и поливает виноградные кусты голубым раствором медного купороса, лечит растения.

Цицикорэ остановится у виноградушка, глянет через колючую изгородь и проговорит про себя — но так, чтобы хозяин услышал:

— Ничего из этого виноградушка не выйдет.

— Почему, дядя Цицикорэ?

— Потому что ты его загубил. Ну, что это за виноградушек теперь?

— Как так? Днем и ночью кручусь в нем, все делаю, что полагается, ни сил, ни средств не жалею... Вот и сейчас, видишь, — опрыскиваю, ни одной лозы не пропустил...

— Вот в том-то и дело! Слыхано ли — купоросом виноград травить! Разве не знаешь — святое причастие от всякого нечистого зелья силу теряет! Какое уж там вино, какое причастие из купоросного винограда! — говорил, сдвинув брови, пастырь и законодатель.

— Тот, кто слушается советов умных людей и, не спросясь их, ничего не предпринимает, кто почитает старших и не идет наперекор главе семьи, дома или села, тот может быть спокоен: его виноградушек принесет обильный урожай! Не нужен ему никакой купорос — и

без того будут полны кувшины в его погребах. А кто старшинства не признает, тому не будут послушны ни хлебный колос в поле, ни виноградная лоза в саду!

Не верил Цицикорэ в купорос — и вообще в полезность новых, городскими людьми рекомендуемых способов и приемов. А притом еще Ростия, которому выговаривал Цицикорэ, не признавал его главенства и никогда не считался с его мнением. На это-то и намекал старейшина и пастырь, вразумляя заблудшую овцу...

Это была пора, когда строили Кахетинскую железную дорогу. В деревне только и было разговору что о ней. Много надежд и чаяний было связано с железной дорогой — считалось, что она совершенно изменит жизнь нашего края. Ждали всеобщего расцвета. И все с радостью представляли себе тот день, когда первый поезд пройдет по земле Кахети. Один только Цицикорэ не разделял общих восторгов.

— Чему вы радуетесь? Взбрыкались, точно разыгравшиеся телята! Сперва подумайте, взвесьте — в самом ли деле так уж необходима народу эта ваша железная дорога?

— Заладили — паровик, поезд, железная дорога!.. Расхваливаете эту вашу машину, а того не думаете — куда же теперь деваться рабочей скотине, быкам, буйволам, лошадям? Что ж нам, арбы на дрова порубить? Да слыхано ли от века — грузинский крестьянин и без арбы? Значит, и в извоз ходить, чумачить больше не будем? Этак и вино в город возить на арбах перестанут! А с лошадьми как быть — почему вы об этом не задумываетесь? — И, ласково, печально проведя рукой по стертой, шершавой шее и крепкому хребту быка Кантанки, добавлял: — Нет, ребята, если вот этой животины больше не будет — мне такое житье ни к чему.

Крестьяне постарше одобрительно кивали, соглашались с Цицикорэ. А он гвердил упрямо:

— Люди, подумайте, раскиньте мозгами! Может, все и не нужна эта железная машина? Воздух нам засорит, хлеб, виноград отравит! Хворь людей одолест, пойдет воровство да мошенничество... Взять хотя бы детвору — разве она сможет так свободно по улицам разгуливать? — И он показал рукой на маленьких девочек, со щебетом бежавших вприпрыжку по улице, возвращаясь из школы.

— Осторожно, люди! Как бы черта не ухватить за

рога! Вспомните — разве не то же самое было с железным плугом? Заставили нас отказаться от дедовских плугов, навезли железных — и не стало урожая! Деревянный плуг в глубину пашет, и выгода от него большая. А железный плуг — хлипкий, ему самый малый камень — спотык, препятствие. Нет в нем силы, нет благодати! Зачем нам было от старого лытать, новое пытаться? Да вот, лукавый попутал! Так и теперь будет...

— Подумаем, взвесим, семь раз отмерим, прежде чем отрезать!

Но молодому поколению все соображения Цицикорэ казались, естественно, смехотворными.

— Спятил наш Цицикорэ!

— До всего своим умом хочет дойти!

Цицикорэ даже гаркнул на школьного учителя — дескать, что ты людей мутишь, тоже еще нашелся «Алекса» Македонский!

Потом снял шапку, перекрестился и продолжал:

— Господи, упаси нас от всех этих колдунов и чародеев! Слыхали пословицу: «Не бросай дороги старой, друга старого держись?» Так нам деды заповедали — и хорошо сказали! Что может быть лучше и верней испытанных, торных, давно проложенных путей? Зачем вам нужны новые пути-дороги, по-над обрывами да пропастями, — не ровен час, шею сломите...

— Прежде, в благословенные времена моей молодости, никто и не знал, что такое врач да лекарь! А нынче все вечно больны! Отчего, чьими кознями? От дьявола все это, из города идет! А ну-ка, рассудите сами, люди, — разве я неправду говорю? Не думайте, что над нами никого нет! Кто-то незримый бдит над миром, смотрит сверху на людей. Не гневите его, имейте страх в душе!

Тут выступил вперед недавно прибывший в нашу деревню из города молодой фабричный рабочий, участник стачек 1905 года, по имени Гарсия, и отбрил Цицикорэ дерзкими словами:

— Эй, дядя, откуда ты взялся? Что ты судишь и редишь о том, чего не смыслишь, — да еще говоришь за все село, точно ты один за него в ответе? Мир вон как далеко вперед ушел — а ты толкуешь о каких-то ветхозаветных временах! Кто хочет жить по старинке, как во времена Адама и Евы, пусть идет на погост, проповедует мертвецам, а нас пусть оставит в покое!

Так, одним ударом, уничтожил Гарсия державную власть Цицикорэ. И кто так осмелел? Какой-то заезжий, залетный человек! Какой-то фабричный! Понатакался в городе и явился сюда учить всех уму-разуму! Тут только почувствовал Цицикорэ, что старый мир, прежняя жизнь ушли безвозвратно... Ветер новой жизни налетел и ударил его прямо в грудь, так что он даже пошатнулся...

Стоял уязвленный, оскорбленный Цицикорэ и от изумления не мог вымолвить ни слова. Он был ошеломлен: кто, как посмел пойти ему наперекор? Вот как, значит, оценены его заслуги, его стремления, его заботы! Вокруг стояли, опершись на вилы, крестьяне и удивлялись терпению Цицикорэ — им казалось, что все село бросило навзничь. Некоторые, правда, потихоньку даже фыркали, сдерживали смех, обрадованные поражением Цицикорэ. А сам Цицикорэ был уязвлен до глубины души. Конечно, и раньше, бывало, случалось тому или другому взбунтоваться против него; взять хотя бы Саватели и Джаунари... Но на этот раз было совсем другое!

Постукивая своей верной палкой, направлялся домой Цицикорэ, а в душе у него бушевала буря. Горючие слезы вскипали в его сердце, искали выхода, но высыхали, так и не вырвавшись наружу. Что за дерзкие слова ему бросили в лицо! Какое непочтение, какое унижение! Да услышать такое равносильно смерти! Оскорбить, опозорить, смешать с грязью его, Цицикорэ, — и притом на людях, перед всем светом!

Цицикорэ шел погруженный в черную, безысходную думу. Он чувствовал себя каким-то никому не нужным обломком. Значит, никто больше не спрашивает мнения сельского старейшины, никому не пужны его советы! Душа его наполнилась горечью, как бы покрылась ржавчиной. «Что же я, выходит, такое? Для чего я живу на свете — только для того, чтобы наполнять брюхо едой?» Острый шип засел глубоко в сердце у Цицикорэ, и никак нельзя было его оттуда извлечь. Он плелся к дому, точно раненый орел, что ковыляет с трудом, волоча распластанное, окровавленное крыло. Что за грех на нем, что он содеял дурного, за что такое наказание? Умолк навсегда его громкий, зычный голос. Огонь бушевал в сердце Цицикорэ, сжигал его.

— Господи! Силы небесные! — вздохнул он в отчаянии, словно приговоренный к смерти.

Он весь горел, как в лихорадке, — точно его побили, дали ему оскорбительную пощечину.

В дом к себе он вошел наружно спокойный, умиротворенный. Но душа его была как бурное море.

— Кто же теперь за деревней будет доглядывать?..

— Что с ними станется без меня?..

— Что ж ты на все село осерчал? Из-за кого? Эх, село еще пожалест о том, что само обрубил крепчайшую из своих ветвей!

Цицикорэ слег!

Приходили, навещали его друзья, родичи, соседи, спрашивались о здоровье и самочувствии. Цицикорэ отвечал степенно, с расстановкой, тоном человека, изведавшего большие горести:

Говорил Ростом: будь проклят  
Моего рожденья час!  
Мир меня насытил горем,  
А веселья не припас.  
Под ярмом сгибая шею,  
Постарел я и угас.

И это говорил человек, который прежде любил повторять:

Злоба! В душу не впищу!  
Грусть-тоска, не дам вам воли!  
Меч, тебя я паточу!  
Враг, с тобой спшибемся в поле!

Словом, душа Цицикорэ оделась в траур. Сердце его оледенело, мозг окутался мглой, он существовал — и как бы не существовал. Казалось, иссяк в нем источник мысли и слова — уста его были замкнуты. Словно не человек был перед вами, а олицетворение сумрачной, непроглядной ночи.

С тех пор Цицикорэ со стыда не осмеливался показываться на людях. Он ходил только по окольным тропам, по заросшим, узким стежкам, кружил поодаль от деревни. А беседы заводил разве что с мальчишками-козопасами. Но и бродя по этим тропинкам и стежкам, он не переставал думать, заботиться о деревне, хоть и поклялся ангелами дуба и вяза, что никогда больше не будет интересоваться сельскими делами!

Что ж — поделом тебе. Цицикорэ! Всем навязывал

свою волю, свое разумение — а может, иному было бы вольготнее своими собственными путями ходить? Может, и другим был ниспослан дар могучего вдохновения? Может, нашлись бы и другие тайновидцы, сердцеведы, такие же стойкие, твердые, мужественные люди, достойные быть верховодами и предводителями?

И вот удивительное дело! Неделю спустя Махара Долаури праздновал закладку фундамента нового дома, заколол упитанного барана и... не позвал Цицикорэ!

Еще через неделю Ходала забил корову, которую накануне задрали в лесу волки. И опять Цицикорэ не было среди приглашенных.

«Что они творят, неразумные!» — говорил в душе старик.

Ему казалось, что мир рухнет! Село охладело к нему — и это сделало Цицикорэ подозрительным, боязливым. Кто бы ни заговорил с ним, ему неизменно чудились в речах собеседника утайка, задняя мысль.

В пылающий горн превратилась душа Цицикорэ — и ничто не могло загасить это сжигавшее его пламя! «Кто утешит мое сердце, кто подаст мне надежду?» Не слышно было больше в деревне громовых раскатов его голоса, умолк его орлиный клекот! Убило, задушило его отточенное, стальное слово Гарсии!

Кончились власть и предводительство! Заботливый наставник и заслуженный старейшина сторонился всех, истерзаный, пришибленный душевной мукой.

Да, невообразимое, невозможное свершилось... И свершил это Гарсия. Гарсия — или... или то новое, что властно преобразовывало жизнь, — новые люди, новые силы, перед которыми оказался беспомощным ушедший корнями в старину простодушный Цицикорэ...

Бедняга ожидал, что народ высыпет на улицу, рука об руку, плечом к плечу двинется гневной волной на выручку своему старейшине, не простит приبلудному человеку нанесенного ему, Цицикорэ, оскорбления!

— Но — о позор, о стыд! — никто не проронил ни слова! Ни единая душа!

И Цицикорэ остался с разбитым сердцем, с омраченной душой. Разве он был теперь человек? Да нет, какое там, — источник, хрупкий камень, когда-то твердый и нерушимый, а ныне — изъеденный, истлевший, готовый распасться в пыль!

Покровитель столькох нуждавшихся в защите, он

сам оказался в трудную минуту без защитника! Никто не бросил ему даже простого сочувственного взгляда! Можно ли было это подумать?

Только и оставалось Цицикорэ, что желать себе смерти. И смерть явилась ему, явилась не во сне, а наяву. Он видел ее своими глазами! Она была закутана в черную бурку, а коса белела, блестела в ее руке.

Цицикорэ не был человеком, повидавшим свет, — ему не довелось путешествовать, и это считали большим его недостатком. Всю жизнь он был словно гвоздями приколот к своему очагу, ни разу не уезжая из родной деревни.

— Мой пуп, говорят, закопан тут, в этом очаге — чтобы я не отбился от дома, не одичал!

Он не видел ни разу Тбилиси, не имел понятия об электрическом освещении, о поезде знал только по чужим рассказам. И этим гордился и похвалялся!

— А что в нем особенного, в этом вашем Тбилиси? Рассказывают прямо-таки чудеса, но я ничему не удивляюсь и ничего не боюсь. И видеть вашего Тбилиси не хочу! Что мне там делать? Ни за что в город не поеду!

По голосу и тону можно было, правда, заметить, что этот бесхитростный, выросший на лоне природы человек испытывает какой-то мистический страх перед городской цивилизацией. Но гордость не позволяла ему признаться в этом.

Старость как говорит пословица, и льва одолеет. Одолела она и Цицикорэ. Ему стало трудно ходить, потом он простудился, но из той же своей извечной гордости не пожелал лечь в постель... И болезнь, осложнившись, унесла его.

В 1915 году, в тот самый день, когда гудок первого поезда Кахетинской железной дороги донесся до нашей деревни, сельчане хоронили Цицикорэ.

При звуке отдаленного паровозного гудка соседи удивленно переглянулись.

— Ведь вот, боялся, бедняга, поезда — и вовремя ушел, подгадал срок!

В ночь, когда умер Цицикорэ, не падали с неба звезды, не шумели и не гремели воды, не свистел и не рыдал ветер, как это непременно бывает, по народному поверью, в час смерти великого человека. И собаки не выли. Ничего похожего в ту ночь не происходило.

Это была тихая, прохладная ночь — как обычно ранней осенью.

Наутро, когда выгоняли стадо, деревенские женщины по привычке собрались в кружок на перекрестке.

— Ох, беда!

— А что случилось?

— Как, ты не знаешь?

— Чего не знаю?

— Не слыхала о нашей утрате?

— Да нет же! В чем дело?

— Рухнула опора нашего села! Вчера ночью Цицикорэ отдал богу душу!

— Ох, горе! Беда! — разохалась вторая.

— Что с нами теперь станется?

Многие огорчились искренне, от всего сердца. Пожилые женщины расчувствовались, слезы покатались по морщинистым щекам.

С кладбища крестьяне возвращались понуриив голову, с растерянными лицами.

— Что теперь будет? Под гору покатимся! Без старшего остались! Какого мудрого человека бог отнял!

В домах поднимали чашу за упокой души Цицикорэ.

— Вернул богу душу наш Цицикорэ! Теперь он — в плену у сырой земли! Ушел от нас! Помянем его, ребята, наполним чашу! — говорил какой-нибудь Туха, Баха, Хота, Бирхла или Бохвера, пуская темно-красную струю из кувшина в глиняную чашу.

— Эх, не услышать нам больше отеческого наставления Цицикорэ!

Даже сам Саватели склонился перед памятью покойного — подошел к гробу, ударил по крышке ладонью и сказал с искренней печалью:

— Скоро ли еще породит мир такого человека?

Не нагнется высокий — так низкий не дотянется. Недаром говорится: нельзя сварить две бараньи головы в одном котле!

В день похорон Цицикорэ в нашей деревне не было видно ни одного улыбающегося лица. И только в воздухе стоял запах щедрых поминок.

— Эх, не пройдетя больше Цицикорэ по нашей деревенской улице, постукивая своей палкой!

— Не хлестнет, точно плетью, горьким словом!

— Разве правда — плетка? Правда, сказано мудре-

нами, сухое дерево заставит зацвести! Погоди — вспомнят Цицикорэ, будут ценить его дела на вес золота!

— Обездолила нас проклятая смерть! До крайности довела!

На похоронах старухи утирали слезы и качали головами: «Чего оно стоит теперь, наше село, после смерти Цицикорэ? Не село, а — селище! Да, да, селище, развалина, пустыня! Конечно — пустыня, с тех пор как ушел в могилу Цицикорэ».

Те, кто помоложе, улыбались.

Старики же с плачем провожали покойника.

Так уж, видно, всегда бывает: только людей своего поколения оплакивают искренними, горькими слезами пережившие их современники...



## МАРИТА

Кто не любит солнце?

К солнцу стремятся и могучий орел, и малая птица жаворонок, что поет по утрам: «Ввысь взвбуюсь!» — и взмывает под небеса на трепещущих крыльях.

А пуще всех влюблен в солнце гранат!

Точно молния опаляет меня яркий луч гранатового цвета!

Люблю этот пламенеющий цветок — не само ли солнце возжигает его, как свечу? Люблю жаркий поток расплавленного золота, что струится от него; люблю его за полноту сердца: точно он досыта напился солнечного блеска.

Нет, не верю, чтобы он мог увянуть, как другие цветы, поблекнуть, осыпаться, обратиться в прах! Не верю!

Он порожден солнцем. В его чашечке накоплена, как пряный нектар, песнь лучей, заключено журчание прозрачного их потока; родство с солнцем сквозит в каждом его лепестке.

Не цветок, а отблеск струй солнечной реки!

Таким же прекрасным созданием природы, щедрым ее даром была Марита, чей образ влетается в мои вос-

поминания, сияя, как гранатовый цвет. Марита, улыбающийся, как утро, светозарный цветок моих отроческих лет!

Марита! — словно красное солнышко капельку света обронило!

Марита! — словно юный месяц на землю забрел!

Марита — друг моего детства! Первая среди девушек — признанная царица!

— Тебе бы называться «Мзевар» — «Я солнышко»! — не раз говорили Марите.

После Мариты меня не могли уже удивить ни пленительная Кинцвисская фреска, ни прекрасная Серафита из Армази.

— Кто не видал небесной красоты — спешите в Мухат-Цхаро, чтобы удостоиться ее лицезрения!

Не подумайте, что я преувеличиваю: посмотреть на Мариту приходили из дальних деревень. Приходили, глядели, дивились:

— Кто тебя породил, красавица?

Красой и гордостью всего нашего ущелья была Марита!

Явственно стоит у меня перед глазами ее беломраморное, точеное лицо. Ясная, смиренная, как голубка, тихая, как майский дождик, ладная, как виноградная гроздь, скромная — глаз не подымет, ласковая, как ветерок в трепетной листве.

Полстине — заговорившее райское видение была Марита.

Представлялись вам когда-нибудь глаза маленькой косули? Любили вы глаза живые, быстрые, как ласточкино крыло? Восхищались мраморным чеканом прекрасного лица? И впрямь струило свет лицо Мариты! Ярким гранатовым цветом цвела ее красота.

Точно спустившаяся с неба радуга шла Марита по сельским проулкам в своем грошовом ситцевом платье. Удивителен нрав матери-природы! Как щедро одаривает она порой избранных своих детей!

Но душевная красота Мариты была еще выше ее внешней, телесной красоты. В душе у нее, по старинному слову, цвели розы и фиалки.

Марита чувствовала и сама эту излившуюся на нее благодать, сознавала, что удостоилась дара великой красоты и отвечала на него чистотой и нравственностью... Знала, что избрана и оделена свыше меры, — знала и

лелеяла, боялась уронить этот редкий, бесценный...  
Сколько юношей вздыхало, томясь: «Эх, что бы мне родиться сыном твоей свекрови!»

— Какому счастливцу она достанется? Кто уведет ее и назовет своей?

— Крестьянская девушка — и такая красавица?

— Что ж, разве Этери была не крестьянской девушкой, дочерью простого мельника? А ведь полюбил ее за красу царевич Абесалом!

Напротив нашего дома ютилась под шатром огромной смоковницы хижина Чачики. Дочерью этой лачуги была Марита — наша крестница и моя подружка, сиротка, выросшая без матери, под крылышком своей бабушки Лелаури.

В ту пору она была маленькой девочкой, а я — мальчишкой, ее ровесником.

Был сентябрь на исходе — пора, когда виноград уже собран, зарытые в землю винные кувшины наполнены суслом, прикрыты ореховыми листьями и обмазаны по верх крышки глиной, а во дворах стоит запах только что срезанной кукурузы. Янтарные дни горят в эту пору, как восковые свечи. Воздух прозрачен, небо — чистойшая, тающая лазурь...

Безмолвные, недвижные стояли мои родные Цив-Гомборские горы. Визу, в долине, сверкала Иори — как клинок, выхваченный из пожен. Негромкий, как бы сытый шелест доносился из зеленых приречных рощ и рамешев. Мы, деревенские ребятишки, ловили носившуюся в воздухе паутину — «оленью слюну», бегали, кувыркались, распевали...

Вдруг к нам во двор въехал верховой — человек средних лет, с проседью в волосах. Он держал перед собой в седле маленькую девочку. Это была Марита.

Золотистые волосы в шелковых колечках... синие глаза... Мне почудилось, что в наш двор вилыла фиалка — вилыла и наполнила его собой. Я застыл на месте и молча глядел во все глаза на гостей. Потом робко приблизился к ним, и даже, осмелев, заговорил... Скоро мы с Маритой играли вместе.

Это был Чачика, незадолго до того овдовевший. Он приехал к нам издалека вместе со своей маленькой осиротевшей дочуркой. Покойная жена его была из нашей деревни. Скоро показалась и та, кому предстояло заметить девочке мать, — бабушка Лелаури.

Мать моя обрадовалась, увидев свою крестницу. Она оказала гостям самый радушный прием. Чачика и его дочь провели у нас весь день. А на завтра вдовец поселился вместе с дочкой у своей тещи.

И с этого же дня трудолюбивый Чачика принялся за работу — закрутился, завертелся в хозяйстве бабушки Лелаури.

Он был родом с Арагви, но, потеряв любимую жену, не смог оставаться в своей деревне и переселился на ее родину.

Скоро он развел на маленьком участке своей тещи великолепный виноградник. Целыми днями не выходил оттуда — вечно возился среди лоз. Соседи отзывались о нем с похвалой — уважали его за великий труд:

— Вино, сделанное Чачикой, грех пить на пиру, с бражниками. Его надо принимать по каплям, как лекарство!

Дом у Чачики был бедный, хогь и крутилась в нем бок о бок с ним бодрая, работающая бабушка Лелаури.

Марита быстро научилась читать и писать и с большим прилежанием обучала грамоте других. А когда она выросла, то стала удивительно искусной ткачихой-ковровщицей. Яркими весенними колерами расцветивала она свои ковры — но с чувством меры, как опытная мастерица!

Примерно в ту пору и я начал писать стихи. Оба мы обнаружили в себе призвание художника и, должно быть, поэтому почувствовали взаимное духовное родство. Возможно, это и стало причиной нашей тесной дружбы; но сам я сказал бы тогда, что причина — певчий голос Мариты, ее дышащее невинностью лицо и ее удивительная девичья ясность.

Марита сразу уверовала в мой поэтический дар.

— Дай мне твои стихи, — упрашивала она меня. — Я вытку их посередине ковра. А вокруг будет рамка из роз.

Но разве какие-нибудь мои стихи были достойны труда проворных пальцев Мариты и сосредоточенного ее внимания?

Я и сегодня, пожалуй, не смог бы убедить Мариту, что еще не написал стихов, достойных быть вытканными ею на ковре.

Немало горя хлебнула на своем веку бабушка Лелаури, и труженица была на удивленье! И Марита по-

ходила на нее — она тоже хотела пить лишь из чистых ключей!

Марита и в работе была опрятна — всегда в каком-то обшитом кружевами, отделанном оборками переднике из ситчика в земляничные цветочки.

В детстве, помнится, мне ужасно было жалко «собирательниц колосьев». Занимались этим женщины и подростки. В жестокий июльский зной, на самом солнцепеке, когда голова пылает и кровь, кажется, вот-вот закипит в жилах, целыми днями должны были они бродить согнутыми в три погибели по сжатому полю, подбирая оброненные вязальщиками снопов и срывая не срезанные жнецами колосья. Вечером они уносили домой в передниках свою небогатую добычу.

Добыча эта была, однако, их годовым доходом и урожаем... Если женщина была замужней, все равно эти подобранные колосья были ее личным заработком, до которого муж не дотрагивался. К ним прибавляли обмолоченную солому с гумна и молотили все вместе снова. На жалкие гроши, сколоченные таким вот адским трудом в свирепую летнюю жару, женщина могла, не спрашивая мужа, купить у коробейника ситцу или бузаи для себя или для своих обносившихся детей...

В июльские дни Марита с раннего утра становилась в ряд с рассыпавшимися по жнивью женщинами и прилежно подбирала рассыпанные колосья. Для меня было невыносимо, что Марита работает в этот палящий зной под открытым небом, и я бежал ей помогать. Не раз выговаривала мне мать, сердилась, пугала меня солнечным ударом, но я не мог сидеть дома, когда Марита, склонившись к самой земле, подбирала колосья!

— Ступай домой, милый, перегреешься, захвораеть! — говорила мне Марита мягко и ровно, как всегда, но ее нежный голос окончательно приковывал меня к тому месту, где она собирала колосья.

Пылала красноватая, опаленная солнцем низменная равнина, вдали манили зеленью прохладные сады, но тенистые, задумчивые деревья шелестели не для Мариты.

А по вечерам спокойное, прелестное лицо Мариты словно освещало ее полутемную лачугу, и ни следа усталости после тяжкого трудового дня не было заметно на нем: А бабушка Лелаури любовалась своей кра-

савицей внучкой и в восхищении расточала ей любовные слова:

— Чистая лилия моя, легкое мое облачко! На что тебе приданое? Твое богатство — эти мягкие, шелковые косы!.. Твое приданое — эти твои фиалковые глаза!..

— Лицо у тебя — точно ясный месяц, а плечи и шея слепят глаз белизной! Вот оно, твоё приданое!

И так, пядь за пядью, всю с головы до ног, разбирала и восхваляла Мариту с увлечением старуха Лелаури.

А Марита стыдливо нежилась под ласковыми взорами бабушки.

— Душу отдаст, жизнь свою положит за тебя твоя бабушка! Сиротка моя, светлая моя жемчужина! — приговаривала старуха, заплетая косы девушке, уютно свернувшейся клубочком на тахте. А Марита слушала, притихшая, как косуля. — Птичка моя веселая, подружка белой розы! Голубка моя, горлянка! — не унималась бабушка Лелаури. — Зорька моя ясная, светозарное солнышко!

В те времена был у нас, у детворы, счастливый день — «складчина», братское угощенье, праздник цветов, объединенное ребячье пированье. Такую складчину мы, ребяташки нашей части села, устраивали ежегодно в мае.

Каждый из нас забирал из дому заранее заготовленные припасы, сладости, сладкие напитки, и мы отправлялись за деревню, расстилали скатерть где-нибудь на лужайке, под деревьями, надевали на головы себе венки из ромашек, а стол украшали пестрыми полевыми цветами.

Тут мы проводили весь день — играли, плясали, пели, состязались в стихах...

Помню последнюю «складчину» — на краю нашего виноградника, под огромным, раскидистым трехсотлетним орехом.

Мне, участнику этих давних «складчин», часто приходит в голову: почему бы нам не возобновить славный старинный обычай, не устраивать, как некогда, радостные детские праздники, в знак весеннего обновления природы?

Ярче всего запомнилась мне на этой последней «складчине» Марита, которая была в этот день хозяйкой! Праздник был последний, потому что мы уже вы-

ходили из детского возраста и вступали в юность одну из наших сверстниц незадолго до того выдали замуж...

И уже совсем иными глазами смотрел я в тот день на Мариту — она показалась мне удивительно переменявшейся. Передо мной была уже созревшая девушка — стройная, женственная, с налившейся девичьей грудью под светло-розовым платьем...

Заботливо исполняла Марита обязанности хозяйки за нашим столом — следила за порядком, ухаживала за всеми нами, была ласкова с каждым. В глазах у нее мелькала едва заметная печаль — должно быть, потому, что и она, как мы все, прощалась с беззаботным детством...

И еще я заметил, что наш сосед, пастух Гедия Нателидзе, парень лет восемнадцати — девятнадцати, не отходил от Мариты, помогал ей хозяйничать за столом и все глядел на нее с робкой улыбкой, словно о чем-то умоляя, а впрочем, порой как будто и ссорился с нею. Словом, мне показалось, что Гедия никого, кроме Мариты, не замечает. Пышный цветочный венок, сплетенный им с большим искусством, он возложил именно на голову Мариты и танцевать «лекури» ни с кем больше не захотел.

Да и сама Марита была явно не в своей тарелке — вдруг притихнет, словно оторвется от здешних мест и перенесется куда-то далеко-далеко, в иные миры... И ясное, прелестное лицо ее казалось чуть омраченным — словно его коснулась своим крылом печаль...

Пастух Гедия был заметный парень — не потерялся бы среди самых отборных! Но какой же из него жених? Гол как сокол, сирота — ни двора, ни скота, ни земли...

Скоро разнесся слух, будто Марита и Гедия влюблены друг в друга. Да Гедия и не скрывал этого. Как-то раз, когда мы ходили всей нашей ребячьей командой в лес, собирать кизил, он принялся при мне напевать:

Сохну по тебе, Марита,  
Мочи нет уж, так тоскую...

Парень точно помешался: его прямо-таки шатало и корчило от любви, он потерял покой, отбился от дела, ни к чему не имел охоты. Любовь заполнила его целиком — проникла в каждую его клеточку и жилу.

Эх, проклятая любовь!  
Горше нет на свете муки!  
Изрублю тебя, сожгу —  
Только дайся в руки!

Немало и других парней поразила в самое сердце сияющая краса Мариты. Искрометные юноши вздыхали по ней, искали с нею встречи. Не один молодой пастух, а робщик или виноградарь тосковал по Марите.

Марита была виновата в том, что у одного то и дело отбивались от стада телята, другой не выходил на работу в сад или в поле, третий ворочался в постели всю ночь напролет без сна, четвертый вздыхал и стонал день-деньской, не переставая...

— Ох, трудно без тебя! — зывали в мечтах к ее тени влюбленные.

Но всех глубже был ранен любовью Гедия.

Помню храмовой праздник в нашей деревне — гулянье и веселье на площади перед церковью Сиони.

Молодежь затеяла играть песни. Мы разделились на две группы, выстроились, взявшись за руки, рядыми встали ряд против ряда, и завязалось песенное сражение. Споеет стих один ряд и скакнет вперед, продвинется на шаг. А противники споеют ответный стих и точно так же прыжком надвигаются навстречу. В одной группе были Марита и я, в другой — Гедия.

Группа Гедии затинула старинную запевку:

Дай мне, девица, кольцо,  
Обручальное кольцо.

Мы ответили:

А за что тебе-то честь?  
Тут таких, как ты, не счесть!

Группа Гедии:

Мы — посланцы пастуха,  
Привечайте жениха!

Мы:

Наша краля не чета  
Для бродяжки-пастуха!

Гедия вспыхнул, насторожился: это его высмеивали в песне.

А игра продолжалась, не стихала песня.

Они:

Мы невесту умыкнем, увезем!

Мы:

Как же! Руки коротки, коротки!

Они:

Мы подарки привезли!

Мы:

Нам подарки не нужны!

Они:

Тут парчи на сто рублей!

Мы:

Вашим тряпкам грош цена,  
Не со свалки ли парча?

Они:

Как ни прячься, а найду!  
И приду, и уведу!

Противники кинулись к нам, схватили Мариту за руки и увлекли ее за собой. Но наши тут же бросились в погоню и привели ее обратно.

Не отдали Гедии Мариту, пожалели ее для пастуха-телятника.

Потом обе группы соединились, стали в круг, забили в ладоши — и пошел пляс под песню!

Самозабвенно носился Гедия по кругу, лихо отплясывая и выкрикивая с отчаянной удалью:

Гей, гей, попляши!

Девушки поддавали жару:

Платье матушка мне сшила,  
Складки шелком шелестели.  
Полюбуйся, друг мой милый,  
Как оно сидит на теле!

Парни отзывались:

Не сравнятся с павой квочке,  
Хоть на платье оторочки!

Гедия пригласил Мариту на танец. Марита озарила его мягким светом своих глаз и... выплыла в круг. Легко летела Марита, раскинув руки, и мы загляделись на нее. Как она была хороша, когда вдруг вскидывала изпод опущенных ресниц быстрый взгляд! Точно летучий ветерок плясал под метелками тростника! Все затаили дыхание, и тут — как раз когда Марита должна была в последний раз обойти круг — показалась в дверях церкви бабушка Лелаури, подошла, нахмурясь, и вывела девушку за руку из круга.

Марита стояла перед ней с виноватым и пристыженным видом — точно ее уличили в чем-то зазорном...

— Да разве он тебе ровня, этот несчастный? — сказала старуха строго, с укоризной, отведя Мариту в сторонку.

Впервые сердце Мариты узнало жгучую боль...

А Гедию его всепоглощающая любовь сделала мισηню для насмешек. Разве можно всю свою душу, все свои помыслы посвятить женщине? Да этак и времени никакого не хватит — ведь у деревенского человека тысяча дел, тысяча забот! А Гедия глаза свои проглядел, вслед Марите глядячи!

Молодцу к девичьей юбке  
Льзуть и липнуть не под стать.  
Все в свой час: ласкать красотку,  
Целовать и миловать...  
А порой на люди выйти,  
Чтоб от жизни не отстать!

Но Гедия уже о жизни и не думал — совсем толк потерял парень!

Как-то вечером донесся до меня через улицу разговор Хатуты, матери Гедии, с сыном. Старуха, подоив корову, споткнулась о камень, уронила подойник и разлила молоко.

— Состарилась я, сынок, — говорила она со слезами в голосе. — Сил нет больше работать, глаза плохо видят. Брожу как в тумане, и мерещится мне, будто я в саван закутана! Приведи жену, чтобы было кому огонь в очаге разжигать! Вот к Марите посватайся — такую со свечой поискать!

Не знала Хатута, что ее сын давно уже обезумел от

любви к Марите! Не то что посвататься — готов был за белые ручки схватить и увести среди дня и даже голову за это сложить! Да и Марита была согласна — боялась только бабушки Лелаури.

Взвилось пламя любви! Взвилось, запылало...

Марита и Гедия могли бы сказать друг другу, как Вис и Рамин, герои старинной повести «Висрамянани»: «Не знать мне счастья ни с кем, кроме тебя, и не знать тебе счастья ни с кем, кроме меня! Я — май, а ты — весна» — или спеть словами народной песни:

Пусть хоть девять солнц сияют,  
Без тебя я стужей скован!

Любовь охватила все существо Гедии до самых сокровенных глубин. Марита и Гедия были, как говорится, созданы друг для друга, но судьбу их решила бабушка Лелаури.

— Гедия? Что ж, парень неплохой, да ведь нищ, семьи не прокормит. Не просватаю за него, не дам в обиду единственную мою внучку! Довольно трепала и котила нас бедность!

И уронила слезу на шерстяную кудель, что сматывалась виткою виткой на быстрое веретено.

Тогда ей замолвили словечко за овчара Шетэ; этот пришелся бабушке по душе.

— Шетэ? Овцевод, хозяин, богатей... Живет в довольстве... Его отары, говорят, тучами покрывают Триалетские горы, а примутся их доить — словно молочный дождь хлынул! К закромам да к погребам Шетэ без лестницы и не подступишься! Все у него полно через край — кувшины, лари, бочки, корзины! Будет моя Марита жить привольно! Нет, не написано ей на роду быть беднячкой снохой! Пусть жизнь ее розами осыпает, пусть солнышко ей путь позолотит! Она этого достойна! — сказала непреклонная старуха.

Эти ее слова решили дело, и ничто уже не могло их перебороть.

Отец Мариты, Чачика, поднял было голос на семейном совете:

— Что за лад да совет без любви? Не задастся жизнь, расплетется, распустится в руках рыхлое тканье! Не купишь за золото счастья! — но и он не решился обречь дочь на горькую бедность.

Да и теща одернула его сурово:

— Довольно с меня и того, что дочь моя намаялась. Да и сами мы хлебнули горя немало!

Так и выдали Мариту замуж за немилого, нелюбимого, нежеланного... Достался ей в мужья желчный, свесивый, грубый человек, с волчьей повадкой.

С пылающим лицом выслушала Марита приговор, обмерла, узнав, какая ей уготована судьба. Но что ей было делать? Не раз, зажмурив глаза, воображала она себя рядом со своим Гедией... Великие надежды рассыпались в прах!

Обрушился звездный венец... Почернела серьга — огненный лал...

Когда кончилась свадьба, с Мариты и с Шетэ сняли шашками и кинжалами брачные венцы — в знак того, что отныне их никому не разлучить без сабли и кинжала, без боя и кровопролития. И началась для Мариты сумеречная, безрадостная жизнь...

Шетэ, сухой, неприветливый, угрюмый, был никому не мил и никого ни во что не ставил; жадный до жизненных благ, он по десять раз на дню пересчитывал своих овец, и все ему было мало.

Бедность вызывала в нем презрение. Бывало, раставит ноги, напыжится и поносит неимущих собратьев.

Однажды он изрек такие вот премудрые слова:

— Кто это придумал всех со всеми равнять — имущих с неимущими, добрых хозяев с голюю перекатной?

Шипами впивались в сердце Мариты слова Шетэ, и долго болели раны — точно след от волчьих зубов!

А что же Гедия? Внешне он остался совершенно спокоен, даже бровью не повел — а все из гордости: думал, что девушка сама от него отказалась. Сначала он исчез — долго его не было видно в деревне. Потом раза два или три прошелся мимо новенького дома Шетэ в пастушеской бурке, занесенной снегом, — прошелся и даже не глянул в сторону Мариты!

А время шло... Все позабыли об этой истории — все, кроме Мариты и Гедии.

А потом — о чудо! — у Шетэ родился сын, и он, не знаю по чьему совету, позвал в крестные отцы Гедию. Злые языки впили в этом Мариту.

Гедия вел себя как всякий кум и крестный. Но-видимому, Шетэ ничего не знал. Да и что ему могло быть известно?

Оба, и Гедия и Марита, наедине с собой старались

побороть чувство, которое владело ими, — старались, но не могли.

...И вот однажды, когда Шета был в отлучке, на Тriaлети, его мать Гулизар покинула этот мир. И Гедия пришел к нему в дом, чтобы отдать покойнице последний долг.

Кум пришел выразить куме соболезнование — что ж тут особенного? Но на деле-то Гедия икаждал улыбки Мариты! Лишь бы услышать словечко из ее уст — и хватит ему счастья на целый год!

Случайно Марита была в доме одна.

— Да здравствуют две капельки меда, что сегодня в единую сладость сольются! — засмеялся ветерок.

Веселился краснощекий май, струила одуряющий аромат томная сирень.

Встретились после разлуки новые Тариэль и Нес-тан-Дареджан!

Но соседка, старая дева Балбалука, была начеку. Всюду шныряет, все пронюхает, хоть иголку в гостях, да украдет! И на этот раз не ускользнуло от нее такое событие, как посещение Гедией Мариты. И, жуя свою вечную смолку — «кэви», сплетница раззвонила, разнесла новость по всей деревне...

Развернулся, распустился ласковый, медоточивый язык, пошел извиваться, плести, гладить и лощить. Скромница была Балбалука, жужжала тихо, со стыдливо опущенными глазами, любила льстивые речи. И так, перебрасывая с невинным и незлобивым видом сахаренные слова, возвестила она всей деревне, что Гедия и Марита стали теперь как муж с женой.

Рожденная языком Балбалуки, раздутая при передаче из уст в уста сплетня дошла до ушей сельского старейшины.

— Разве мир слеп? Можно ли так на все село наплевать? — негодовал Цицикорэ. — Нет, нет, и у забора есть глаза, и у стен, даже у чашек и плошек!.. Женщина — дьявольское отродье! — заключил Цицикорэ, и никто не посмел ему возразить.

Гнев обуял старика, он весь кипел и пылал, стонал, трясся, лил воду себе на голову.

— Плюнули в купель, священное миро смешали с грязью! Честь наша поругана, опозорено все наше село! Неслыханное дело! Расскажут — не поверишь! Вот он, знак вырождения людского! И в какое же время это

случилось? При мне, когда я за село порукой! С меня ведь спросится, я ответ должен держать — и перед богом, и перед миром, и перед мужем, и перед потомством! Ох, срам на нашу голову! Позор всей нашей общине! — бушевал Цицикорэ. — Подите зовите людей! Пусть придут Элия, Заза, Гория, Соломон, Кандуа, Захарий! — отдавал он распоряжения.

Среди ночи собрался в саманнике у Цицикорэ тайный совет деревенских старейшин. Большие разгорелись споры! Цицикорэ изливал горечь и гнев, накопившиеся у него на сердце. Он твердо стоял на своем. Кто-то решился возразить, воспротивиться. Но влиятельный главарь деревни сумел навязать всем свою волю. и под конец даже те, кто вначале шел против, присоединились к жестокому решению Цицикорэ.

...Над деревней встало серое, сырое утро, сменившее дождливую ночь. Ключья туч, память о ненастье, еще бродили по небу, цеплялись за горы. Небо было точно простуженное, слякотное, грязное, размокшее, и воздух отдавал гнилью и прелью. Чернели изгороди по обеим сторонам проулка, — дождь смыл с них серую пелену пыли. Ветви и листья роняли частые, холодные капли.

Рано утром я проснулся от глухого гула или ропота, доносившегося издалека. Мне было тепло и уютно в постели, не хотелось вставать, и я прислушивался шороху. Гул нарастал, приближался к нашему дому...

Тут наконец я вскочил, бросился к окошку.

Даже и сейчас волосы у меня встают дыбом при воспоминании об ужасном зрелище, представившемся моим глазам.

По улице стремилась рекой разъяренная, буйная деревенская толпа. Она волновалась, бурлила, роптала, негодовала, металась, как поток в своем ложе, стонала, словно изрыгая накипевшую на душе желчь, злорадно торжествовала над кем-то или из-за чего-то... Но ни единого слова не было слышно.

Толпа гнала перед собой осла. На осле сидела лицом к хвосту женщина в одной рубашке.

До сих пор явственно помню, как дрожала несчастная всем телом, как трепетала каждая ее мышца. Видно, было ей и холодно, и больно, и жарко, и горько, — пронзенная мукой, она, должно быть, призывала смерть, но смерть не приходила, а пытка, терзавшая ее, была горше смерти...

В эти страшные мгновения она умирала не один, а десять раз, и всякий раз ее силой возвращали к жизни.

...Так вели на позорище деревенскую мученицу, — казалось, едет царица и несметная свита сопровождает ее.

Трепетали беломраморные плечи, а толпа забрасывала комьями грязи и навоза белоснежную рубашку.

Ни единого слова.

Ни одного громкого возгласа.

Вот что было удивительно!

Но безмолвие это было ужаснее любого шума, оно гремело, как водопад, затягивающий в себя все и всех.

Несчастливая женщина глядела перед собой недвижным, невидящим взором... А может быть, она была душой где-то далеко, по ту сторону самой жизни, и не чувствовала страданий этой горькой минуты?

Вдруг, когда процессия стала заворачивать за угол, я узнал женщину.

Наша Марита! Полумертвая, посеребренная, осунувшаяся — это была Марита! Весенний цвет, дыхание мая — Марита!

Мать моя тряслась как в лихорадке, из глаз ее струились слезы. Я был ошеломлен — точно земля разверзлась у меня под ногами. А толпа молча, неудержимо катилась вперед, как яростный горный поток, и перед нею было бессильно все — даже сам господь бог!

После этого страшного дня никто уже не видел униженной, раздавленной, опозоренной Мариты.

Марита умерла для людей.

Исчезла — как если бы тайно покинула наши края.

Никто никогда не упоминал о ней. Даже ребенок, бывало, запнется, если навернется на язык имя Мариты, и удержится, проглотит слово, не произнесет...

Молчали и бывшие друзья Мариты.

Все уже осознали свою ошибку, сожалели о своей злобе, тяготились своей виной...

А Гедия, потрясенный, убитый, в самом деле покинул наши края, бежал куда-то в азербайджанские степи и там, отчаявшийся, терзаемый жестокой тоской, нашел желанную смерть — бросился на чей-то нож...

Поняло, почувствовало село, какое оно сотворило злое дело — нанесло смертельную обиду достойнейшей из своих дочерей, невинной и беспорочной!

Марита живо истаяла, превратилась в тень, и вскоре несказанная печаль свела ее в могилу.

Грех был на всем селе — смерть Мариты причинила каждому глубокое горе! Огромное множество народу стеклось со всех концов во двор к покойнице.

Нетленная красота Мариты — «лоб как ясный месяц, лик чистого серебра, алебастровая шея», — и на смертном одре пленяла взор.

Целое море слез пролила деревня, оплакивая свою красавицу, свое красное солнышко. Плакали, разливались ручьями над гробом...

И только безмолвный Цицкоре стоял поодаль с суровым и непреклонным видом. Пасмурный, погруженный в тяжкие мысли, но нераскаивный, он то и дело, грузно опираясь на посох, всматривался строгим взором в лицо покойной, точно проверяя, на самом деле она умерла или нет? Удивительное дело — Цицкоре, чья воля оказалась властной над жизнью и смертью Мариты, чье слово было причиной всех пролитых сегодня слез, Цицкоре нисколько не терзался. Он не сомневался в своей правоте! Он ведь встал на защиту вековых понятий чести и нравственности, оградил родное село от позора, не захотел простить виновным явное преступление! Ему только жаль было по-человечески это юное, «не знавшее радости» существо. Он и сам удивлялся своей власти и силе.

— Где я ударил — и где отозвалось!

«Насытила меня горечью, напоила меня печалью жизнь... судьба...» — могла бы повторить Марита.

Черный дым горя застлал деревню.

Потеряло село свою Тamar-царицу! Оплакивали ее даже деревья...

...И вот настали последние минуты прощанья над разверстой могилой; пришло время каждому бросить горсть земли на крышку гроба. И вдруг столпившиеся вокруг могилы люди, вспомнив, что ведь они-то и были палачами Мариты, все вместе, разом, в испуге, рванулись назад, словно пред взором их предстало что-то ужасное — ужаснее, чем гроб с покойником, — рванулись и отступили, толкая, сбивая с ног и чуть ли не тонча друг друга. Ни один не осмелелся засыпать землей неземную эту красоту... Ни один!

Сам бесстрашный Доленджи застыл на месте, оце-



печев, не в силах переставить ногу, нагнуться за горстью земли.

Недвижно стояли люди и рыдали в голос...

Наконец опять-таки Цицикорэ вывел толпу из оцепенения.

Петвердым шагом приблизился он к могиле, нагнулся, зачерпнул горстью землю и бросил ее на крышку гроба.

Потом схватился за лопату, и посыпалась земля с шорохом, с глухим стуком в могилу.

Полегчало людям... отпустило горло... А то, казалось, задушат слезы...

В каменистой земле, меж скал уюкоилась Марита.

Земля сраму не имеет — но трава от стыда спряталась, ушла в землю...

Солнце вдруг разгорелось, вспыхнуло — словно отторгнутая частица его, Марита, вновь соединилась с ним.

Умерла Марита, затмились горы, опустела земля, расплавились камни, рухнули скалы.

Так говорил народ.

А в песне пелось:

«Взвилась бабочкой душа Мариты, и ангелы встретили ее колокольным перезвоном».

И еще говорили, будто бы голубь взлетел в небеса с благою вестью о прибытии в заоблачный мир Мариты.

И будто бы на том свете подали ей, усталой, стул золоченый.

И сама богородица сказала ей: «Присядь, доченька, отдохни, в лице у тебя ни кровинки — видно, притомилась с дальней дороги!»

А Иисус Христос будто бы достал шелковый платок, чтобы отереть лоб Марите, оживить ее, вернуть на землю, но залюбовался невиданной красотой, пожелал это чудо для земли, не захотел отпустить от себя. И теперь Марита сияет в небе звездой.

Весь тот год не было дождя. Засуха спалила хлеба, иссушила виноградники. В каждом доме той осенью дно чарки оставалось сухим.

Потрескались давяльни, в кувшины набилась пыль.

Все эти беды народ принял как возмездие за безвинную гибель Мариты.

Помню, долго шли об этом в деревне толки и пересуды... А потом надвинулись другие события — до того ли нам всем было?

Давно уже испепелила Мариту сырая земля, и стерла память о ней неумолимое время.

Лишь мы, немногие, кто видел и знал ее, вспоминаем иногда, как баснословное предание, эту необычайную красоту — телесную и духовную. Да и то вспоминаем только между собой...

\* \* \*

Нынешней весной я побывал в нашей деревне и пошел взглянуть на то место, где жила некогда Марита.

Вокруг все заглохло, все было безмолвно. На месте прежнего дома не осталось даже разваленных стен — никаких следов человеческого жилья.

А там, где стояла когда-то хижина отца Мариты, громоздилась куча мелкой ячменной соломы, и куры, копаясь в ней, поднимали тучи едкой пыли.

Все смыли, все затопили «бушующие волны жизни, мгновенной и изменчивой».

Ни единого дерева не осталось во дворе Мариты. Только на месте бывшего очага само собой выросло, вспыхнуло пламенем гранатовое дерево.

Передо мной, словно улыбаясь мне, сиял и лучился, как лицо Мариты, только что расцветший огненный гранатовый цветок.

Я смотрел на эту яркую, солнечную цветочную чашечку, и не верилось мне, что Марита не украшает больше нашу землю! И не верилось, чтобы это великодушное цветущее дерево могло вырасти среди пыли и сора само собой.

И в самом деле — откуда приходит в мир красота? И куда она уходит? Где теряется, почему исчезает — или только на время скрывает от нас свое лицо?

Кто знает?



## ЧОРЕХИ

Кончались уроки, и мы, детишки, с веселым гомоном выбегали из школы. Под большой липой на деревенской площади нас дождался Чорехи. Как пастух ягнят, отбирал он нескольких мальчишек из шумливой гурьбы и учил нас, воспитывал, нестовал, направлял...

Это он, Чорехи, был настоящим нашим наставником, а не рыжий Лонго, задававший нам уроки «от сих и до сих» и ничего больше не желавший знать.

Предмет, которому обучал нас этот степенный, задумчивый человек, был всегда один и тот же: любовь к родине.

Вспоминаю: вот он под липой читает нам из «Истории Грузии» рассказ о подвиге священника Тевдоре и в заключение отрывок из старинной «Калмасоба»<sup>1</sup> — наизусть, как молитву, как выплавленные в горниле собственной души мысли, заставляя повторять слово за словом:

«Предки наши, грузины, извели иго многих поработителей — египтян и македонцев, римлян и греков,

<sup>1</sup> «Калмасоба» — произведение Иоанна Багратиони, в котором описывается странствие по Грузии.

персов и турок, Чингиза и Тимура, но никто не мог победить твердость их духа и любовь их к отчизне. Одолеваемые невзгодами, они преодолели невзгоды, гонимые врагами, изгнали врагов и стяжали бессмертную славу в веках...»

Слыша такие слова, мы кипели, клокотали, не могли усидеть на месте от волнения.

На чем воспитывались мы, тогдашние грузинские дети, что образовывало наш дух и наше сознание? Чудесная наша «Дэда эна» — «Родное слово», любимый журнал «Джеджили» — «Нива» — и ненависть к самодержавию.

Мысль о родине и свободе с детских лет опалила наши души. Подростками мы ходили с лицом, затуманенным печалью об отчизне. Печаль эта укрепляла нас, придавала нам твердости и в ту пору, когда верхняя губа покрывается пушком и «все бледнеет перед лицом мечты».

Если до сих пор мы веровали в «святых и праведников небесных», отныне озарило нас сияние «праведников земных» — доблестных сынов и дочерей родной земли, ее служителей и заботников — Вахтанга Горгасала, Давида Строителя, великой Тамар, Дмитрия Самопожертвователя и «вечного воина», как называл его Чорехи, Ираклия Второго.

Помянув имя Ираклия, Чорехи неизменно добавлял со вздохом: «Горе тебе, Багратион!»

Камыши Базалетского озера пели нам песню, полную надежды, и ухо наше прекрасно различало далекую их музыку.

«Если забуду тебя, родная земля, забудь меня, десница моя!» — таков был наш первый обет родине, излюбленное выражение этого обета.

— Целуйте родную землю!

— Поклонитесь останкам прошлого!

И мы, исполняя приказание Чорехи, преклоняли колени и прикладывались истоиво к замшелым камням старинного храма или башни.

Ребенок не горюет так о покинувшей его матери, как Чорехи оплакивал минувшую славу Грузии. Он раскладывал карту и, окруженный склоненными ребячьими головами, водил пальцем вдоль рек и хребтов.

— Месхети! — говорил он улыбаясь, с теплотой в голосе. — Мой род оттуда. Мои предки — выходцы из

Месхети... Самцхе, Ачара, Шавшети, Тао, Кларджети, Эрүшети, Чанети от края до края -- вот разоренное пепелище Грузии! Благословенные края! Не забывайте отсеченных сосцов матери-родины! Это наша колыбель! С грузинским приветом поднимается здесь по утрам солиде над горами. Здесь впервые в мире выплавляли грузины сталь — в незапамятные времена. Здесь впервые ударил молотом по наковальне кузнец из племени Тубал.

— Ныне обратились в прах та крепость и та сила.

Он обводил пальцем границы отторгнутых грузинских земель и говорил, сотрясаемый волнением:

— Там живут, изнемогая, под чужеземным ярмом, наши собратья, такие же, как мы, грузины. Сожжены наши храмы, взорваны твердыни и замки. Долго не сдавалась Месхети, истекала кровью в боях, но не выстояла, захлестнул, затопил ее потоп... Много, много пролито в веках нашей крови!..

— Бедная моя родина — Грузия, бурями побитая, истерзанная коршунами, окровавленная, раненая орлица, барс бездыханный!

Так причитал он без конца.

— Скоро ли увижу дракона с переломанным хребтом, с сокрушенными ребрами? Увы мне, отчизна многострадальная, омытая кровью, разоренная, сожженная, опустошенная! Увы — обездоленная, ограбленная, обрубленная, рассеченная надвое!

Раны Грузии были для Чорехи зримыми и ощутимыми — словно он влагал персты в ее отверстые язвы и черпал оттуда неизбывный жар любви, безграничную силу для борьбы...

Это была неисцелимая рана его собственной души... Внезанию овладевала им сердечная тоска.

— Горе дому разоренному, разрушенному! Слышите — то вошют камни развалин! Гибнет Грузия, сотрется с лица земли остров Христов! Господи, на тебя моя надежда! Подними упавшую нашу отчизну, поверни колесо остановившейся нашей истории, пошли нам силы для обновления! Господи, тебя молю — сокруши недругов и злодеев наших. Воспрянь, Грузия! — восклицал он, с силой топая ногой. — Восстань, восстань, и да расточатся врази твои, и да обратятся в бегство ненавистники от лица твоего! Се день обетованный, ниспосланный господом! Возрадуемся и воз-

веселимся в день сей! — заранее ликовала душа Чорехи. — Скоро, скоро услышим трубный глас грядущего!

Но тут же вдруг омрачалось его темное, суровое лицо.

— Утонуло в Черном море солнце Грузии! Кто достанет его со дна морского?

— О чем пригорюнился, Чорехи?

— Неужели иссякло лоно Грузии? Стало бесплодным? Где он, спаситель наш, мессия? Почему его нет до сих пор? — взывал Чорехи. — Мы ведь немногочисленный народ! Грудь наша залита кровью, от бранного труда онемели усталые наши руки! Алыми дождями орошена наша земля! Вот взгляни на земляничную ягоду — знаешь, что это такое? Капелька крови наших предков! — говорил Чорехи всякий раз, когда находил землянику в лесу. — Миновало время мечтателей, людей пера и бумаги! Дела сегодня нужны, дела! — И, заметив в глазах у нас тень печали, прибавлял, чтобы ободрить: — Еще нальются гроздья в нашем винограднике! И родятся у нас новый Руставели, новые Давид и Тamar! Не отчаивайтесь! Нет сокровища дороже надежды! Что делать мне с любовью, что пылает в моем сердце и ищет слов, жаждет излиться?..

— По человеку с шапки! Так сзывали на бой с врагами в старину! Выходите все до одного, спасайте родину! — восклицал вдруг в волнении Чорехи, глаза его метали искры.

— По человеку с шапки! — кричал он, а жена в испуге закрывала ему рот обеими руками:

— Тише, замолчи, как бы кто не услышал — все пропадем!

Обессиленный волнением, Чорехи в изнеможении онускался на тахту.

— Слушайте меня и запоминайте! Знаете ли вы, какова родина ваша? — говорил он нам, детям, и сам отвечал: — «Земля прекрасная и изобильная, щедро наделенная всеми божьими дарами... Богатая всеми благами земными: зерном и хлебом, вином и садовыми плодами, птицею домашней и лесной, мелкой и крупной дичью; зимою мягкая, солнечная, летом нежаркая; изобилующая студеными ключами, тенистыми рощами и дремучими лесами, густыми травами и прекрасными цветами!» Вот она, наша родина!

Прекрасна ты, моя страна,  
Но чем ты лучше, чем ты краше,  
Душе тем горше горе наше,  
Тем злей она удручена, —

заключал он стихами, которые тут же заставлял нас выучить наизусть.

— Великим трудолюбием отличались наши предки — древние грузины. Поглядите вокруг — нет во всей нашей стране ни одного холма, на котором не виднелись бы храм, крепостная башня или замок! Много по-та нашими дедами пролито, очень много. Надо всегда это помнить! Не думайте, будто мы ни о чем не заботились, кроме здравий да круговых чаш!

Для примера он показывал нам старинную фамильную рукопись. Книгу эту прапрапрадед его Мамамзе переписал одним-единственным пером!

Приписка в конце рукописи гласила:

«Ведайте, что писано сие одним, единожды очиненным пером, и ни разу не было ему замены; и кто после нас возьмется свершить подобный труд, будет хвалы достоин».

Хлопнув рукой по книге, Чорехи говорил с гордостью:

— Вот каковы были мои деды! Душа их не умерла, она и сейчас в трудах. На дне Базалетского озера стоит золотая колыбель, и доньне они качают ее... В той колыбели — златокудрое дитя, наше будущее, наша свобода и спасение...

Такова была вера Чорехи. Он уповал, что спасение придет само собой, что можно обрести свободу, не пошевелив пальцем. Вырастет златокудрое дитя и освободит родину. Бывало, прочитает нам Чорехи стихотворение о Базалетском озере и дополнит легенду Ильи Чавчавадзе тихим, мечтательным голосом: на дне озера — драгоценные золотые палаты; потолок в них из звезд, пол усеян драгоценными камнями, и посредине стоит ковкая золотая колыбель, также осыпанная жемчугами и алмазами. На колыбели — голубь, он качает люльку, баюкает дитя. Голубь тот — душа Тамарцарицы.

В нынешней, повседневной жизни Чорехи разбирался слабо, «не внимал ей», по словам Руставели, ибо «шагнул за пределы мира». Он был весь в прошлом — беглец в минувшее, заложник и пленник былого.

Сам сельский священник Сирах, лицо как-никак духовное и его ближайший сосед, говаривал иногда: «Нехорошо сверх меры отвращаться от жизни сей и от дел мирских! Как гласит народная поговорка: если дьявол строит дом, принеси и ты хоть один камень!»

Но Чорехи дышал одним лишь далеким прошлым.

Когда заходила речь о минувших временах, он в первую голову поминал великую Тамар. И сразу воспламенялся, приходил в волнение: «Сперва очистим сердца наши, поищем прекрасных слов — и тогда лишь осмелимся назвать по имени прекрасную мать Грузии».

И прибавлял строчки Мамии Гуриели:

Как охватить дела Тамар —  
Хотя бы тысячную долю! —

тут же отвечая на них: «Великая Тамар, краса и гордость жеп и матерей грузинских!»

— След праведных трудов и дел Тамар остался на каждой горе, на каждой вершине в Грузии! — говорил он. — Стоит лишь оглядеться.

Сияние славы Тамар не давало ему покоя:

— Уже при жизни не касалась стопами земли Тамар-царица! Ходила, не понирая ее, — на целый локоть над землей.

— Как же она детей родила?

— Неужели не знаешь? Солнечный луч был отцом ее сына! — Он говорил с таким твердым убеждением, что невозможно было, кажется, не поверить... Да и не поверив, вы глубоко оскорбили бы его!

Бывало, мы, дети, в чем-нибудь провинимся — и он тотчас же грозит нам гневом «солнцецеликой Тамар-царицы».

Однажды, насыпав захожему послушнику полный мешок муки, он спросил странника:

— Какому святому служишь?

— В часовне богоравной Тамар молюсь.

— А где эта часовня?

— В Гомарети, по ту сторону ущелья, на Двалетской границе.

Чорехи не отпустил послушника — оставил его на весь день у себя, угостил обедом, обласкал, долго беседовал с ним о Тамар и деньги подарил на прощание. А через неделю оседлал своего каурого жеребца и от-

правился в Гомарети взглянуть на святилище Тамар. Вернулся он весьма довольный путешествием.

Чорехи получил домашнее воспитание, нигде не учился, но был завзятым книжником, страстным книголюбом. «Витязя в тигровой шкуре» он называл «драгоценным даром Шота Руставели».

— Вот радость, вот блаженство! — говорил он, раскрывая любимую свою книгу. — Мед и сахар твоим устам, соловей сладкогласный! — приговаривал он улыбаясь, точно и в самом деле с каждой страницы книги взлетало по золотому соловью.

В канун праздников он зажигал свечу перед портретом Руставели, как перед иконой, и, заперев все двери, молился, простирая к нему руки, поручая ему судьбу Грузии:

— Великий Руставели! Отец стиха! Настанет день, умолкнут языки, и в безмолвии не будет слышно гласа живого — но и тогда будет звенеть слово Руставели! Перед стихом великого Шота бледнеет любое великое деяние!

Не покидало Чорехи желание посетить древнее Рустави, поклониться родным местам великого поэта, обойти на коленях ныне пустынные холмы и доли.

— Ах, какая книга! Сколь прекрасного и возвышенного духа! Нет, не одной Грузии принадлежит она, а всему миру! Справедливо сказал о себе Шота:

Не найдешь нигде мне равных,  
Хоть рукой достань до неба!

— Какое сердце сжег он без остатка в могучем пламени творения своего!

И Чорехи декламировал умиленно:

Или, избранное небом ясновидящее око,  
В смене радости и горя здесь она не видит прока,  
Ей они напоминают сказку смутную Востока,  
И душа ее, как голубь, над людьми парит высоко.

В этой строфе Руставели Чорехи видел описание самого себя, отринувшего повседневную житейскую суету и пребывающего в надмирной обители мечты. Оттого он и выделял особо это место бессмертной поэмы и часто повторял его. Восхищенный и умиленный, он потрясал воздетой рукой:

— Чем эта книга ниже Евангелия? — И, взглянув на священника, добавлял: — Не гневайся, но помилуй, отче, будь заступником моим!

Но поп не сердился и не оскорблялся — да ему и не было никакого дела до Руставели! Отец Сирах был человек земной, преданный житейским делам, занятый стяжанием.

— Читаю, и сердце бьется сильнее! — продолжал Чорехи.

Вряд ли нашелся бы во всей Грузии другой такой истушенный почитатель Руставели.

— «Я снискал себе в потомстве память и благословенье!» Правду сказал, предвидел грядущее мудрец!

Наравне со строфами Руставели печальник родины Чорехи любил отрывок из Библии:

«На берегах рек Вавилонских, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе.

На вербах посреди его повесили мы наши арфы».

Так бродил по свету согбенный, потрясенный судьбою отчизны патриот — и вздыхали его уста, и стонало его сердце:

— О грудь, никого не поящая!

— Горе тебе, орлина со сломанным крылом! Жарптица с обрубленным хвостом! Увы, увы, Картли, Грузинская земля!

И хотя Чорехи был человек набожный, он отказывался верить преданию, по которому Грузия, когда апостолы метали жребий, чтобы определить, кому куда идти проповедовать учение Христово, досталась в удел богородице.

— Мать божья, если мы — твой удел, почему ты отдала нашу Грузию туркам и персам на позор и разграбление? Нет, этого я не в силах понять!.. Нет, братья, если бы Грузия принадлежала богородице, ужели она не сумела бы охранить свое достоинство? — начал он головой с сомнением.

Он постоянно был в движении, не знал покоя. Его можно было встретить близ деревни, на проселочной дороге, но чаще он бродил в глуши, по лесам и оврагам — долговязый, сухощавый, но статный, косматый, в очках, с всклокоченными усами и бородой, внимательный в суровый... Таким он запомнился мне, Чорехи, запыленный, покрытый испариной, без шапки, в ста-

ринной чохе с газырями и мягких сапогах, с неизменными сумкой, заступом и биноклем...

Из-за этого своего повседневного бродяжничества Чорехи получил от сельчан прозвище «Странник».

— Вон идет Странник! — говорили, завидев его издалека.

В деревне на него смотрели косо, хотя и уважали как человека бескорыстного, бессребренника.

— Где-то он сегодня клады копал, какую казну нашел? — спрашивали друг друга насмешливо соседи.

Но когда он приближался, насмешки смолкали, его приветствовали с почтением. А Чорехи рассказывал о своих последних открытиях — спокойно и убедительно.

Ночи напролет проводил Чорехи, склонившись над «Историей» и «Географией» царевича Вахушти, изучая, сравнивая, сверяя с сегодняшним днем сведения, заключенные в этих старинных трудах.

— Долго ли ты будешь жить как во сне, предаваясь праздным и бесплодным мечтаньям? Довольно курить фимиами далекому прошлому, запылять себе душу прахом древности! — взывал к нему порой кто-нибудь из друзей.

— Забвение прошлого — первый признак упадка нации! — отвечал Чорехи и продолжал с воодушевлением: — Светоч моего разума — минувшее моей родины. Сияние его озаряет мне душу. Знаешь ли ты, как сладко воскрешать в мыслях бывшее?

И в самом деле — испенелила мысль о минувшем душу Чорехи, сплошную болью о родине было его сердце.

— Жаль — какой человек зря пропадает, — огорченно качали головами соседи.

Высокая мысль обуревала Чорехи, великую печаль носил он в своем сердце; никто не понимал его — отчужденный, с затаенной кручиной, он казался замкнутым и надменным.

По утрам он уходил из дому и направлялся в лес, в горы, на поиски остатков старины, обломков, минувшего. Раздвинув рукой густые, переплетенные ветви орешника, кизила, боярышника или шиповника, скрывавшие руины какого-нибудь древнего храма, он усердно разглядывал полуразваленные стены, ища уцелевшие куски потускневших фресок и полустершиеся надписи, высеченные на обвитых диким виноградом щер-

батых плитах. Сердце у него сжималось и слезы выступили на глазах, когда в зарослях около развалин случилось ему наткнуться на одичавшую виноградную лозу, с толстым, узловатым стволом и мелкими, кислыми ягодами...

Чорехи был небогатый дворянин, бездетный, без роду, без племени.

Чтобы старинный род не оборвался с его смертью, его заставили жениться. Чернушка Гурана была женщина темная, невежественная — едва умела выводить какие-то крючки да каракули, похожие на следы вороньих лап.

Детей, однако, Гурана ему не родила. Поначалу она казалась кроткой и безобидной, но скоро показала острые коготки. Чорехи и после женитьбы не изменил своей привычке к бродяжничеству, — а тут жена стала мучить его ревностью, изводить подозрениями: чего он ищет в лесу, уж не ходит ли на любовные свидания? Не раз отравляла она целые дни попреками ни в чем не повинному Чорехи — но какому же мужу не приходилось «претерпеть муку сию» от чрезмерно подозрительной жены?

Чорехи имел привычку разговаривать во сне, и первое время вздорная женщина потихоньку подсыпала ему в еду сонного зелья, чтобы он покрепче спал, и всю ночь напролет сидела у его изголовья, наострив уши, в надежде, что он проговорится о своих любовных шашнях или назовет имя своей присухи. Сидела, прислушивалась к его шепоту и бормотаньям и только поутру забывалась глубоким сном. Так добровольно истязала себя злосчастная Ксантиппа, а новый Сократ и не подозревал о ее ночных бдениях!

А о чем мог проговориться бедняга, одержимый одной-единственной страстью? Какие слова могли слететь с его уст во сне — разве что «башни» да «палаты», «звонницы» да «бойницы», «развалины» да «городища», «разорища», «пепелища», «пожарища»... Немало бессонных ночей провела распаленная подозрениями Гурана у постели спящего мужа и в конце концов унялась, остыла, оставила его в покое. Теперь уже Чорехи волен был при желании завести не одну, а целый десяток любовниц, жена его и бровью не повела бы. Зато она завела новый обычай: когда Чорехи возвращался домой под вечер, усталый и запыленный после своих



поисков, суеверная Гурана неизменно плескала водой в огонь, чтобы ошпарить и прогнать чертей, леших, водяных и иных злых духов, прицепившихся, по ее твердому убеждению, к Чорехи, пока он лазил по всем этим замшелым и заплесневелым башням, часовням да стенам, и проникших вместе с ним в дом! Она объявила беспощадную войну нечистой силе, решила, что не даст околдовать, отнять у нее мужа!

Вот какую подругу и единомышленницу послала судьба бедняге Чорехи!

Однажды он принес домой найденную в полуразваленном храме на старом городище, в лесу, икону. На ней был изображен святой Георгий в багряной одежде, с выющимися кудрями под сверкающим шлемом, с копьём и щитом в руках. У ног святого Георгия истекал кровью прозенный его копьём дракон с оскаленными в предсмертной муке зубами.

— Подумай — некогда победил дракона, а сырости не мог одолеть! Смотри, что с ним сделала просочившаяся дождевая вода... — огорченно говорил мне Чорехи, показывая поврежденный образ. — Дождь так и капал прямо на икону. Эх, сколько древних изображений пропадает у нас на глазах! Каждая дождевая капля, падающая на них, язвит мое сердце, сверлит мне душу. Я ночей не сплю от этих мыслей, терзаюсь невыразимой мукой! Погибают наши древности, погибают ежеминутно — может, еще при моей жизни уничтожаются без остатка. Истребляется старина, исчезает — у меня на глазах! — тосковал Чорехи, метался и не мог найти чем помочь.

— На что тебе эти заплесневелые иконы? — спросила его однажды в обществе какая-то молодая княгиня.

Лучше бы и не спрашивала — таким гневным взглядом испепелил ее Чорехи!

Помню, в том же обществе он говорил с воодушевлением, внезапно взбодрившись:

— Что за благодатная земля наша Грузия! Мед и молоко струит она. Щедрая наша природа сыплет нам в полу пригоршнями золото и серебро. Да, изобильная страна... Но почему мы сами, грузины, так обойдены судьбой?

Чорехи был также немало озабочен экономическим положением нашей страны. Во время своих путешествий по горам и ущельям он разыскивал не только па-

мятники старины, но и полезные ископаемые. Дома у него хранились бережно увязанные в мешочки образцы: золотосный песок, блестящие цветные камешки из речного русла, обломки горных пород и разнообразные минералы. Он был уверен, что в окрестных горах таятся богатые рудные залежи, на которые он возлагал большие надежды.

Одна находка произвела на Чорехи особенное впечатление. Как-то он видел вещий сон и наутро нашел на том самом месте, которое пригрезилось ему, близ нашей деревни, в развалинах древнего города Уджармы, около нижней крепостной башни камень необычного вида.

Мне самому доводилось слышать в народе, будто владелец Уджармы Вахтаг Горгасал любил играть маленьким золотым шаром или мячом, который обычно носил в руке.

Вот за эту-то игрушку древнего героя и принял Чорехи найденный им камень — в самом деле гладкий и круглый, как мяч, и притом блестящий, с золотым отливом. Он был твердо убежден, что стал обладателем золотого шара, которым играл Вахтаг Горгасал. И так как по смыслу виденного им сна находка эта была добрым знаком, Чорехи, в ознаменование своих великих надежд, сделал из него какой-то национальный символ, предмет поклонения. Он молился круглому камню, преклонял перед ним колени, целовал его и прижимал к груди. На иступленного прорицателя, на одержимого походил в такие минуты Чорехи.

Он весь преобразился с тех пор, как нашел этот блестящий, как бы вспыхивающий молниями камень. В золотистом мерцании талисмана ему чудилось грозное сверканье молний бога свободы. Ни один властитель на свете никогда не обладал такой бесценной казной, какую владел в своем воображении мечтатель Чорехи!

— Есть ли еще где-нибудь, в чьих-нибудь руках такое сокровище, всего мира украшение? — говорил он про себя, счастливый, умиротворенный...

Благодарение богу — теперь родина спасена! Скоро, скоро придет избавление! Душа его пела и ликовала.

Все это было, конечно, созданием его пылкой мечты; но ему самому казалось непреложной действительностью. Он был глубоко убежден, что этот маленький

камень — ниспосланное ему свыше доброе предзнаменование.

Наконец он позвал к себе священника, открылся ему под строжайшей тайной, с клятвами на Евангелии, и даже показал чудесную находку, хотя и не позволил коснуться рукой своей святыни... Взяв с Сираха обет молчания, Чорехи упросил его спрятать священный камень в алтаре, под престолом, и хранить там, в тайне от властей, для потомства. Лишь раз в году, в пасхальную ночь, после крестного хода, дозволялось отныне самому Чорехи лицезренье своего талисмана.

Камень Горгасала завладел сердцем Чорехи — стал его утехой, утолением его печалей.

Потом им овладела новая причуда: разыскать могилу прародителя Грузии Картлоса и золотую голову его статуи.

— Не языческий кумир, идола Армази, повергла гроза по молитве святой Нины, а священную статую Картлоса! Голова этой статуи была отлита из чистого золота и блистала, как солнце. Во время бури, вызванной святой Ниной, голова скатилась в овраг, затерялась среди лощин, размытых потоками в отвесах крутобокой горы Армази. Там она и погребена донныне, там ее и падо искать, чтобы воздвигнуть статую Картлоса на вершине горы, на том месте, где она стояла когда-то.

Его слушали, улыбаясь: сказками душу тешит!

А Чорехи был верен своей мечте и неотступно следовал за нею, покуда не изумил нас новой крутой переменой. Внезапно он пал духом, — какое-то новое горе пригнуло его плечи к земле; но разве он поверял кому-нибудь свое горе?

Еще недавно он был весел, полон твердой веры, а теперь это был пришибленный, сломленный человек.

Словно над его головой пронеслась буря!

Что с ним случилось? Что-то в нем умерло, — но как, отчего этот, казалось бы, негасимый жар превратился в остывшую золу? Что за море печали затопило душу Чорехи? Никто не мог сказать. Судили, рядили, плели и расплетали, были догадки, намеки, были и улыбки, и насмешки, но никто не мог отгадать загадку. Никто!

Что же случилось? Лишь гораздо позднее обнаружился ключ к этой тайне — когда совершенно случайно нам довелось услышать возбужденные речи Чорехи, обращенные к священнику. Было это после обедни,

под вековой лихой в церковном дворе. Пылая негодованием, набросился Чорехи на Сираха. Глаза его метали искры.

— Украдена святыня! Пропал камень Горгасала! И кто же украл его? Коварный поп, чтобы выслужиться перед властями! Стяжатель, продажная душа! Собрал хранившиеся в нашем древнем храме со стародавних времен сокровища — утварь, рукописи, книги, навалил на арбу и доставил в Тбилиси экзарху, митрополиту из Петербурга! А заодно и камень Горгасала, что хранился в алтаре, скрытый в престоле!

— Народное сокровище! Из Индии привезенное!.. Перед народом ты будешь держать ответ, нечестивец! Ты ограбил весь грузинский народ! Очернил ты свое имя, опозорил!..

Погибло бесценное сокровище, камень Горгасала! Изумительный камень, знак надежды, полный огня, струивший свет и тепло! Разве какие-нибудь алмазы сравнятся с ним? Он был драгоценнее червонного золота, этот благословенный камень, освященный касанием руки Вахтаंगा Горгасала. И Чорехи вручил его священнику, чтобы тот хранил его до великого дня «искупления родины»!

И вот...

Возмущенный, потрясенный, обличал Чорехи отца Сираха гневными словами:

— Куда ты дел камень — великую святыню, твердыню и надежду отчизны нашей? Ты понимаешь, что ты сделал? Отсек корень от могучего дерева и вручил чужаку, отдал по доброй воле во вражеские руки!

А поп глядел на него с недоумением.

— Что тебя так уязвило? — спрашивал он, ничего не понимая.

— Неужели непонятно тебе значение камня Горгасала? Или даже не знаешь, кто был Вахтанг Горгасал? Нечестивец, вероотступник! Человек суеты, погрязший во грехе! Сын скверны и зла, враг отчизны, разрушитель и расточитель Грузии! Грех на тебе, тяжкий грех, — и Чорехи чуть ли не посыпал голову пеплом...

Отец Сирах смотрел на него, онемев от изумления. Да и где ему было переспорить Чорехи, найти достойное встречное слово? Он, впрочем, и не боялся гнева чудака, а только досадовал, что вынужден терять время, слушая вздорные речи, между тем как дело не

идет и ему надо спешить в десять разных мест... Если бы не уважение к Чорехи, он не стоял бы здесь перед ним, а повернулся бы и ушел, махнув рукой...

Длинный, белобрысый, красный от вечной спешки, всегда в перепачканной рясе, с подоткнутыми полами, вдовый пох Сирах был человек земной, погруженный в суету мира сего, хотя и принадлежал к воинству духа. На молитвы и служение Христу у него не хватало времени, зато он верой и правдой служил самому себе, усердно занимаясь домашними своими делами, хлопотал и других заставлял трудиться для своего обогащения.

Мало ли у него было забот, чтобы помнить о каком-то там камне Горгасала? В полях паслись его стада, его овечьи отары и свиные рюхи; была у него собственная мельница; он нанимал батраков, чабанов, свинопасов, гуртовщиков; торговал лесом, джонджоли, медом, воском, свечами, хлебом, вином, совестью; промышленял извозом — держал дилижанс и лошадей, возил пассажиров в город и из города; гвал тайком арак на продажу; давал деньги в рост под большие проценты, имел любовниц и при случае не отказывался быть сватом.

Но откуда было такому занятому человеку найти время для пустых мечтаний?

Все в селе было подвластно пону — стар и млад ему подчинялись, ни одно дело не устраивалось без его ведома и участия: ни купля-продажа недвижимости, ни закладка фундамента, ни тем более свадьбы, родины, крестины, освящение дома, похороны — словом, любое начинание, мирское и божеское, для плоти или для духа. На все требовалось соизволение и благословение отца Сираха!

Немало свадеб расстроилось только потому, что невеста или жених пришлись не по душе священнику.

Не одна дурнушка заполучила в мужья, благодаря отцу Сираху, молодца на загляденье; а сколько старых уродов с тугой мощной привели с его помощью молодых красавиц жен! Из-за этого у Сираха было даже множество тайных недоброжелательниц среди сельских красоток. Но какая мысль осмелилась бы подвзывать колокольчик засаленному коту? И снова и снова корыстный пох, прикарманив щедрую мзду, благословлял перед аналоем какую-нибудь отцветшую невесту с моло-

дым женихом: «Плодитесь и размножайтесь, как Авраам и Сарра, как Иаков и Рахиль!»

Не любил отец Сирах бесплодных смоковниц, бездетных супругов, людей без племени и потомства; для вразумления их он частенько повторял слова псалма: «Блажен человек, подобный дереву, что растет на берегу многоводного потока и дает плоды в свое время, ибо не опадают листья его».

Напротив балкона поповского дома, в углу его двора, был обнесенный плетнем загон, в котором Сирах держал свою скотину. Земля в загоне была устлана навозом, а посредине желтела большая лужа густой, зловонной жижи. Вечером, когда пригоняли стадо, волы, коровы, буйволы, буйволицы и отъевшийся на подножном корму бугай разваливались в загоне, и в сумерках оттуда слышались тяжелое дыхание, шорох, мычание, а поп-вдовец сидел на своем балконе, попивал чай и заигрывал со стряпухой Маринэ.

Ну скажите, где там еще было отцу Сираху печься о Горгасаловом камне?

Прошло время. Поп не простил Чорехи его обличений и написал на него донос. Безмолвный и бледный, стоял Чорехи перед разгневанным экзархом, готовым испенелить разоблаченного «бунтовщика». Он так и не проронил ни слова... Чорехи посадили в тюрьму и продержали там несколько месяцев, но в конце концов вынуждены были освободить, так как не смогли предъявить ему никакого обвинения.

Чорехи вернулся домой вконец надломленный, постаревший, одряхлевший душевно и телесно. Он почти ни с кем не разговаривал и только изредка жаловался, что не так отравила ему душу тюрьма, как предательство грузина, соотечественника. Постунок священника казался ему невообразимым, невозможным! И он отвернулся от мира, махнул на него рукой... Потом он заболел, слег — и сразу сложил оружие, склонил знамя. Молча, без жалоб сгорал он и таял... Не смог бороться против одолевавшей его странной хвори, да и не хотел.

В дождливый осенний день несколько человек собрались в деревенском духане, чтобы осушить «заупокойную» чашу.

— Зачем он мучился, таскался по горам и лесам, несчастный? Что он унес на тот свет? Ничего! — сказал

кутила дворянчик Дола и, обведя взором обильный стол, подтвердил еще раз: — Ничего, клянусь этим хлебом и вином!

— А что мы можем унести с собой из этого мира?

— Ничего! Дай бог вам долгой жизни! — воскликнул Дзгвлипа.

— Ничего! Клянусь памятью наших отцов. Ничего! — сказал Кацло, и Цверикмазия с готовностью поддерживал его.

— Ну, так выпьем! — Дворянский сын Дола наполнил вином большую чашу и пустил ее по кругу: — Да помилует бог Чорехи и упокоит его душу!

— Что ему было нужно, бедняге? С нами он не водился, всю жизнь провел, копаясь в развалинах, разыскивая сказочные клады! Жил бы как все люди, пил бы вино, веселился с нами за столом — разве не остался бы в выигрыше?

— Пусть теперь бродит по оленьим тропкам, пусть на том свете ищет зарытую казну, высматривает следы: туфельки Тамар-царицы! — от чистого сердца помянули застольцы душу Чорехи, хоть при том и прибавили два-три ядовитых слова...

Хоронил Чорехи Сирах — и даже произнес короткое надгробное слово:

— Неподкупный был человек, непреклонный судия, хотя и горячий, скорый, подозрительный... Ангел мира да утишит и упокоит его на том свете! Помолимся о душе Чорехи, да обретет она мир и блаженство, и да простит всевышний господь новопреставленному рабу прегрешения его!

Только и всего!

Смерть Чорехи не потрясла никого. У гроба не слышно было воплей, рыданий, причитаний: никто не убивался, не рвал на себе волос, никто не царапал себе лица окровавленными ногтями... Село так и не оценило значения этой утраты. Гурана стояла в головах гроба, молчаливая и угрюмая: столько лет прожила с мужем и вот осталась теперь одинокой...

И Чорехи, согласно завещанию, водворился в последнем своем жилище — у подножия колокольни Котманского святого Георгия.

Так ушел из мира этот добрый старозаветный человек, со своими точно замшелыми глазами и сумеречной душой, человек, живший во мгле минувших времен и

взиравший на пастоящее незрячим взором; человек однопобочий, в одну сторону тесанный, одним глазом видящий!

— А теперь — здравствуй много лет и будь счастлив, наследник Чорехи!

— Посмертною волей Чорехи в твои руки переходит все его достояние: дом и двор, земли и леса, мельница, виноградники, пашни и луга, погреб, плодовый сад, усадьба с хозяйственными строениями — словом, все движимое и недвижимое имущество, — обратился с чашей в руке Цверикмазия к молодому офицеру Мамрике Чаглагадзе, племяннику Гураны. — Покойному вечная память, а тебе жизнь в довольстве и радости! Теперь дело за тобой — посмотрим, какого мы приобрели нового соседа!

Мамрика улыбался в смущении. Он еще не пришел в себя — нежданно-негаданно попало к нему в руки немалое достояние, и он даже растерялся от неожиданности.

— Выставь нам бочку вина и сам повеселись! Шутка ли сказать — какое богатство к рукам прибрал! — говорили ему «крещенные вином», и Мамрика щедро тратился на угощение — за счет покойного Чорехи...

Всю жизнь Чорехи положил на изучение трудов Вахушти, к которым испытывал благоговейную любовь. Сколько бессонных ночей провел он, склонившись над ними, сколько раз обрушивалась на него Гурана с упреками и бранью из-за его ночных бдений. И вот, Чорехи умер, а Гурана так и не взяла в толк, кто такой был царевич Вахушти и каковы цена и значение этих допотопных книг, его сочинений!

После смерти Чорехи Гурана собрала все раскопанные им самим или приобретенные от других древние археологические предметы — горшки и кувшины, ожерелья и браслеты, изъеденные ржавчиной сабли и книжки, а заодно и мешочки с породами и минералами — и выбросила. Все это было «из могил» и возбуждало в ней брезгливость и страх. Бусы и запястья она хотела было раздарить деревенским девочкам, но никто не хотел прикасаться к «достоянию покойников».

Книги же царевича Вахушти, рукописи самого Чорехи и его письма Гурана продала на вес, как оберточную бумагу, мелочному торговцу Исаку. Остался лишь портрет Вахушти, написанный красками самим покойным Чорехи.

Гурана попыталась продать и картину, но не нашла покупателя. Наконец она кое-как сбывла рамку, а портрет, выданный из нее, вставила в окошко вместо разбитого стекла.

Хмуро смотрел из грязного окна на улицу печальный царевич Вахушти... Словно оплакивал утрату Чорехи и свою горькую судьбу!

А Гурана удивлялась, что муж ее не оставил ничего нажитого и благоприобретенного. В самом деле — за какими же призраками он гонялся всю жизнь? Неужели корпел ночи напролет так просто, зазря?

За этими книгами, за всем этим старьем Гуране мерещилось еще что-то «ценное», «большое». И то, что она не могла обнаружить ничего осязаемого, такого, что имело бы житейскую ценность, повергало ее в изумление...

Нет больше Чорехи — печального Чорехи, оплакивающего судьбу многострадальной родины, омраченного неизбывной тоской. Исчез мечтатель, прилепившийся сердцем к былому, человек благородной души, ничего не сделавший, но так жаждавший дела и немало трудившийся, хоть этот скорбный труд и оказался потраченным впустую.

Иссушенный тоской, отсеченный от корней, спит он глубоким сном вместе со своей черной горестью...

Вокруг него не плетется больше паутина сплетен и подозрений.

Почему-то мне трудно представить себе, что Чорехи мертв; все кажется, что он скрывается где-то в дремучем лесу, среди древних, замшелых, затерянных в дикой глуши развалин. Иногда мне даже ясно слышится его голос, а то, бывает, в сумерках примерещится, и он сам на проселочной дороге: шагает, торопится, весь вклокоченный, и взгляд его мечется по сторонам, ища чего-то...

И стоит мне задуматься о прошедшем, как в памяти моей встает одинокий, сиротливый, испепеленный печалью Чорехи, пораженный, как неизлечимой болезнью, скорбью о родине.

Не дождался он осуществления своей мечты, не увидел родины, озаренной лучами свободы; не дано ему было стать свидетелем и участником расцвета своей страны и народа.

И мне дорог седой цветок его души...



## РЕЧКА НИШАРДЗЕУЛИ

Всякий раз, как мне доведется посидеть на каком-нибудь совещании, послушать горячие выступления спорящих ораторов, перед глазами у меня встает как живой наш Форэ.

Форэ! Тот самый Форэ, что выписал из Варшавы часы с кукушкой! Ясно помню, как он получил посылку — при мне это было! — как вскрыл ящик и как часы закуковали у него в руках.

Форэ! Тот самый, что в 1910 году, в день смерти Толстого, сказал: «Закатилось солнце земли русской! Будь у меня денег без счета, я одел бы в траур всю Россию!»

Форэ первым завел у нас в деревне жатвенную машину. Помню, когда ее привезли, вся деревня сбежалась подивиться. Наверно, такой же восторг овладел людьми, когда некий безымянный гений незапамятных времен изобрел водяную мельницу и освободил от рабского труда женщин, надрывававшихся над тяжелыми каменными жерновами.

Это тот самый Форэ — Христофор Тамаридзе, — у которого стены в комнате были увешаны портретами великих людей — Руставели, Шекспира, Спенсера, Ро-

берта Оуэна... Это был не какой-нибудь темный человек, не подумайте, — он окончил Горийскую учительскую семинарию!

Тот самый Форэ, который однажды, на замечание священника: «Соблюдай посты, не губи свою душу!» — ответил: «Для того я и ем скоромное, чтобы тело не испортилось, было в чем душе держаться!»

Чем же, однако, особенно прославился Форэ?

Это был человек больших замыслов, борец против безводья, все свои силы положивший за то, чтобы привести воду в свою засушливую деревню.

С этого и пошла его слава.

Поистине заслуживал Форэ изумления и восхищения!

Вода была его страстью, он мечтал о ней, как одержимый любовью — о своей возлюбленной. Всю жизнь трудился он не покладая рук, чтобы проложить путь в наше село бурливой и пенистой речке Нишардзеули.

В деревне все только и знали, что хвалили Форэ, но подмоги он ни от кого не видел — только несколько ближайших соседей неизменно подбодряли его, воодушевляли на святое дело! Да и какую помощь могла оказать мечтателю несчастная деревушка, которую коршуном когтила и терзала бедность? От кого здесь было ждать помощи? Не от кого! И остались они лицом к лицу, один на один — Форэ и мечта, Форэ и деревня...

Стоял на скалистом мысу Форэ и, изменив обычной своей молчаливой повадке, зывал твердо и убежденно:

— Подсобите, люди, руку мне протяните — вырою ложе для Нишардзеули, пробьем путь ей, чтобы потекла к нам, как белопенная струя из оленьего вымени!

Он подробно описывал направление, по которому собирался вести речку к деревне.

— Сначала сбросим ее с Кремневой скалы, — объяснял он восторженно, — потом пустим, минуя Крутой утес, вдоль Долгого косогора, прогоним через Большие валуны, дадим пробиться через Завал, свергнуться по Каменной стене, — а там уже выбежит она на простор, оросит наши суходолы и потечет по полям, пока не вкратится к нам в деревню и не размягчит сухменную глину в наших садах... И тогда разрастутся под землей корешки, потянутся вверх побеги, набухнут, полопаются почки, покроются цветами деревья, привалит урожай

в поле, на огороде, в саду, — под ногами и над головой; пригнутся к земле отягченные плодами ветви яблонь и слив, нальются гроздья в виноградниках! Хлеб уродится сам-десять, кукуруза поднимется в человеческий рост, скотина нагуляет мясо — поглядите тогда на коров, баранов, телят! А какие пойдут удои, сколько будет молока, масла, меда! Эх вы, замарашки, ведь даже не умываетесь из-за безводья! Жалкие вы бедолаги — нужда беспощадная стережет вас за порогом! На милость божью только и надеетесь, а где она, милость божья? А ведь все вода — прислушайтесь к нашей грузинской речи, сами слова все скажут: «безводный» — значит и «беспощадный»; «жалкий» и «бедный» — тот, кому в воде нужда, да и «милость» оттуда же, от «воды», начало берет. Так давайте пошевелите рукой, подсобите все единодушно, приведем беспутную Нишардзеульскую речку к нам в Мухат-Цхаро!

Так уговаривал Форэ забившуюся в землянки деревню, но в душе больше рассчитывал на себя, на свою сметку, сноровку и охоту к делу. Так и решил он, что в один прекрасный день поднесет селу кипящую речную струю, словно на нахсу — красное яичко!

Почти каждое воскресенье поднимался Форэ к верховью Нишардзеули и любовался искрометными струями водопада, беседовал с говорливой быстринной, миловался с каменистыми водоскатами. В самом деле, что за человек тот, что никогда не стремился на свиданье к любимой? И что за жизнь без страсти, без предмета вздыханий?

Что ж — человеколюбец, ревностный водоискатель хотел подарить иссушенной зноем, изжаждавшейся деревне легкую, вкусную, дешевую, здоровую, обильную воду! Могло ли быть дело благородней? И Форэ, поглощенный своей заботой, исходил вдоль и поперек горы и доли, ущелья и овраги окрест нашего села. Он придирчиво обследовал родники и криницы, ключи и балки, источники и ручьи, обшарил их верховья, облазил их истоки, изучил их ложа, исследовал почву, по которой они текли, обдумывал, какие для них проложить короткие русла, рассчитывал направление, чертил планы и схемы... Целыми часами щелкал на счетах, составлял сметы предстоящих работ, ужимал конейки, наводил строжайшую экономию!

Форэ можно было встретить в непролазных лесных

чащобах, на утесах, торчащих над обрывом, в бездонных ущельях, в размытых потоками и занесенных галькой овражках, в прибрежных зарослях и на вершинах гор.

Мечтатель, искатель народного счастья, с киркой, мастерком и какими-то самодельными измерительными приборами, в неизменном дождевике, вылинявшей старой шапке и обросших грязью башмаках, седеющий, с изборожденным лбом, сосредоточенный и деловитый, обветренный и дочерна опаленный солнцем, сжитаемый внутренним огнем, с отблеском вдохновенья на лице — таков был Форэ в те давние времена.

Наступила весна, зацвело, зазеленело все вокруг...

Апрельская трава шелковисто шуршала под набегającym ветерком. Персиковые деревья, краса виноградуников, покрылись розовыми цветами.

Форэ стоял в Таплианском лесу, на мокрой, блестящей скале, и любовался алмазными брызгами Нишардзевули, рассыпавшимися над отвесной каменной стеной. Рев распаленных оленьих самцов, грохот сшибающихся турьих рогов слышались ему в гуле водопада.

И он как бы кричал в душе буйному потоку: «Будешь мне покорен! Я сильнее тебя!»

Рожденная горами бело-голубая пена, изливаясь, точно молоко из тысячи скрытых в вышине сосудов, низвергалась с громом в крутобокие разлоги, бурлила среди валунов и терялась в темных расселинах.

Взвихренный хрустальной пылью поток свергался с кручи семью мощными струями, и молочные эти струи, бившие из сосцов горы, вздымались искристым туманом над оглаженными до блеска утесами.

Переполненный радостью, глядел Форэ на эту бешеную, клокочущую, сверкающую воду, и ярая сила водопада переливалась в его душу. Он не мог отвести взгляд от пенящейся воды, и ему казалось, что это табун диких коней мчится перед ним с оглушительным топотом, и он, Форэ, должен метнуть петлю, чтобы заарканить все эти тысячи необъезженных, белоснежных скакунов...

Зрелище околдовало его.

Ждать было невтерпеж. Им овладело неодолимое желание тут же, сразу приняться за дело, немедленно подчинить себе реку. Нет, нет, он не в силах был откладывать — даже на час!

— Взнуздать реку, привести ее в деревню, напоить землю досыта!

А водопад метал искры, доилось щедрое вымя гор, и серебряный поток нес с собой гальку и щебень, громы-хал камнями, ворочал валуны.

Далекая, священная мечта осуществлялась перед внутренним взором Форэ. Он уже видел укрощенную речку в виноградниках и на колосющихся полях своей деревни. Раскинув обе руки, словно раскрыв объятия водопаду, он то ли шел, то ли кричал:

— Я покорю, обуздаю тебя! Моя сила больше твоей!

А водопад низвергался как бы с самого себя, играя своей буйной, немеряной силой.

Могло ли быть зрелище более желанное и сладостное для Форэ, сына иссушенной зноем, опаленной засухой деревушки?

— Знаешь, что такое Нишардзеули? Драгоценный венец на челе Земли!

Шел как-то сверху, с гор, крестьянин, увидел Форэ, стоящего на скалистом мысу и грезящего наяву, подошел к нему, несмело дотронулся до его руки:

— Нравится?

— Еще бы!

— Когда же станет нашей Нишардзеули?

— Завтра! — ответил Форэ с твердым убеждением.

Это было много лет тому назад...

Хорошие названия: Вардисопэли, Вардигора, Окробагети, Окроцхаро — Деревня роз, Цветочная горка, Золотые сады, Золотой источник, — но мне особенно любо было наше село Мухат-Цхаро — Дубовые ключи, хотя давно уже там не шумели дубы и давно иссякли старинные родники. Бесплодной стала наша земля — точно сглазили ее, точно выпил, высосал кто-то всю ее силу...

Паленый овраг, Каменистая балка, Глинистые ухабы, Сухоречье, Озерное дно, Руслище, Высохший ручей, Мертвая роца — так назывались места и урочища около нашей деревни, и уже по названиям этим можно было догадаться о недостатке воды, даже не взглянув на голую и выжженную, хоть когда-то зеленую и лесистую нашу местность.

Деревенские дети никогда не видели шумливого водопада, кипящей кривицы, речной стремнины, напоен-

ного влагой, осыпанного плодами сада, налитой виноградной грозди, высокой золотой нивы...

С детских лет воевали наши соседи против зноя, засухи и пыли; вечно они молились о влаге, устраивали крестные ходы в честь ниспосылателя дождей, кормильца и поильца земли Лазаря, и жили в постоянной скудости, в неутоленной жажде.

Да, истомлена была жаждой деревня! Какие вихри вздымал резкий, горячий ветер! Земля словно окутывалась пылью; засевали огород, пололи грядки — а в июне уже шла трещинами пересохлая земля, в поле поднималась в воздух серой пылью.

— Зачем же сеять? — спрашивал я деревенских женщин.

— А как же иначе? Деревня — тот же очаг, нельзя дать ему остыть! Стыдно!

Одна только была надежда — на дожди; если весна выдавалась ненастная, мокрая — и огороды наши пышно разрастались, и в садах деревья глядели повеселей. Да только, на беду, наши края часто посещала засуха! Окаменелая, вся в расселинах, обескровленная, обессиленная земля, поникшие деревья дремали в тоскливом безмолвии. Село слепло, выслеживая на небе темные тучи, несущие влагу...

Глядел Форэ на свою деревню, на эти пустынные поля, из края в край спаленные зноем... Целого потока не хватит, чтобы напоить, оживить эту задубевшую землю! И он говорил в душе:

«Эх, кабы повернулось к нам счастье лицом! Кабы заиграла здесь текучая вода!»

Из-за нещадного зноя, стоявшего вот уже который месяц, все источники и ручьи, какие были в деревне, пересохли или ушли в землю. Ручеек, что протекал в нашем конце села, едва точился — осталась от него струя толщиной с мизинец, не слышно было даже журчания, которое в детстве казалось мне самой сладкой песней на свете...

И дерево над ручьем съежилось и поникло, точно от солнечного удара, горестно уронило ветви; сморщенные листья его тоскливо шелестели.

— Эх, увидеть бы в нашем селе сырую землю, пропитанную влагой! Чтобы лужи не просыхали, грязь хлопала под ногами!



И когда хвалили его за заботу о народе, говорили: «Молодец, Форэ, честь тебе!» — он прерывал собеседника, улыбаясь:

— Ну, время ли об этом сейчас? Помогите мне лучше воду к нам провести, подсобите, безбожные вы люди! Наляжем всем миром и сделаем доброе дело!

...И снова в дремучих лесах, за много верст от деревни, всматривался он в низвергающиеся со скал потоки, подсчитывал волны! А дома по-прежнему вычислял, чертил, размышлял над расчетами и чертежами; упорно и настойчиво гнул свое, не думал отступаться от непосильного дела. А минутами видел нетерпеливым воображением шумящую посреди деревни речку и в эти минуты сразу молодец, напевал под нос, чуть ли не приплясывал.

Если в нашу глушь заглядывал по делу какой-нибудь инженер или техник или забредал летней порой отпуски-студент, Форэ тотчас же завладевал им, таскал его целыми днями за собой, показывал заветные места, делился мыслями, спрашивал совета... И расплалялся лишней раз, приходил в неопишное волнение — так, что дым шел коромыслом!

Но ни от кого не было ему помощи делом. Форэ был одинок в своих стараниях!

Наконец он решил приступить к делу на свой страх и риск и взять первые расходы на себя. Лиха беда начало — авось увидят люди и присоединятся! С этой мыслью Форэ продал лошадь, продал пчел, продал свой маленький виноградник, пяток коз, десятка два пудов пшеницы, оставшейся от прошлогоднего урожая... Но денег, которые он собрал таким образом, было все же недостаточно для начала работ. И Форэ решился на трудное дело, едва ли сулившее удачу. Однажды утром он явился в ближнее местечко, к настоятелю церкви св. Георгия и уездному благочинному отцу Феодору — богатому и скупому человеку.

Нисколько не стесняясь, попросил Форэ у отца Феодора денежной помощи. В обеспечение займа он готов был заложить ему все свое недвижимое имущество.

Благочинный, который давал деньги взаймы под большие проценты, сослался на предстоящие работы по перестройке церкви св. Георгия и на недостаточность поступивших «на возобновление храма» пожертвований.

— Я должник одного только святого Георгия! — заявил отец Феодор.

— Если вы в самом деле преданы святому Георгию, то помогите исполнить угодное ему дело!

— Какое!

— Разве вы не знаете, почему мы, грузины, почитаем Георгия выше всех других великомучеников? Почему он — главная наша святыня? Хоть вам все это, наверно, известно лучше меня, а все же позволю себе напомнить... Во время оно дракон отнял у народа питьевую воду, навалился своим зловонным туловищем на источник, обхватил его своими ядовитыми когтями. Люди умирали от жажды. Самоотверженный рыцарь Георгий сразился с драконом, пронзил его своим копьем и освободил для народа источник питьевой воды. Благодаря этому подвигу причислен Георгий грузинским народом к лику святых, а то ведь сам по себе он святым не был! И если вы, отец Феодор, считаете себя служителем святого Георгия, то помогите нам провести воду в деревню. Будьте истинным последователем святого — дайте воду людям! — увещевал благочинного Форэ.

Отец Феодор невозмутимо улыбался в бороду. Новое истолкование жития святого Георгия, выдвинутое простодушным Форэ, позабавило его — и только...

Но Форэ не умел смиряться! Он купил полсотни труб и сложил их у себя во дворе — хотя канал еще и не начинали рыть. Как говорится, вина еще не было в помине, а черти бурдюки смолили.

После долгих раздумий решил Форэ основать Нишардзеульский фонд, поместить объявление в газетах и дожидаться доброхотных пожертвований. От этой мысли снова оттаяло его заледеневшее было сердце, еще раз коснулась его крылом летучая надежда. Опять представилось ему, будто он уже подчинил своей воле непокорный поток. Нишардзеули рисовалась ему горячим скакуном, которого он, Форэ, ухватил за белую гриву и ведет, укротив, к деревне. А порой грезилось Форэ, будто он держит в руках жезл и поток покорно следует за жезлом. Чего только он не представлял себе, каких только картин не рождало его воображение! Уже верши и мережи ставил он на лесосей в отводном рукаве, уже ловил в стремнине быструю форель!

Но вот налетела ураганом мировая война и всем доб-

рым начинаниям положила конец. Жестокие были годы, и немало горечи изведал народ!

Прошло время, стал наш Форэ староват, перевалило ему за шестьдесят. Но не так согнули его годы, как гибель надежд, несбыточность мечтаний. Лоб его уподобился распаханному полю, усы и бороду словно занесло снегом, лицо сморщилось, в улыбке не стало задора, он научился брюзжать — больно было сознавать, что ускользает из рук то единственное, чем дышал он до сих пор, — мечта, придававшая смысл его жизни и цену его труду...

И все же его еще часто можно было увидеть на скалистом мысу, над водопадом Нишардзеули. Он любовался сверху серебристым сверканьем гремучего потока, ласкал взглядом каждую его струю. Присушили Форэ взвихренные брызги водопада, к каждой блестящей капельке прилепились его мечта и мысли!

Да, не задались дела у Форэ! Весь извелся, истаял, стараясь для родного села. И ничего не вышло! Никто ему не помог. Война начисто выскребла всю деревню — некому было и помочь!

— Эх, будь проклят пустой кошелек! — вздыхал безнадежно старик.

Совсем состарился Форэ — переступил за седьмой десяток. Уже не «дядей Форэ», а «дедушкой» называли его, — а «водное» дело так и не сдвинулось с места!

Теперь уже и добрым словом никто не хотел поддержать борца за воду, уже и сочувствие унес и развеял самгорский ветер. Сельчане и слышать не хотели об этой выдумке с переброской речки Нишардзеули, как о заведомо несбыточной затее, и начинали уже косо поглядывать на старого чудака.

— Пусть хоть голову расшибет — Форэ ведь одинокий, семью кормить ему не надо, вот и гоняется за ветром. Ему-то можно грезить наяву, а мы люди семейные, нам под его дудку плясать вовсе не с руки!

Так думали односельчане и соседи Форэ, пригнетенные бедностью так, что ни вздохнуть, ни пошевелиться. Куда уж им было думать о том, чтобы облегчить одинокому борцу тяжкую его задачу!

Форэ, согбенный, неузнаваемый, еще раз попытался зажечь деревню огненным призывом:

— Братья, выйдем все вместе, прорубим скалы, взрежем землю, проложим воде путь... Не пожалеем по-

следней копейки, чтобы заключить в русло нашу дикую Нишардзеули, пригнать ее в деревню! Если бы вы знали, какая это легкая, здоровая, полезная вода!

В ответ на это в деревне пошли разговоры: «Совсем у Форэ ум за разум зашел! Пустяковый человек!» Уже о нем складывали насмешливые частушки.

Еще горячо в нем было сердце, хотя и тронутое первым инеем, — но никто не отзывался, никто его не слушал! Надоели деревне бесплодные хлопоты, слова без дел. А дни шли, Форэ терял силы, старость сковывала ему колени, сердце зарастало льдом! Стал он слаб глазами... Куда уж хуже — не мог больше ходить любоваться своим водопадом, хоть и тосковал о нем! Едва таская ноги, бродил он по селу, угрюмый, в обтрепанной, обвисшей лохмотьями чохе, в рваных чувяках...

Что-то жизненно важное утратил Форэ — точно высушили, обескровили все его существо, точно оторвали его от источника живой силы. И притом он не мог, не умел ни с кем поделиться своими горестями, своей тоской. Запершись в своей комнате, отвратив от всех свой взор, он глядел, не глядя, видел, не видя, Нишардзеульский водопад — видел пылающим внутренним взором, весь трепещущий, с разгоряченным лбом...

Неизменная, неистребимая, властная мечта всей жизни по-прежнему жила в душе Форэ.

Сердце Форэ в такие минуты точно рассыпалось тлеющими головнями. Но особенно трудно было ему по ночам! Тут уж Форэ совсем терял толк, не мог понять, где он — дома или на Нишардзеули? Перед распаленным мечтателем вставал явственно, зримо пенный водопад, и неутолимая страсть раздирала сердце.

Эта страсть была пыткой Форэ и пищей его души.

...Вот внезапно, во сне, точно орлиная стая сорвалась с горы и влетела во двор к Форэ, — солнечные лучи хлынули с неба слепящим ливнем и затопили ярким сиянием иссушенный зноем, словно полинялый двор.

Из-под голой земли пыльного двора вырывались один за другим, били в самое небо могучие струи — хрустальные, сверкающие молниями фонтаны; в них мелькали переливчатые радуги — смешивались жидкое золото, прозрачная лазурь, густой багрец.

Голубые шелковые платы скользили в серебристом потоке, развевались над струями; в прозрачных волнах стояли рядами осыпанные гроздьями лозы, яблоны и

персики с гнущимися к земле ветвями, пестрели цветники, густелись рощи и заросли, зеленели лужайки, поля, огороды, переливалась мурава, а вокруг сомкнули свои тенистые шатры вековые ореховые деревья... И таинственный шедест ореховой рощи обведал сладостной свежестью бьющееся сердце Форэ.

И чудилось ему, что вокруг носились какие-то яркие, лазурные птицы, плыли, покачиваясь на раскинутых крыльях, белоснежные чайки... И черноокие девушки пели тихую, сладкогласную песню, и воздух был напоен благоуханием улыбочивых цветов, сверкавших среди чистейших струй. Белопенный, хрустальный, лазурный, золотистый, медовый и молочный водоток струился, играл и вдруг взрывался, бил мощным фонтаном, разбрасывал жемчужные осколки. Веселое сверканье это озяряло душу Форэ, в глазах у него точно переливались всеми цветами радуги далы, сапфиры, яхонты, бирюза. Пестробрюхие форели металась в волнах! И Форэ тоже метался в постели, взбудораженный радостными грезами. О, как его истомило безводье, сколько он мучился, страдал — вот вода сама пришла в деревню, без всяких его усилий и трудов!

Исполнилось самое заветное чаяние Форэ! С пылающим лицом и расширенными зрачками, жадно глядел он на это яркое блистание водяных струй, на это буйное вихренное хрустальных брызг и не верил своим глазам, зачарованный нежданым-негаданным зрелищем! Точно встретился наконец влюбленный с предметом своей страсти! Мир, блаженство, радость царили в его дворе — чудо свершилось, желанное, призываемое, вождевленное.

Гремел, бурлил яростный поток, и радовался Форэ вечайною радостью.

Но увы — она оказалась выдумкой воображения, порождением жаркой мечты...

Форэ пробудился — и видение рассеялось, исчезла ночная явь. Рядом со спящим стояла в кувшине теплая, безвкусная, прелая вода. И сам Форэ был точно вареный — расслабленный жарой и сонной грезой. Но груди струился пот. Снова немилая действительность... Опять пересохшая, жаждущая земля... Пыльный проселок... Поникившие деревья... Вянущие огороды... Хмурые женщины, печальные детишки, бесплодные мечты...

Где же они — прозрачная стремь, искристые, могучие, бьющие хрусталем струи?

Так опечалило Форэ, так потрясло его это явственное видение, что целыми днями сидел он безмолвно в галерее, ничем не занимаясь, лишь пристально вглядывался в те уголки двора, где в чудном его сне били струи фонтанов, стройные, взметнувшиеся к небу, как кириарисы, искрящиеся, как ракеты, водометы!

Куда они делись? Уж не взвились ли в небеса — без возврата?

В самом деле — куда девались фонтаны? Куда делись молодость, сила, надежды? — задумывался старый мечтатель светлыми ночами, когда месяц, заливая бледным светом его подушку, не давал ему уснуть.

Ушли, сгинули мечты, любовь! Износилась одежда юности, ум, сердце, все, какое было, добро принесено в жертву несбыточной мечте, и как же быстро, как внезапно все ушло, утекло, ускользнуло меж пальцев... и как же трудно, как тяжело, когда все, что было смыслом жизни, рушится, идет прахом...

И впервые капля соленой влаги выкатилась из глаз Форэ. Как будто его горячая слеза присоединилась к потоку Нишардзеули, чтобы увлажнить, размягчить иссохшее его сердце и родную его землю.

Вода! Она была вожделенной мечтой Форэ. Мечте этой отдал он всю свою юность, в пламени ее сжег себя. О скалы и утесы разбил он свою жизнь, но ничего не сумел в одиночку добиться. Не покорил потока и не привлек к себе людских сердец. Ни одного толкового единомышленника не послала ему судьба!

Форэ одряхлел, полуслеп. Нащупывая палкой дорогу, с трудом бродил он по собственному двору. И все же пылкий мечтатель твердо верил, что река Нишардзеули будет в скором времени течь через его деревню!

И однажды ночью тихо уплыл вдаль сам, подхваченный потоком своей мечты.

А Нишардзеули пришла-таки в деревню Мухат-Цхаро! Но случилось это лишь совсем недавно.



## ՇԱՄՈՒՐԱ

ՄԻՍ Ս ՄՈՒՄ ՍՐԻՅԵԼԵՄ ԲԱՏՒՅՈՒ ՎՈՅՎՐԱՇԱԼԻՍԻՍ Ս ՕՒՈՒՅՈՒ, իՑ ԴԱԼՅՆԵՂՈՒ ԼԵՏԱ. ՆԵՒԴԱՇԱՆԱ ՅԵԼԱ ՕՒՈՒՅՈՒ: ՆԻՇԵՂՈՒ ՄԻ ՆԵ ՍԵՒԻԼԻ Ի ԴԱՇԵ ՆԻ ՐԱՅՈՒ ՆԵ ՎՏՐԵՒԻԼԻ ԴԻՇԻ. Ա ՏԵՒԵՐԻ ՄԻ ՄԵՇՏԱԼԻ ՏՈՒԿՈՒ ՕԲ ՈՒԴՈՒ: ՆԻՇՈՒՄ ՆԵ ՍՈՒԴԱԴԵՒՅՈՒ ՆԱ ՂԱՅԱ, ՇՏՈՒԵՍ ՆԵ ՏԼԻՍՏԱԾ ՆԱՄԵՍՆԻԼԻՎԻՅ ՎՈՒՐՈՍՈՒ: «Ա ՆՈՒՇԱ, ՂԵ ՎԱՍԻ ՕԼԵՆԻ, ՏՐՅՈՒ, ՅԱՅԻՇԻ?»

ՍՏԱԼԵՅԻ Ի ՐԱԴՏՈՍԱԴՈՎԱՆՆԵՅ, ՍԼԻ ՄԻ Ս ՍՈՒՏԻՄԻ ՐՈՒՇԱՄԻ ԴՈՄՈՒ ՇԵՐ ՄԵՐ ԳՈՐԻ Ի ՍՇԵԼՅԱ.

Ա ՏՈՒՏ ԵՇԽ, ԿՈ ՎՏԵՄՈՒ, ՄԻ ՏԵՒԻԼԻՍԻՍ Ս ԴՈՐՈՂԻ Վ ԴՐԵՄՈՒՇԻՅ ԼԵՏԱՅ. ՆԵՒՈՒ ՅԱՏԻՅՈՒԼՈՒՍ ՏՈՒՇԱՄԻ. Ի ՏՈՒԿՈՒ ՍՈՒՇԵ ԴՈՒԼՂԻՅ ՏԻՏԱՆԻՅ, ՍՐՈՒԼՏԱՎ ՇԵԼՅՈՒ ՏՐԻ ԴՆԻԱ, ՄԻ ՆԱԿՈՒՆԵՍ ՆԵՒՇԻԴԱՆՈՒ ՎՅԻՐԱԼԻՍ ԻԶ ՇԱՇԻ Ի ՍՎԻԴԵԼԻ ՎՆԻՍՈՒ, ՍՈՒ ԳՈՐՈՒ, ՅԱ ԻՈՐԻ ԲՈՒՅՈՒՇԵ ՏԵԿԵՆՈՒ. ՆԱ ԵՒՄ ՎՅՈՐՅԵ, ՂԵ ՏՐԵԴԻ ԿՈՒԼՈՒՇԻՅ ԿՈՒՏՈՒ ՎԵՐԻՂԻԴԵՐՎԱ ԲԵԼԻ ՐԱԴԲՐՈՍԱՆԻ ՄՈՂԻԼՆԻԵՅ ՍԼԻՏԻ ՏԵԼՅՈՒՍԿՈՒ ԿԼԱԴԲԻՍՇԱ, ՆԱՍ ՍՈՒՒՅ ՕԲՈՐՎԱԼՅ. ՏԱՄ, ՎՆԻՍՈՒ, ՍՐԵՂՐԱՅԴԱԼԱ ՆԱՄ ԴՈՐՈՂՈՒ ՎԴՈՒՎՅԱԼՅԱ ՍՈՒՇԵ ՍՐՈՒՎՆԻՅ ԴՈՒՇԵՅ, ՆԱՍՈՒՆԱ ՍՈՒՏԱՄԻ ՐԵԿԱ. ՍԱՐՈՒ ՆԱ ԻՈՐԻ ԲԵԼ ՏՎԵՍԵՆ ԲԵՍՇԵՆԻՄԻ ՎՈՒՆԱՄԻ; ԿՈՒՆԵՍ ՕԲՈՐՎԱՆՆՈՒ ԿԱՆԱՏԱ ՅԱԼՈՒԲՈՒ ԲԻԼՅԱ Ի ԲՈՒՏԱԼՅԱ Վ ՏՐԵՄՆԻՆԵ.

ՆԱՅԱԴ ՏՈՒՇԵ ՆԵ ԲԵԼՈՒ ՍՈՒՒ.

Мы поняли, что отрезаны, и пришли в самое мрачное настроение.

Свирепый голод терзал нас. Последние крохи пищи мы съели еще вчера. Да у нас и не было с собой больших запасов — мы ведь ушли из дому всего лишь на день и не могли предполагать, что заблудимся и будем столько времени бродить по лесам!

И вот теперь мы видели в двух шагах от себя раскинутое в долине торговое село и прямо против нашего мыса — духан, в котором можно было получить вдоволь еды — мяса, рыбы, вина. Но пролеглия между нами, словно злобный дракон, яростно бьющаяся в берега, рычащая Иори не давала нам ступить ни шагу вперед.

А у нас не было ни краюшки хлеба, ни щепотки соли!

Молили мы солнце, призывали погоду, заклинали поток — ничего не вышло.

Всегда такая смиренно-ласковая, лазурно мерцающая, тихая, как горлинка, Иори сегодня мчалась полная ярости и злобы, корчась и брызжа пеной, катила крутые, как бы морские волны, когтила берега; кое-где она начисто смыла, слизнула прибрежные сады и виноградники...

В эти дни над иорской стороной промчалась буря — с грозой, градом, ливнем. В горах вспенились ручьи, все овражки и лощины стали ложем бурных потоков, которые с грохотом и ревом низвергались в Иори. Потоки эти катили огромные валуны, несли целые скалистые глыбы, отщепленные от утесов, — каждая такая глыба пригодилась бы в качестве краеугольного камня для строящегося дома... Так могучи и яростны были даже малые ручьи, а уж что сказать о самой Иори?

Что нам оставалось делать? Впереди у нас была гладкая скала, круто спускающаяся к реке, высокий берег, о который с размаху бились остервенелые волны; скользкие обрывистые утесы, прорезанные руслами боковых потоков. Мы были в ловушке, в плену — как нам казалось, на краю света. Сердце у нас сжалось, мы почувствовали тайный страх, тоску, одиночество, заброшенность... Над головой у нас кружились, как коршуны, ключья тумана.

Сколько мы проклинали сумасбродную, бесноватую Иори и собственное наше легкомыслие, нашу недогад-

ливость, которые завели нас в заречную сторону! Село Текена лежало прямо перед нами, желанное и недоступное. Оно было так близко, что мы явственно слышали голоса, доносившиеся из-за реки. Место для наблюдения было у нас отличное!

Вон поп в черной рясе, полный злорадства, насккивает на крестьян: «Что, получили град на голову? Это вам небесное наказание за то, что праздников не соблюдаете!»

Кто-то смело возражает ему: «Но ведь ты-то и в будни празднично сидишь... Так чего же?..»

Из духана вылетел затянутый в белый китель пристав и заорал на кого-то:

— Ун-ничто-жу! Праз-зорию! В порошок сотру!

Нам даже послышался звук звонкой пощечины.

Не только разговоры — из-за реки доносились до нас всякие вкусные запахи. Духан Кочоры стоял на самом берегу Иори, и оттуда — хотите верьте, хотите нет — прямо в нос ударил нам сладкий дух свежей вареной рыбы. Перед духаном, на дворе, стояли на таганах большие котлы, над которыми поднимался пар. Под котлами пылали выброшенные рекою коряги, пни, сучья. Это варили рыбу свежего улова. На плетенных из прутьев циновках были разложены рядами вареные сазаны.

От этого зрелища животы у нас совсем подвело. Голод навалился на нас с удвоенной силой. Распаленные им, мы расхрабрились и спустились к реке, чтобы попытаться перейти ее вброд. Но разгулявшиеся волны бросились на нас с яростью потревоженной львицы, едва не сбили с ног и заставили бесславно повернуть назад...

И снова сидели мы «на берегу рек Вавилонских» и...

— Эх, где ты, кувшинчик запрокинутый!

— Где ты, поднос, яствами уставленный!

— И ты, миска с лобю, полная по край! — И тут как раз пряный запах лобю, направленного киндзой, ударил нам в ноздри.

— Как нам быть? Что делать? И спрятаться негде от соблазнов!

— Кто нам мост перекинет? — Однообразный шум потока тяготил наши души.

— Ах, как вкусна иорская рыба! Особенно если запивать ее красным вином! Живая рыба воду любит, а вареная — красное вино — помнишь, говаривал нам старик Лочо?

— Подливка из киндзы с уксуом, ты пронзила мое сердце! — воскликнул Батхо, с возделением закрывая глаза.

— Вот в чем горе! — поддерживал его я.

— А табака, жареный цыпленок? Нежный, слаще меда, и косточки тают во рту... А, что скажешь?

— Помолись масляной каде, попроси пощады у пшавского хинкали!

— А крупная форель гелакнури? А жирная осетрина, мясистая севрюга? А свежая, малосольная икра? А вареная курица с чесночной подливой?

— А шашлыки из буйволенка?

— А жареная индейка, румяная, как гранат?

— Давай лучше будем по порядку перечислять. Хочешь, вспомним пир, что закатили прошлым летом Бакарашвили (зажиточные крестьяне нашей округи). Я ведь тоже был среди приглашенных! Вот какие там подавались блюда: чихиртма, купаты, плов с фазанами, турачи, шашлык, форель, осетрина, говяжье филе, холодная говяжья лопатка, а ко всему этому маринады, вакуски, лобио, брага...

— Перестань, безбожный человек, замолчи! Пожалей меня, имей снисхождение! — умолял меня слабодушный, доведенный до отчаяния двухдневным голодом Батхо.

И я замолчал... Но скоро сам Батхо занял сызнова:

— Слыхал, как однажды в походе царь Ираклий пожелал кое-как подпаленного на костре из колючек шашлыка и талого снега вместо водицы, чтобы его запить? Эх, нам бы сейчас те колючки да тот шашлык!

Помянули талый снег — и сразу проснулась в нас жажда. Во рту, в горле у нас пересохло, пить хотелось до смерти, но утолить жажду было нечем. Мутные, глинистые струи потока не годились для питья, а родника на кладбище, разумеется, не было. Перед нами катили серые волны напоенная потоками, громогласная, рычащая, как львица, Иори, мчалась с грохотом — словно сорвалась с места гора и преследует кого-то по ниятам, полная мстительной ярости. А мы, голодные, мучимые жаждой, по-прежнему сидели на какой-то могильной плите и безнадежно взирали друг на друга.

— Довольно торчать сложа руки, придумаем что-нибудь! — сказал я и глянул на Батхо, готового, казалось, завывать волком.

— А что мы можем придумать? Гляди сколько хочешь на родимый небосвод, жди помощи свыше... Это о нас написано у Важа Пшавела, — сказал Батхо, который не мог оторвать взгляд от сельского духана:

Мы на разных берегах,  
Разделенные потоком,  
Тянемся друг к другу мы  
В нетерпении жестоком.  
Не достигь тебя... Гляжу  
На лицо твое с тоскою.  
Нет ни брода, ни моста  
Над проклятою рекою...

— И спасителя не шлют  
Ни земля, ни небо... —

добавил я.

Положение наше было и в самом деле неутешительно: там, за темной речной стремниной, — село, духан со свежей, аппетитной рыбой, с розовыми, сочными пашлыками, с темно-красным вином, а здесь, на нашем берегу, — голод, жажда, надгробные камни...

Мы сидели свесив головы, как подсолнухи, и вдруг Батхо воскликнул:

— Погляди-ка сюда! Неудивительно, что нас замучил голод; оказывается, сам Чампура на нас смотрит из-под земли!

И Батхо ткнул палкой в могильную плиту, лежащую прямо перед нами. На ней в самом деле были вырезаны имя и фамилия Чампуры, а пониже — стихотворные строки:

Смерть, будь проклята вовеки,  
Ты врасплох меня взяла;  
Не поев, сошел в могилу,  
Я, краса и честь стола...

Так было написано на могильном камне. А по сторонам надписи были изображены длинные хлебы — шоти, кувшин с вином и рог.

— Только и не хватало нам явления Чампуры! — воскликнул Батхо, и я рассмеялся от души.

— Помню, Чампура как-то в один прием, не сходя с места, прикончил целого большого барашка и выиграл заклад у Ботитаны. Да, любил покойник поесть, ничего не скажешь!

— А как он одним духом опорожнил четвертной кувшин на храмовом празднике, помнишь?

— А как он готовил бозбаш из курдюка и лепки?

— А помнишь, как он ел, побившись об заклад с Ботитаной? Жареный барашек лежал у него за спиной: он шарил руками позади себя и тащил кусок за куском в рот — чтобы глаз не насытился раньше времени. А теперь вот где он поселился, бедняга! Ну, как ему здесь выдержать?

Чампура Меканцишвили (настоящее его имя — Соломон) был для нас воспоминанием детства. Он умер в годы нашего ученья в Тбилиси, и могилу его мы видели сегодня впервые. Давно уже не было его на свете.

— А какими прочувствованно-нежными словами встречал он миску с лобио: «Ах ты пленительница души моей!» И еще любил мамалыгу со свиным салом. «Гляну на тебя — и тает сердце, как свиное сало» — такая была у него прибаутка.

— А помнишь, как он читал нам гимн в честь лобио?

— «Акафист о лобио»? — И голодный Батхо начал читать наизусть знаменитый акафист, или неседаен, которым Чампура не раз, бывало, развлекал гостей по их просьбе: — «О питательнейшая, приятная на вкус, усладительная для обоняния похлебка, достойная царей, о бесценное грузинское лобио! Велика заслуга твоя перед народом грузинским, ибо вскармливается твоими щедротами и вкушает тебя предпочтительно перед иными яствами всякий ивериец от младенчества и до преклонных лет!

Велика слава твоя в иверской земле и зычен твой призыв! И все мы, предстоящие пред сосудом твоим со лжицею древесной в руке, дожидаемся в нетерпении духа вскипания твоего и засыпания приправ для насыщения нашего и гласом велиим воспеваем тебе хвалу: слава тебе, многолика и многообразная, слава тихой песне и брызгам кипения твоего. Слава навару многополезному, слава горшку немуравленому, в коем избрала ты обиталище свое, и дну того горшка, ибо дно сие есть престол силы и питательности твоей!

Слава очагу жаропламенному, пылающему под оным горшком, слава благословенной приправе твоей, киндзе огородной, усладительнице обоняния нашего; слава толченому ядру грецкого ореха, ибо оно есть венец сладостного вкуса твоего.

Слава глиняным мискам, по коим разливают тебя; слава тебе, дивный знак, пересаженный из садов эдем-

ских, лобии! Слава тебе, украшение стола, пища, достойная царей!

Сколько обедов и ужинов перепало Чампуре в вознаграждение за чтение этого шутливового акафиста!

— Помнишь, Чампура твердо верил, что в доме у гостеприимного человека початые кувшины с вином ночью наполняются сами собой!

— И вечно мотался по гостям, по крестинам и поминкам! А теперь лежит, сложив руки на груди!

— «Я объят сном, но бодрствует дух мой!» Может, и сейчас алчет яств под сырой землей ненасытное брюхо Чампуры! — смеялся, забыв на мгновение собственную беду, Батхо.

...И пошли, и пошли мы вспоминать истории о несравненном чревоугодии Чампуры.

Чампура был в самом деле примечательный человек. Прозвище «Чампура» — «Едало» — было дано ему за то, что он всегда, в любую минуту готов был сесть за стол, — в особенности за чужой. Нет, это не от скупости — просто у него не было ничего за душой, так что волей-неволей приходилось смотреть людям в руки. Хоть Чампура и был дворянский сын, но жил хуже самого бедного крестьянина. Бедность даже пыль из него вытрясла! Да к тому же у него было пятнадцать детей мал мала меньше.

— Мой муж не какой-нибудь простой человек, не думайте! Он из старинного рода! — говаривала жена его Тебро, которую Чампура называл не иначе как «Оранжевой розой».

На что же, собственно, жил Чампура-Соломон? Со своими пятнадцатью детьми?

Ведь если сам он мог пропитаться за чужими столами, званным и незванным гостем, не пропуская ни одного праздника, ни одного сборища, то нельзя же было таскать с собой пятнадцать человек детей?

Главным источником его доходов была черная книга, которую он называл «Карабадином Джалиноза». Это была старинная врачебная книга, доставшаяся ему по наследству.

Переплет этой книги — помню с детства — был испещрен надписями, сделанными в разное время и разным почерком:

«Принадлежит Хафиландрэ».

«Более не принадлежит. Похищена Тимофеем».

«Иванэ Кишбердиани взял у меня на время лошадь, а на просьбу вернуть ответил колотушками».

«Иванэ Помполики. Преставился года 1803».

«Возжелал я сдуру поездить на осле.

Влез на осла и тотчас очутился на земле».

«Слава отцу и сыну и святому духу.

Лучше пить молоко, чем быть горлу суху».

«Когда женщина входит в тело, одолевают ее страсти».

«Дочь Коркоты Нина родилась 18... года майя 8 дня».

«Господи, сладчайший Иисусе, отверзи врата рая мне, грешнику, корыстолюбцу и прелюбодею Мелхиседеку».

И много еще других в этом роде.

Эта черная книга с ее смешными надписями была для своего хозяина и виноградником, и пшеничным полем, и дойной коровой... От нее он ждал обильных урожаев. И вся семья берегла эту книгу, как волшебный камень, дарующий исполнение желаний.

Благодаря этой книге в доме у Чампуры не переводились пища и принасы.

Словом, смелно сказать, Чампура-Соломон самозванно произвел себя в сельские лекари. За каждый порошок собственного изготовления, составленный невесть из каких снадобий, он брал не меньше чем целую курицу. Были у него и такие лекарства, за которые он требовал упитанного барана: тайна этих лекарств будто бы восходила к самому легендарному Джаинозу.

Многие крестьяне верили Чампуре-Соломону, и слава его как врача-целителя разнеслась далеко за пределы нашей округи.

Впрочем, однажды репутация Чампуры висела на волоске.

Как-то на третий день пасхи бездельник Башхадун, дворянский отпрыск, повеса и пустослов, обратился к Чампуре-Соломону перед всем честным народом, собравшимся на площади перед лавкой, с такими словами:

— Ну-ка, скажи, если ты и в самом деле кладешь премудрости, как заставить осла замолчать, когда он ревет не переставая?

В толпе прыснули. Послышались смешки. Многим было приятно, что лекаря-экимбаша приперли к стене. А иные сами призадумались: в самом деле, разве возможно заставить умолкнуть ревущего осла? Будет себе

реветь и голосить, пока не изольет до конца всю печаль своей ослиной души!

Но Соломон не оскорбился и не испугался вопроса Башхадуна. Напротив, в душе он, казалось, даже обрадовался.

И только попросил разрешения отлучиться на несколько минут, сходить домой, — на что ему было объявлено согласие.

Вскоре Соломон вернулся со своей черной книгой. Перелистав ее, он отыскал страницу, заложенную листом сельдерея, и прочел громко и внятно, так, чтобы слышно было всем:

— «Если случится, что кто-либо воссядет на осла, а осел при том заревет и будет голосить не умолкая, то вот лекарство от сего. Тот человек пусть принесет масла Ширбахтского или просто чистого топленого и смажет ослу въздри изнутри. Пока нос у скотины будет умащен сею мазью, она реветь не будет».

Башхадун оторопел. А собравшиеся воздали должное учености Соломона, глубине его знаний.

Однако Башхадун не хотел сдаваться. Он выразил сомнение: а подействует ли на самом деле средство, означенное в «Карабадине»? Что из того, что о нем написано в книге, — быть может, она на деле не принесет никакой пользы? Побились об заклад — проигравший угощает обедом. И порешили: кто-нибудь, нарочно избранный для этой цели, должен наблюдать за единственным ослом, имеющимся в деревне и принадлежащим крестьянину по имени Талэ, с тем, чтобы, когда животное, охваченное тоской, начнет изливать свои жалобы, немедленно испытать лекарство, указанное в «Карабадине».

Вся деревня следила за развитием событий. Судьей был избран дьякон Цверикветия. Под его наблюдением спор на той же неделе разрешился в пользу Соломона.

Башхадун отдал ему кольцо с бирюзой, память матери, — денег у него не водилось, заплатить за обед было нечем, а осрамиться он не пожелал. Сила же и власть Соломона-Чампуры остались непоколебленными.

Словом, Чампура был любителем хлеба-соли, жрецом угощения; знаменитым во всем ущелье. Был предан застолиеству, чревоугодию, винопитию — но тщательно избегал складчин!

— Пей, смерть у нас под боком сидит! — говорил Чампура сотрапезнику. — Пей, все равно один конец — в пыльную землю сойдем...

— Будем есть, пить, ведь не век же нам под этим небом ходить, любезный ты мой?

К каждой фразе он неизменно добавлял «любезный ты мой» или «иди сюда, поцелуй меня».

— Кушай, кушай! Надо есть, ведь даже муравей ради утробы своей бьется-мается! Возьми-ка себе вот эту куриную гузку, превосходный кусочек, любезный ты мой!

Он подносил соседу блюдо с курицей, но тут же, не в силах противиться соблазну, сам первым подхватывал расхваленный им кусок.

— Кушай! Кто не ест — бесполезный человек в гостях, урон столу! Иди сюда, поцелуй меня!

В узком кругу он не отказывался и спеть песню:

Эх, корабль в порту не останется;  
Улетит душа — не оглянется...  
Не о смерти тужу — любимая,  
Как умру, другому достанется.

Или:

Выьем за того, чье сердце  
Бьется с сердцем друга в лад.  
За соловушку, чьи песни  
В роше за полночь гремят.  
За садовника такого,  
Что цветку и саду рад,  
И за молодца такого,  
Что любимой взгляду рад.

Едок Чампура был чинный, разборчивый: совсем не походил на Герену, который поглощал целые котлы хинкали не разжеванная, или на Хунчалу, которого, будь он жив, сегодня могли бы прозвать «застольным комбайном», или на Геграчу, любившего пошуметь, погалдеть, поорать пьяные песни за столом:

Поглаживая и покручивая усы, говорил кому-нибудь Чампура:

— Люблю тебя, больше ничего не скажу! Ездят на богомолье, чтобы в рай попасть, — а не лучше ли устроить добрый пир, людей порадовать?..

— Давай-ка разобьем голову твоему большому квери, чтобы алая кровь потекла! — предлагал он, устав дожидаться угощения. — Иди сюда, поцелуй меня, мой любезный!..

— Что ты, братец, сидишь взаперти? Небось уж и соль у тебя на полках тоскует, плачет! — И когда его приглашали, благодарил учтиво, а потом добавлял: — Приду, приду, не оттолкну, не выбью у тебя из рук кувшинчика! Покутим так, чтобы вычерпать досуха тот большой куври в твоём погребе! Иди сюда, поцелуй меня, любезный ты мой!

За столом он любил порядок, старшинство...

— Поставь вино передо мной, хлебы и лавашы разложи в ряд, — спокойно говорил он хозяйке.

Мягкосердечный и чувствительный Чампура обращался к хозяину:

— Спусти-ка мне в чашу струю из твоего бурдючка, любезный мой! Люблю, когда вино в чаше алым пламенем горит, на душе светлее становится!

— Налей мне, эй, виночерпий, чашник, винный казначей, почтенный человек! Кому же пить вино, как не мне? Лучше меня этого никто не умеет! — И если был доволен приемом или вино ему казалось очень уж хорошим, то, поставив на стол пустую чашу, говорил с улыбающимся лицом: — Что за вино! Солнечный жар в нем, право! Счастья и радости всему роду твоего отца!

— Благословенно лоно твоей матери! — обращался он к хозяину.

Одна была забота у Чампуры — поесть и выпить в тишине, в уюте. Пиров с множеством гостей, с шумом и гамом он не любил. «Краток мир мгновенный, миг смолой стгорит» — этот афоризм был неизменно у него на устах — и кто сказал бы, что он не прав?

Был Чампура чистоплотен, всегда опрятно одет, тщательно выбрит — в черной чохе и черном ахалухе, а зимой — в овчине или в шинели. Слегка поседелый, рослый и осанистый, плотный, отяжелевший, был он ласков, уступчив, всеми любим и притом правдив — ненавидел хитрость и коварство, чурался лжи...

— Господи, ниспосылатель святых даров! — бывало, благословлял он хлеб, разламывая краюху у нас за завтраком.

И запивал кусок обязательной утренней чаркой виноградной водки.

— Человек должен быть щедр, тороват, светел за чашей вина! — говаривал он моему отцу, сидя за столом у нас в гостях.

И, отведав свежего хлеба, жареного мяса и птицы,

залив их кувшинчиком прохладного вина, они расхаживали по своим делам и трудились весь день, добывая хлеб насущный, с легким сердцем и чистой душой, услажденные с утра дружеским общением.

— Человек без друзей — больной, душа у него с изъяном, порочно устроена! — говорил мой отец. — Не будет ему ни радости, ни удачи на этом свете, растает, изникнет, как внешний свет!

А Чампура кивал в знак согласия и поддакивал:

— Только тот — человек, кто в веселье дни свои на земле проведет! Так-то, любезный мой!

— Что толку в застольстве, в еде да в питье, ежели друг в душу другу не заглянет? — говорил Чампура и добавлял свое вечное «любезный мой» или «иди сюда, поцелуй меня!»

Чампура был сам человек щедрый и гостеприимный — в чужом доме! Будучи в гостях, он с таким радушием встречал чужих гостей, так ковром стлался им под ноги! Заботливо подносил вновь пришедшему блюда с кушаньями, помогал выбирать самые лучшие куски, упрекал его ласково вместо хозяина: «Зачем, дескать, запоздал?» — или «Почему забросил, забыл нас?»

— Обрадовались мы твоему приходу, как замерзший в стужу человек — горячему солнышку!

«Кто это — мы?» — спрашивал себя в душе изумленный чужой гость.

А Чампура хлопотал так, словно он был кровной родней хозяина, совладельцем всего его дома!

Гость желанный пусть приходит!

А домой пусть не уходит!

И вино пускай струится

Без конца и в жилах бродит! —

добавлял он любимым свой народный стишок и, широко раскинув руки, обращался к гостям:

Радостен нам ваш приход,

Истомило ожиданье!

А придет пора уйти —

Огорчит нас расставанье!

— Не верно разве я говорю, любезный мой? Иди сюда, поцелуй меня! — говорил Чампура хозяину, и тот поддакивал:

— Именно, именно так!

Чампура любил иногда и шутливые, пустые разговоры, «празднословие»; он мог задать вдруг такой, например, вопрос:

— Ты деламута отведывал? Нет? И даже не знаешь, что такое деламута? Как так, мой любезный?.. Ну да, это кушанье... Да еще какое! Когда корова отелится, ее тут же сразу подоят, и из этого молока или молозива варят деламут. Как вскипятят, оно и затвердеет. Посыпают солью и едят. Вкусно так — пальчики оближешь!.. Значит, ты деламута не пробовал? — И он, бывало, махнет рукой с презрением и удивленно покачает головой.

Потом разведет руками и спрашивает снова, с видом крайнего изумления:

— Так деламута тебе неизвестен?.. Какой же ты грузин после этого? Иди, поцелуй меня, любезный мой!..

— Пожалуй, ты и кукурузной гургучи не едал?

— Нет, не едал. Это еще что за штука?

— Ну знаешь!.. Да что с тобой разговаривать, время тратить впустую? Нашел досужливого человека!

И он глядел на собеседника с укоризной, возмущенный его невежеством.

Если при встрече его спрашивали: «Здоровы ли? Как живете-можете?» — плотный, дебелый Чампура отвечал ласково и удовлетворенно: «Средне, средне — ни тучен, ни тощ!»

Раз уж речь зашла о здоровье и благополучии Чампуры, то уместно будет сказать, что безмятежное, уютное существование его было нарушено великой бурей — революцией. Говоря его словами, в мире воцарилась смута; исчез уют, остыли теплые очаги, настали «крутые времена», нужда, голод. Простая кукурузная лепенка и лобio стали предметами вожделения. Кому теперь было дело до Чампуры? Ни от кого ему уже не было ни ласки, ни почета. Никто уже не приглашал его. И Чампура не вынес такого непочтения и невнимания: загрустил, исхудал — не был уже «ни тучен, ни тощ», — в один прекрасный день, забытый всеми, слег, а вскоре умер.

И болезнь, и смерть, и похороны его прошли незаметно.

Таков был конец Чампуры...

— Ах, хоть бы накопать каких-нибудь съедобных кореньев! Я, кажется, готов долуки из земли повыдрать, так живот подвело! Да ведь нет ничего — даже бутень, дикая петрушка, тут не растет, пожевали бы хоть съедобной травы! — стонал Батхо.

«Доведется ли когда-нибудь разговеться после этого жестокого поста?» — думал я печально, чувствуя, что дошел до крайности.

Незаметно душевный лад наш нарушился; мученья становились все непереносимей. Жестокие, хлесткие, язвительные слова, как искры, проскакивали между нами. Жгучий голод чуть не рассорил нас, двух добрых друзей. Мы обменивались упреками, сваливали друг на друга все наши неудачи и злключения — и эту злополучную охоту, и нашу незапасливость, из-за которой мы остались без еды, с пустыми сумками, и вообще все проявленное нами легкомыслие и несообразительность. Мы горячо наскакивали друг на друга, изощрялись в колкостях, и ни один не хотел оставить за товарищем последнее слово.

— Верь после этого твоим советам, умник-разумник!

— Вот куда нас завела твоя мудрость, ветрогон!

— Несмышлениш!

— Недоумок!

— Торопыга, птичьи мозги! Когда это ты был рассудительным? Кому нужны твои куцые мысли?

Раздражение поднималось у нас в душе и мутным потоком извергалось наружу. Лица у нас пылали. А ведь еще час назад были мы как братья! Словно две рассерженные осы, жужжали, дулись мы друг на друга, сидя на могильном камне и безнадежно дожидаясь, когда же схлынут волны и полноводная река опадет, разделится на мелкие потоки, растечется ручейками по булыжному дну... Мы злились на Иори, разлегшуюся перед нами, как дракон, и не пропускавшую нас в Текену; злость вызывали в нас и бесплодные, бурые окрестные склоны, лишенные зелени, без единой живой былинки, — и что их так опалило? Все так же безнадежно и вожделенно поглядывали мы на духан за рекой — точно верующие на священный храм!

А река неслась мимо с громом и грохотом.

И Чампура точно смотрел на нас из-под своего мо-

гильного камня, злорадно говоря: «Я, пока был жив, носил и ношил всласть, а вот вы умираете с голоду!» Так он дразнил нас, колол нам глаза своими обжорными историями, славой своей ненасытной утробы, и мне даже послышалось на мгновение его торжествующее хихикавье.

— Помоги нам, Чампура, пошли хлеба и вина! — воззвал я к нему шутливо, но Батхо даже не улыбнулся: ему было не до шуток.

Он вдруг прижал руку к животу, как бы ощутив жгучую боль.

— Умираю! Сил моих больше нет! — вскричал он и весь скорчился.

Я испугался.

— Помогите, люди добрые! — извивался Батхо.

— Что с тобой приключилось, друг? — послышалось вдруг, и перед нами остановился сумрачный парень с глазами Амирапи, наш старинный знакомец Кория — «Коршун» — с пестрой ковровой переметной сумой — хурджином на плече. — Выше голову, грузины, — пусть не скажет враг: сломились!

Мы рассказали ему о наших злключениях.

— Погодите, братцы! Сейчас, сейчас... — Кория скинул хурджин с плеча и принялся развязывать шнурки и бечевки. Раскрыв одно из отделений хурджина, он расстелил темно-красный шелковый платок и стал выкладывать еду. Сначала он достал смуглые, нахучие шоти... Мы с остервенением набросились на хлеб.

— Пойдите, молодцы, потерпите! Не портьте себе аппетит, — сказал нам Кория и разложил на платке припасы: были тут и сдобные назуки, и варенные яйца, и две цельные жирные курицы... Потом Кория водрузил во главе этого собранного на скорую руку стола бурдючок, достал деревянную чашку и разлил нам вина.

Все это мы видели своими глазами, ясно, не во сне, а наяву. Райский вкус всех этих замечательных вещей тоже не был плодом воображения — и все же мы не верили своим чувствам. Мы разрывали руками курицу, вгрызались в нежное мясо, набивали себе рот — и все же не верили. Утоляли жажду прохладным вином — и не верили!

Батхо понемногу пришел в себя. Да и мне стало гораздо лучше.

Можно вообразить, какое мы являли собой зрелище!

Наконец-то мы почувствовали, что беды и горести наши миновали. И на душе у нас стало лучезарно. Все это казалось нам поистине чудом! А того мы и не думали, что угощение, поставленное Корией, было, возможно, добыто темными путями — едва ли не воровством!

Кория, жадный Кория, с детства ширырявший по всем домам и знавший, где что у кого лежит, впоследствии стал знаменитым вором. Среди его прозвищ были «Волчий зуб», «Нежданная беда», «Чертов лемех», «Отлученный от груди»...

Еще когда он был ребенком, про него сложили стишок:

Близ садов не хороните —  
Встанет ночью из могилы,  
Будет фрукты воровать!

Женщины нашей деревни в сердцах осыпали его проклятиями:

— Ах, чтоб тебя поскорее земля поглотила! Чтоб тебе лекарство не помогло! Чтоб тебе не было ни в чем благословения! Серый волк, тебя надо распластать на доске и исполосовать железными прутьями! Зловонная ты падаля, смрадная душа!

Однажды Кория, чтобы усыпить бдительность села, прикинулся овечкой, разыграл раскаяние и объявил, что уезжает навсегда в город. Соседские хозяйки напутствовали его такими словами:

— Скатертью тебе дорога прямо на тот свет! Убирайся подальше, и пусть тебя всюду ждут ночь и тьма!

Но не тут-то было! Никуда Кория не уехал, а вместо того ночью угнал стадо буйволов. Насилу настигли его, вырвали у хищника из когтей добычу!

Вот кто был Кория, наш спаситель, наш тороватый хозяин, — выжига, пройдоха, хищник! Сколько раз его сажали в тюрьму — да все было напрасно: горбатого могила исправит!

И подумать — мы оказались его гостями, а он — нашим хозяином!

Откуда взялся Кория, куда он держал путь, как очутился здесь, на этом кладбище — никому, кроме него, было не ведомо. Нам это было невозможно узнать. Каким способом, какими силами — а их у нас оставалось не так-то много! — мы могли бы выведать у Кории его

секреты? Как принудить к признанию опытного, прошедшего сквозь огонь, воду и медные трубы вора?

Я помню Корию с детства. Когда он бегал босоногим мальчишкой по деревенским улицам, его постоянной мечтой было «сыгн поесть». Сын бедной вдовы, всегда полуголодный, он стал хищником, не пропускающим мимо цепких рук никакой добычи. Теперь, когда он уже холил усы и брил бороду, Кория наконец-то добился исполнения своей мечты: всегда был сыт и даже мог угостить других. Вот он и предложил нам, изголодавшимся путникам, щедрый завтрак — этот процелыга, которого мы с Батхо приветствовали, как названного брата!

Волю утратили мы, размягчились, потеряли крепость духа!

Сколько раз прежде порицали и бранили мы Корию, даже отворачивались при встрече, считая его позорищем всей нашей деревни! А сейчас Батхо, с набитым ртом, едва ворочая языком, кадил ему: ты, мол, золотой, ты, мол, такой-сякой, немазанный...

Не скупился и я на сахарно-медовые, высокопарные слова. Да и как можно было иначе?

Словом, мы расхвалили этого повсюду ославленного, всем опостылевшего, саму землю тяготившего, как несносное бремя, воришку, изобразили его человеком добра, обращались с ним запанибрата и обещали ему свою дружбу. «Спасибо тебе, друг наши и брат, помог ты нам в тяжелую минуту, спас от гибели! Отплатим тебе добром за добро, можешь рассчитывать на нас, мы всегда постараемся быть тебе полезными — слово наше твердо!» — так говорили мы, усердно работая челюстями и чувствуя, что голод, два дня терзавший нас, наконец-то разжимает свои цепкие когти.

Ничего же поделаешь — в неудачную минуту попали мы в руки к Корие, пришлось с ним брататься!

И мы без стеснения пили за здоровье нашего новоявленного друга, желали ему удачи (в чем — не в его ли темных делишках?) и словно бы даже не замечали, что творим!

А Кория надел личину добродетельного человека и принимал наши хвалы как должное.

— Есть на свете хлебосольные люди, не перевелись еще! Шел я к близким, к друзьям с подарками — да разве у меня есть ближе вас друзья?

Даже близкими друзьями объявил нас, расшарившись...

А Батхо, довольный, убаженный, поддакивал: конечно, это и называется дружбой!

Корня спрашивал: «Кто выше — отважный человек или хлебосольный?» И сам же отвечал: «Хлебосольный человек выше! Щедрость долговечнее отваги. Слава тороватого человека на внуков переходит!» И в этом он был прав — народ ведь так и говорит!

Вскоре нас разобрал хмель.

— Верьте, други, свет без добрых людей не останется! — это он о себе говорил, спасителем нашим себя выставлял, имя щедрого человека присваивал!

А мы, растроганные, в самом деле готовы были увидеть в этом возке, в этом наглом воршишке чуть ли не самого замечательного человека на земле!

— Пусть цветет каждый цветок и покрывается плодами каждое дерево! Пусть радуется сердце любого человека! Злых пусть поглотит могила, а приветливый и хлебосольный пусть живут и здравствуют! За того человека, который любит сытный кусочек, посыпанный солью, и с чистым сердцем и доброй душой держит в руках расписной кувшинчик!

— Так, значит, за Чампуру! Вечная память Чампуре! — в один голос воскликнули мы с Батхо и подбросили шанки высоко в воздух. А Батхо вдруг вскочил на могильный камень, под которым лежал Чампура, упер руки в бока и провозгласил: «Человек он был, достойный называться человеком!» — и вылил на гранитную плиту полный стакан вина.

Нам почудилось, что Чампура задвигался в могиле.

Плачьте, винные кувшины,  
Над беднягой алым соком,  
Сетуйте, котел и вертел, —

сочиняли мы шуточные стихи в его честь.

— А разве мы сами не под стать Чампуре? Что ж мы над ним насмехаемся — двух дней без еды не могли выдержать, — сказал я, чтобы прекратить насмешки.

— Все мы, все — ровня Чампуре! Разве не так? — Батхо хохотал так, что едва не выронил изо рта куриную ножку.

Поднялся смех, веселье... Вино текло нам за ворот.

Корня смотрел на нас с улыбкой. Потом поднял чашу и объявил:

— Помпнать, так помпнать! За Чампуру!.. И вы, право, не уступите Чампуре, можете считать себя первейшими его учениками! — сказал он ласково-шутливо и осушил до капли налитую по край посудину.

И бешеная Иори, и духан в Текене, и громоздившиеся в небе серые тучи — все это нам было теперь нипочем.

Корня обещал нам еще и шашлыков — напоследок.

Батхо весь расплылся, растаял в вине...



## БУНБУЛА

Вспоминается мне наш сельский цирюльник Бунбула Парсманишвили — кроткий и мягкосердечный, ласковый и доброжелательный, незлобивый и незлоречивый...

И притом — рассудительный, с понятием: сведущий человек.

— Никому не причиняй обиды, имей страх божий в душе! Всех нас ждет в конце одно и то же: три доски гробовые, — с такою присказкой взмахивал он бритвой над ремнем, принимаясь острить ее лезвие.

Говорун он был затейливый, занятный, охотно тешил людей своей беседой. И никогда не забывал вставить к месту учтивое присловье: «извольте ли видеть», или «с вашего позволения».

— Чистыми путями надобно ходить, дружбы, братства держаться!

— Самое главное — душевное богатство. Перво-наперво возрасти и собери урожай своей души, а потом уж о земном урожае хлопочи!

Те, кому возвещал эти истины Бунбула, кивали в знак согласия, а пуще того — в знак уважения к нему самому, Бунбуле.

По мнению цирюльника, честь и совесть — добытчи-

ки поверней, чем сила молодецкая! Встретясь с человеком, не рассуждай с ним только о делах, а потолкуй задушевно, тихим, мирным словом обласкай его, и все нутро, весь состав у обоих успокоится!

Да, достойный, чистый человек был цирюльник Бунбула! Говорили даже, будто бы с его собственных слов, что в юные годы в его жизни не было ни одной женщины.

Знавал он женщин в молодости или нет — не могу сказать, но к зрелым годам он успел произвести на свет двенадцать человек детей. Пять дочерей было у него — Татия, Ния, Пацаци, Мзеха, Гая — и семь сыновей — Батата, Сачино, Джаба, Гегена, Батуа, Хохора и Баблия. Одни уже сами обзавелись семьями, другие только еще оперялись и становились на ноги.

Удивительно, как только поменялось столько народу в двух комнатенках домишка Бунбулы! Однажды я спросил его об этом.

— Один на полу, другой на чердаке, третий за притолокой, четвертый в погребе, пятый в сених, шестой на дворе, та — по воду ушла, та — за хлебом побежала, еще одну в лавчонку послали — вот так и помещаемся, в тесноте, да не в обиде... — отвечал мне Бунбула.

Среди всего этого множества детей он особенно любил Батату, в котором видел образ самого себя.

— Вот моя гордость, мой первенец! — говаривал он, указывая на своего любимца.

Жилистой плотью и крепкой широкой костью походил Батата на своего отца, он был обделен талантами, простоват, с коротким, незрячим умом — рохля и недоотепа.

— Как ты ухитряешься прокормить всю эту ораву?

— Вот этой бритвой! Бьюсь изо всех сил, уж ошалел... Мир мне затемнили мои мысли. Эх, разогнал я скакуна своей судьбы, да не взлетел под облака — вот какая досталась мне доля!

Но ни жалоб, ни ропота, ни проклятий я от него никогда не слышал.

Речь у него была приятная. Беседовал он с любым человеком ласково, вдумчиво, душевно — казалось, сладко побулькивая на огне, разговаривает котелок с медом. Охотно заводил он в своей цирюльне беседы о политике. Политиков, вершителей дел государств он не одобрял. «Если они хорошие люди, отчего так любят кровопро-



литие? — спрашивал он, бывало. — Отчего так часто затевают войны? Уважаю Наполеона и Георгия Саакадзе ценою, но они войну выдумали — грех великий, беда народная у них на совести, и не уснокоиться костям их в могиле веки!»

— Все мы — братья и сестры, единокровные или названные, родичи и друзья, соседи и свойственники! И если бы мы все жили в любви да согласии — откуда на свете трались бы злые дела? От нас самих все идет, мы одни во всем виноваты! Распря ведет за собой вражду, за враждой тянется смута, а там — побоище, насилие, кровь, тюрьма... А прольется кровь — и война тут как тут!

Когда разразилась первая мировая война, с Бунбулой творилось такое, что жалко было смотреть. Он чуть не помутился в рассудке.

— Мир полон скверны и зла! Вот она, чаша горечи! Позор, позор на нашу голову! О озверение человеческое!.. Господи! Переломи в руках врага занесенный кинжал!

И омраченный печалью Бунбула подступал к встречному и поперечному:

- Человек ты или нет?
- Ну?
- Разве мы не братья, друг сердечный?
- Ну?
- Разве мы все не люди, не дети Адама?
- Ну и что?
- А то, что душа твоя у меня в горсти!
- Чего ты хочешь?
- А того, чтобы все мы, кто любит нашу благодатную Грузию, стакнулись, встали заодно, рука об руку, и пошли к царю, поклонились ему земным поклоном: не хотим войны!
- Кто тебя к царю допустит?
- Мы стараний не пожалеем!
- А что толку?
- Будет толк! Сказано: если стадо овец перед дубом в один голос заблеет — дуб засохнет! Клянусь святыней Хатицховели, верные слова! Да разве я для отвода души говорю?

Бесхитростный цирюльник свято верил в необоримую силу единения людей доброй воли...

— Эх, делать тебе нечего! — бывало, скажет ему какой-нибудь изверившийся человек.

— Что ж, и не жаль тебе людей, матери-земли, солнца в небесах? Так и отдадим жизнь смерти в неволю? Человеческий образ потеряем?

— Положись на бога! Пойдем к царю, повалимся ему в ноги, возопим, вымолим у него мир на коленях, — с дрожью в голосе упрасивал Бунбула знакомых и незнакомых, ближних и дальних, прохожих и проезжих. Но замысел его вызывал у всех лишь невольную улыбку. А один грубиян даже не постеснялся спросить: «Что у тебя, мозги набекрень?»

Миролюбец и правдоискатель из сельской цирюльни был изумлен черствостью человеческой.

— Эх, не нашел я пути ни к чьему сердцу!

Наконец его прорвало:

— Так не согласны, стоять заодно? Не хотите войну вести? Что ж, на Христовом суде ответ мне дадите!

Он махнул рукой на людей и ушел в себя.

То он возился в винограднике, то копался на огороде, то ремеслом своим занимался, а то сидел дома, взаперти, и горькие мысли бродили в нем, разъедали его. Выбился человек из колен... Ходил на отшибе...

В один прекрасный день Бунбула исчез. В деревне его не было. Домашние встревожились, стали его искать, с ног сбились, людей расспрашивая, но все было тщетно. Жена Бунбулы, Гулчина, дала обет заколоть ягненка в честь нашей святыни. Кто-то рассказал, будто видели Бунбулу в поезде. Тревога в доме поулеглась.

Единомышленника и поверенного Бунбулы, моего дядю Сулхана, исчезновение друга огорчило сверх меры. Настолько, что он перестал обедать во дворе, под любимым орехом.

— Обижен я на него, обижен! Разве есть у него друг ближе меня? Отчего ж он не поделился со мной, когда задумал уехать? Ну, да ладно, стерплю, лишь бы с миром воротился! — говорил дядя Сулхан Гулчине.

И вместе с домашними Бунбулы искал следы пропавшего, собирая сведения, наказывал почтальону — как только придет письмо, тотчас же, ночью ли, днем ли, хоть с постели вскочи, а беги ко мне, доставь весть...

Гулчина сокрушалась о муже: может, он ночью спит на голых камнях, может, ходит, как нищий, с протянутой рукой, а может, давно его прирезали разбойники, душегубы?

Дядя утешал ее:

— Человек — ума палата, весь свет уму-разуму учил, не поверю, чтоб ему туго пришлось! Да к тому же известно — дурная весть на коне домой прискачет, а мы, слава богу, еще ничего худого не слышали! Что ж нам прежде времени пугаться? Да кто посмеет село без цирюльника оставить?

Он и в самом деле не мог себе представить, чтобы кто-нибудь решился на такую дерзость!

А в доме у Бунбулы по-прежнему стоял стон и плач: «Ох, беда! Ох, разоренье, погибель наша!» Неизвестность, тревога, горе точили семью.

Двенадцать сыновей и дочерей день-деньской заливались горячими слезами, а жена так все глаза себе выплакала.

Соседки утешали ее, как могли — даже такое решились сказать: «Кому он нужен, твой старый хрыч, кто его захочет отнять?» Нашлись, однако, и злопыхатели, пустили сплетню, будто Бунбула сбежал из дому: надоело с пустоголовой женой возиться да дюжину дармоедов кормить!

Мягкосердечный дядя мой Сулхан совсем сник от тоски — молчит, слова не вымолвит, все думает, думает о беде своего друга...

Помню, был воскресный день... За обедом он от вина отказался: душа, мол, не принимает... А вечером такие разыгрались дела, что он один целый кувшин опорожнил да на радостях пустился плясать «багдадури»!

Что же случилось? А то, что... В тот вечер у нас допоздна возились по хозяйству, пекли и стряпали про запас. Только что достали из тонэ хлеба, мы, детишки, сидели на досках, над остывающей печью, нежились в ее нежарком тепле. В горячей золе пеклась молодая картошка. Работник наш Джугара рассказывал нескончаемую сказку о сыне Солнца... И тут вдруг ворвался, точно безумный, к нам во двор любимый сын Бунбулы Батата, в два прыжка взлетел по лестнице на балкон и крикнул дяде Сулхану:

— С вас магарыч! Добрые вести!

Дядя даже зашатался от неожиданности, но справился с собой, удержался на ногах.

Волнуясь и торопясь, мы все побежали к дому Бунбулы.

Цирюльник стоял посреди комнаты, смущенный, в рас-

терзанной одежде. Деревенский староста сердито выговаривал ему:

— Что это за шутки ты затеял в городе вытворять? Кто тебя назначил всеобщим батькой и опекуном? То же мне мудрец и указчик — полез в царевы дела путаться! Вот тебя и сдали нам под надзор — смотри, теперь ни шагу отсюда, только посмей! Сиди и грызи свою краюху!

Бунбула стоял с опущенной головой и молчал — только жене сказал, чтобы укрыла его: видно, знобило беднягу, — и спрятался под одеялом с головой. С дядей Сулханом он не вымолвил ни слова, так что тот даже обиделся, — дескать, я из-за него ночей не спал, а он на меня и глядеть не хочет! Теперь уже эта новая обида мучила дядю Сулхана!

Но напрасно сомневался в своем друге дядя Сулхан! Через неделю Бунбула сам явился к нему в тот час, когда дядя сидел за обедом под своим орехом, и поведал обо всех своих злоключениях.

Если коротко пересказать, пропуская все вздохи и охи бедняги цирюльника, то вот какая с ним случилась история.

Сидел он у фазаньего родника... «Окинул я взглядом зеленые наши горы и доли, рощи и виноградники — и сердце заколотилось, слезы на глаза навернулись: что ж, так и не зеленеть им больше, не цвести, не красоваться? Что ж, значит, суждено им залиться кровью? Как же так можно — погубить всю эту красоту, предать огню урожай, возвращенный в поте лица? Нет, скорей, скорей надо вмешаться, поднять весь свет на ноги, надо что-нибудь сделать, пока еще не зашевелилось в океане свирепое чудовище-дракон... Здесь меня никто слушать не хочет — что ж, поеду в город, там живут просвещенные люди, они меня поймут, они пойдут со мной к царю, не откажутся порадеть для такого дела, для дела жизни! Ведь я не для своей семьи стараюсь! Разволновался я, а тут на станции, через дорогу, в колокол зазвонили. Овладело мной желание в город поехать, так и ерзаю на месте — все думаю, может, удастся гибель отвести! Жену я не стал извещать — знал, что не пустят меня домашние. И ты рядом не случился, не с кем было посоветоваться. Очень мне хотелось народу помочь — подступило, приспичило... Как тут подкатил поезд, как я в него сел, как очутился в городе — сам

не знаю, не могу рассказать. От радости у меня голова кругом шла.

Ну, а в Тбилиси я первым делом отправился во дворец, к наместнику, чтобы сказать ему правду напрямик, объявить, что народ не хочет войны! Подошел я к дворцу, остановился у входа... Высыпали оттуда наместниковы холоди — в голышки меня, прогнали пинками: дескать, тебе еще тут чего понадобилось? «Не уйду, — говорю им, — я по государственному делу пришел!» Ну, тут они еще сверх того пакостыляли мне по шее. Ушел я оттуда, стал заводить разговор с прохожими на улице. Одного остановил — тот рассмеялся, другой обругал меня, третий закричал: «Сумасшедший!» Мало того, прибежали городовые, схватили меня, раба божьего: кто ты, мол, такой, уж не вражеский ли лазутчик, подосланный к нам, через границу пробравшийся?

Потащили меня в полицию, продержали взаперти целую неделю. Валялся я на голых досках, не пивши, не евши, таскали меня на допросы — приценились, как репей, мучали, били, все, какие были у меня гроши, пошли им на взятки... И наконец вытолкали меня, да еще сапогом поддали — беги, мол, не оглядывайся, чтоб твоего духу здесь не было, и не смей нос совать не в свои дела! Чем я их так прогневил? Для общей пользы ведь старался, хотел, чтобы всем лучше было! Зачем же они линали меня сапогами в самую душу? За что? Неужто никто не понимает, что беда стряслась, все до одного пропадем? Отчего сердца у людей стали как камень? В чьих мы руках? На кого миру надеяться? Я-то думал, люди нами правят! Вот так и вернулся я не солоно хлебавши, словно в чем-то провинился...»

— Что мне дальше делать — как ты посоветуешь? — спросил он дядю Сулхана, глядя на него с упованием.

Но дядя сидел не поднимая головы и молчал. Потом потянулся за кувшином, наполнил вином глиняную чашку и протянул ее Бунбуле.

Цирюльник замахал руками:

— Мне вина не надо, я к нему теперь не стану и прикасаться! Столько крови проливается на войне — как же я вино в рот возьму? Оно мне кровь напоминает! Горько на душе, куда уж горше — не до вина мне!

Дядя посмотрел на него с удивлением, потом взял свою чашку: «За то, чтобы войны наши вернулись благополучно!»

Зачудил Банбула, замкнулся в себе, обособился, оди-  
чал; сторонился людей, ходил одиноко, словно отвержен-  
ный. В душе его поселилась тоска. Прежде он хоть вы-  
говориться мог, словами душу отвести, а теперь и на  
слово был положен запрет! И Бунбула, бывало, побреет  
клиента так, что ни звука от него не услышишь! Затоп-  
тали, загасили в душе у него огонь истины и веры! Что  
же еще оставалось от земного существа Бунбулы? Толь-  
ко наружная шелуха, только пустая скорлупа... Знал это  
Бунбула, и тошно ему было ходить по белу свету. Без-  
радостно глядел он на мир погасшими глазами и все  
молчал — разве что изредка вымолвит два словечка по  
необходимости, и то нехотя, сквозь зубы, через силу...

Был человек — голову высоко держал, а обернулось  
так, что сделался тенью человека! И отчего? Из-за люб-  
ви к человечеству!

Такова была судьба Бунбулы-цирюльника!

## СЛОВО О ДРУГЕ

Когда почти вся жизнь человека проходит перед нашими глазами в деловом и дружеском общении с ним, неизменно хочется выделить в его облике, в его творческом портрете самое выразительное и определяющее остальные черты. Вспоминая годы дружбы и сотрудничества с Георгием Николаевичем Леонидзе, такой его собирательной чертой можно смело назвать мудрость. Не ту мудрость, статичную, обыденную, повседневную, а опирающуюся на жизненный опыт, широкий кругозор мышления и творческое вдохновение. Это особенно чувствовалось, когда мы издавали эту его книгу. Проза Георгия Леонидзе отличительна, а в данном случае само название книги говорит о тех корнях, которые питали все его творчество.

И когда книга вышла, Георгий Николаевич подарил мне ее, написав: «Дорогому другу Марку Израилевичу Знаткину, — моему меценату — покровителю с любовью, благодарностью,

сердечно преданный

Георгий Леонидзе

13.X.65<sup>1</sup>

Если критик и литературовед Дмитрий Мирский считал, что поэзию Георгия Леонидзе отличает «музыкальная динамичность», то это справедливое наблюдение можно отнести и к прозе Леонидзе. Приведу строки из книги, переведенной лауреатом премии имени Мачабели Элисбаром Ананишвили.

«В этой небольшой книге — воспоминания давних лет, виденное и пережитое мною в грузинской деревне времен моего детства».

Нельзя без волнения читать эти строки.

«...Я протягиваю читателю эти страницы, как гору фруктов на узорном деревянном блюде, чтобы поделиться с ним золотистыми плодами моих детских воспоминаний».

...Не пером описать, а проплести фиалками и лилиями, раскрасить цветами моих родных полей и лесов хотел бы я листы этой книги. В ней — отблеск улыбки моего неба и моей земли, свежее дыхание моего детства!

И дальше:

«...слова этой книги нашел я среди синеглазых фиалок, которые так любил собирать на лесных опушках возле нашей деревни».

Серебруструйная Иори нашептывала мне эти слова — «Иори,

<sup>1</sup> Речь идет о первом издании этой книги под названием «В тени родных деревьев», Тбилиси, изд. «Литература да Хеловнеба», 1965 г.

утопающая в садах и виноградниках, пробирающаяся через заросли, журчащая в камышах.

...Прибрежным порским нивам читал я свои первые стихотворные опыты.

У голосистой, певучей Иори учился я музыке грузинского стиха).

Если в приведенных выше строках описывается природа родной деревни, то еще более проникновенно, с глубоким уважением к труду простых людей Георгий Николаевич выражает свои мысли и чувства на следующих страницах книги.

По образному определению известного грузинского литературоведа и критика Георгия Маргвелашвили, «...это своего рода экзамен, который поэт устраивает своей духовной биографии, проверяя воспоминаниями свой жизненный и творческий путь, мир своего детства и молодости, пробудивший в нем гражданина и поэта». Многие страницы книги Георгия Леонидзе отмечены высокой мерой вдохновения и творческой взволнованностью.

В этом весь Георгий Леонидзе. Этой книгой сейчас зачитываются десятки тысяч почитателей его таланта.

Георгий Леонидзе был подлинным рыцарем книги. И слова, и песни, и статьи, и исследования он видел в перспективе воплощенными в страницы книги. Отсюда, мне кажется, шло его такое активное участие в работе издательства — помощь и советы в отборе произведений для издания, в переводческом деле, даже в самом производственном процессе:

«...Пришлось бодрствовать до шести утра, — писал нам тогда Г. Леонидзе. ...Прошелся еще раз по тексту, сделал свои поправки (за один вечер!).

Очень прошу учесть мои добавления и исправления!

Буду ждать корректуру, прошу без меня не печатать!

В общем, Вы еще сможете увериться в том, какой я бескорыстный работяга для издательства, но как говорит Саади:

Свободному мало охоты  
в оковы дать тело свое!

Уважающий Вас Георгий Леонидзе.

Такое отношение проявлял он не только к своим книгам, но и к любому изданию, с которым так или иначе соприкасался. Помню, как много времени, энергии, внимания отдал он подготовке к изданию повести Унараго «Мамлюк». А ведь по существу ему принадлежат в этом издании всего несколько страничек предисловия. Но как тщательно он выверял эти свои странички, как радовался и гордился, что нашел и включил в предисловие редкий архивный документ, имеющий важное значение для оценки исторической повести. Более того, Георгий Николаевич принял активное, заинтересованное участие в обсуждении за «Круглым столом» издательства послесловия к повести. И это не единственный случай. Написав предисловие для книжки стихов Бенедикта Лившица «Картвельские оды», Георгий Леонидзе затребовал у издательства текст издания, а затем и гранки набора. Более того, он предоставил редакции письма к нему Бенедикта Лившица. А как много и с какой отдачей сил работал он над предисловием к книге Сулхан-Саба Орбелиани «Мудрость вымысла»! Это предисловие приобрело самостоятельное научное значение.

Георгий Леопидзе был замечательным общественным деятелем. Он мыслил масштабно, я бы сказал, государственно.

Будучи первым секретарем правления Союза писателей Грузии, Георгий Леопидзе внимательно следил за литературной жизнью, ориентировал в отдельных случаях издательства.

Очень часто Георгий Николаевич делился с нами своими творческими планами, рассказывал о деловых контактах с редакциями газет и журналов. Так однажды он писал:

«Дорогой Марк Израилевич! Только что встал с «одра болезни», завтра выхожу, а послезавтра, кажется, — в Москву...

Я сегодня получил уже третью телеграмму «Правды». Просят у меня стихи. Уже третий раз прошу (через Ягента и др.) прислать мне отписки моих стихов. А если нет лишних, то хоть одолжить... Очень, очень прошу. Не откажите.

С уважением Г. Леопидзе.

P. S. Может быть, пришлете и «Бершоула», хотя бы его старый вариант, если новый не набран».

У Георгия Николаевича был широкий круг знакомств и связей с писателями братских республик. Со многими русскими поэтами у него с годами установились близкие дружеские отношения. Когда перед издательством возник вопрос об издании новой книги стихов и поэм Г. Леопидзе, Георгий Николаевич написал на листке бумаги фамилии поэтов, в чьих переводах он хотел бы видеть свои стихи: Маршак, Тихонов, Пастернак, Заболоцкий, Евтушенко, Антокольский, Левик, Мартынов, Тарковский, Межиров, Винокуров, Светлов. Все, к кому издательство обратилось с предложением принять участие в создании новой книги Леопидзе (учитывая и ранее сделанные переводы), охотно откликнулись. Николай Тихонов ответил: «Могу перевести около двухсот строк для одиотомника Леопидзе. Больше не успею, начав работу в октябре. Вышлите подстрочники вместе с оригиналом...» А вот краткий лаконичный ответ: «Согласен. Светлов». Межиров телеграфировал: «Рад принять ваше предложение, могу приехать после сентября сроком на два месяца». Согласились участвовать в работе и Винокуров, Тарковский и другие.

Это одно из проявлений сердечности в отношении поэтов между собою. Но были письма и не связанные с переводческой работой. Не могу не поддаться соблазну привести здесь письмо Горнея Чуковского Георгию Леопидзе. Вот оно:

«Дорогой Георгий Николаевич! Ваша книга перенесла меня из Переделикина в милую Картли. Вместе с Вами я читаю «Картлис цховреба», вдыхаю табакхмельские розы, восхищаюсь тоном в Рустави, грущу над судьбой Пертохалы и твержу мои любимые строки:

Стих и юность — их разделить нельзя,  
Их одним чеканом чеканили.

Чуть только в России появилось это стихотворение («Поэту»), я сразу же запомнил его наизусть — оно пленило меня и своим изумительным ритмом и своей полновесной мудростью.

Жаль, что я не знаю Ваших стихотворений в подлиннике, приходится угадывать их красоту, которую далеко не всегда могли воссоздать переводчики. Особенно хотелось бы услышать

«У сердца не было гнезда», «Лишь тебе это скажет страна твоя», «Следы неба над дугами», «Мухранская баллада».

...Если мы встретимся вновь, я не отстану от Вас, куда Вы не прочтете этих стихов на родном языке.

Прочтя Ваше «О себе», я только теперь по-настоящему познакомился с Вами.

Любящий и благодарный Корней Чуковский. Февраль. 1958».

И здесь уместно отметить, хотя бы только пунктирно, братскую дружбу двух поэтических гигантов: Николая Тихонова и Георгия Леонидзе, чтобы представить себе, какую огромную роль сыграло в интернациональном воспитании это творческое содружество двух литератур — грузинской и русской. Вот одно из писем Николая Тихонова к Георгию Леонидзе, датированное 1957 годом.

«Дорогой друг Гогла. Приветствую тебя сердечно накануне праздника грузинской, русской и мировой литературы — юбилея славного Ильи Чавчавадзе.

Ты прекрасно представляешь себе, как я жаждал приехать в эти дни и даже значительно раньше в Грузию и отдохнуть среди старых друзей и новых радостей.

Но будь ему пусто, окаянный радикалит схватил меня за ногу, держит и не пускает. Это непредвиденное обстоятельство повергло меня в грусть и печаль.

Как представляю себе, какие народные празднества пройдут и в Тбилиси, и в Кахети, так печалюсь еще больше...

Написал я благодарности в комитет по юбилею Чавчавадзе за приглашение приехать и приложил к письму стихотворение, посвященное Илье в день юбилея.

Прочитай его, пожалуйста. Пусть его зачитывают там, где найдут нужным. Можно и напечатать...

Зная, как всегда важно иметь под рукой текст той цитаты, которой пользуешься, я тебе ее приведу. Я говорю о словах Ильи Чавчавадзе, приведенных в первых строфах моего стихотворения. Эти слова такие:

«Как хорош человек в час пробуждения! Но еще лучше тот, кто не спит, кто и во сне скорбит сердцем о мирской неволе. Моя прекрасная страна, есть ли у тебя такие сыновья?» Это из «Записок проезжего».

Сбылись мечты и чаяния Ильи Чавчавадзе — Великая Октябрьская социалистическая революция открыла новую эру в жизни всех народов Советского Союза.

«...Таковы дела. Делегация представительная едет из Москвы. Жаль, что Заболотский в Италии. Он хорошо переводил Чавчавадзе.

Слава тебе, Гогла, и милой Пешико. Благодарствие дому твоему и домам детей твоих. Хорошего праздника и новых вдохновений. Я живу сейчас мысленно в Грузии, и Хевсуретни. Кончаю поэму о Серго Орджоникидзе и о 1919 году на Северном Кавказе. Привет всем друзьям.

Обнимаю от имени М. К. и сам Н. Тихонов...»

Это письмо нельзя читать без волнения, особенно сегодня, когда страна готовится отметить 150-летие великого Ильи.

М. ЗЛАТКИН.

სფ. 26/69



### СОДЕРЖАНИЕ

Моей матери . . . . .	5
В тени родных деревьев . . . . .	6
Древо желания . . . . .	12
Наш абрикос . . . . .	16
Тагриа . . . . .	20
Старая дева . . . . .	25
Извозчик Иагор . . . . .	39
Хведиа . . . . .	43
Мельник Ражден . . . . .	46
Феодал . . . . .	54
Смерть старого пахаря . . . . .	60
Чирик и Чикотела . . . . .	63
Чествование доблестных . . . . .	79
Тамада . . . . .	93
Тетушка Маико . . . . .	138
На деревенской улице . . . . .	152
Цицикоре . . . . .	163
Марита . . . . .	192
Чорехи . . . . .	210
Речка Нишардзеული . . . . .	229
Чампура . . . . .	241
Бунбула . . . . .	260
<i>М. Златкин. Слово о друге</i> . . . . .	268

#### ЛЕОНИДЗЕ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ

Редактор А. Перим. Художник Т. Мирзашвили. Художественный редактор Т. Кохреидзе. Технический редактор А. Якимова. Корректоры И. Ахсахалян, В. Раев.

ИВ — 3180

Сдано в набор 25.11.1986 г. Подписано в печать 15.06.1987 г. Формат 84x108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бум. тип. № 2. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. печ. л. 14,28. Учетно-изд. т. 14,51. Усл. кр.-оттиски 15,12. Тираж 80 000 экз. Заказ № 9. Цена 1 р. 80 коп.

Издательство «Мерани», 380008, Тбилиси, пр. Руставели, 42. Отпечатано на Тбилисской книжной фабрике Госкомиздата ГССР, 380059, Тбилиси, пр. Дружбы, 7, с матриц типографии издательства «Таврида» Крымского ОК КП Украины, 333700, Симферополь, ул. Генерала Васильева, 44.

გორბი ნიკოლოზის ქა ლეონიძე  
ნაბვრის ხე  
(რუსულ ენაზე)



